

НОВЫЙ Журнал

XXXVII

НЬЮ-ИОРК

Новый Журнал

THE
NEW REVIEW



Основатель М. ЦЕТЛИН

Тринадцатый год издания

Кн.
XXXVII
1954

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

**Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.**



317

О Г Л А В Л Е Н И Е :

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА:

<i>Б. Зайцев</i> — Чехов	5
<i>Петр Ершов</i> — Нинель	30
<i>В. Набоков</i> — Другие берега.....	71

СТИХИ:

Валерия Брюсова, Л. Алексеевой, Н. Бернера (146), З. Гиппиус, В. Злобина (29), Н. Моршена, И. Одоевцевой	119
--	-----

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

<i>Роман Гуль</i> — Цветаева и ее проза	129
<i>Н. Ульянов</i> — Еще об историческом романе	141
<i>Ю. Елагин</i> — Мейерхольд и Коммиссаржевская	147

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Ф. Степун</i> — В русской провинции	165
<i>М. Вишняк</i> — З. Н. Гиппиус в письмах	183

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Н. Валентинов</i> — Ленин в Симбирске	211
<i>Г. Аронсон</i> — Е. Д. Кускова	236
<i>Н. Лосский</i> — Какой идеал противопоставить коммунизму?	257
<i>М. Карпович</i> — Комментарии	266

СООБЩЕНИЯ И ФАКТЫ:

<i>А. Давыдов</i> — «Государственные банкиры»	276
<i>Подпол. В. Ершов</i> — Работа НКВД в госпиталях во время войны	284

БИБЛИОГРАФИЯ:

<i>Г. Струве</i> — Чехов в советской цензуре. <i>Б. Л. Гершун</i> — «Courts, Lawyers, and Trials under the last three Tzars» by <i>S. Kucherov. В. Р.</i> — «The Secret History of Stalin's Crimes» by <i>A. Orlov. С. Петров</i> — Николай Клюев «Плач о Есенине». <i>М. Г.</i> — Э. Бок «Как Эдуард Бок стал американцем». 290	290
--	-----

ЧЕХОВ*

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

Началось всё это с малого, а получилось большое. Кучка любителей ставила своими силами спектакли в том Охотничьем клубе на Воздвиженке, что знаком каждому московскому человеку моего возраста — просторный особняк рыже-коричневого цвета в глубине обширного двора с решеткою на улицу. Это барский дом, принадлежавший Шереметевым. В девяностых годах сдавался он под балы, спектакли, маскарады.

Константин Сергеич Алексеев, актер любитель, энтузиаст с Хивы за Москва-рекой, и Владимир Иванович Немирович-Данченко, драматург и режиссер — это и были отцы Художественного театра. Его история есть образ всех дел, движимых увлечением, преданностью и талантом. Сперва всё робко, чуть не на волоске, а потом крепнет, подбираются участники, растет вера в успех. И рождается задуманное. Так вышло и тут. В какую-то минуту в клубе оказалось тесно, надо открыть свой театр.

С весны 97 года начался набор пайщиков для поддержки его. Шел он довольно медленно, всё же летом 98 года репетировали уже к зимнему сезону. Чехов знал и Алексеева-Станиславского и Немировича. Очевидно, в их театр поверил, сразу дал свой пай. Но этого еще мало. Новому театру, выстувавшему с новыми приемами в простоте, жизненности постановок и исполнения, нужен был новый современный автор.

Немирович ближе сошелся с Чеховым той зимой 97-98 г.г., когда оба жили на юге Франции. «Чайку» он знал и раньше,

* См. кн. 36 «Нов. Журн.».

очень ценил и хотел её для театра. Немирович был сильный человек, с темпераментом и выдержкой. Всегда казался разумным и здравомысленным, свежим и смелым.

«Чайку» не он один оценил, несмотря на её неуспех в Петербурге. Но нужна была его воля, упорство и сила, чтобы пьесу достать и поставить.

Препятствий оказалось два: нежелание Чехова и непонимание Станиславского.

При Чехове трудно было и заикнуться о «Чайке» — слишком у него наболело. Но Немирович весной 98-го года не только заикнулся, а в упор попросил «Чайку» для первого же сезона (открывали «Царем Федором Иоанновичем»). Чехов отказал — не желает больше театральных волнений. Немирович написал ему вторично, 12-го мая: «Если ты не дашь, то зарежешь меня, т. к. «Чайка» единственная современная пьеса, захватывающая меня, как режиссера, а ты единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра с образцовым репертуаром».

На этот раз Чехов ответил по другому, будто и полушуткой, приглашением приехать к нему в Мелихово, за что он готов отдать «все свои пьесы». «Чайка» прямо не упоминается, но Немирович понял, что ставить её можно.

Значит, оставался Станиславский. И получилось замечательно. Станиславский сам говорит: «к стыду своему, я не понимал пьесы». Это еще не так удивительно, в литературе он вообще мало понимал, особенно в верхних её этажах. Но всё-таки занялся мизансценами непонятой (и значит нелюбимой) пьесы. Уехал летом в Харьковскую губернию и оттуда присылал эти мизансцены в Москву, где начали уже репетировать. В августе «Чайка» вошла в репертуар, а труд Станиславского — через силу и наугад — оказался первостатейным.

Так начинала «Чайка» свою вторую жизнь, воскресала из поношения, и опять её судьба соединялась с судьбой и жизнью самого Чехова. 9 сентября он приехал из Мелихова в Москву. Извозчик подвез его к подъезду Охотничьего Клуба в ту же

самую минуту, что и Лужского — Сорина в «Чайке». Они не были еще знакомы. Лужский узнал его по портретам. Чехов вообще ни с кем в труппе не был знаком, кроме Станиславского. В этот-то вечер Немирович представил ему Роксанову, Книппер, Лилину, Лужского, Тихомирова и других. (Артём позже вошел в состав).

Из всех них запомнил он сразу, и теперь уже навсегда, Ольгу Леонардовну Книппер, молодую артистку, едва начинающую, весьма даровитую и с большим женским обаянием. Она играла не Чайку (Нину), а Аркадину, играла отлично, но не в том было дело.

В Москве Чехов пробыл до 14-го. Вечером с курьерским поездом, который идет мимо Андрониева монастыря и завода Гужона на юг в Крым, проносясь мимо Царицына с екатерининским дворцом, мимо березовых рощ Бутова и чеховской же Лопасни, он уехал в Ялту, не зная еще, что отца уже больше никогда не увидит, что Ялта станет всегдашним его пристанищем, а молоденькая актриса Книппер последним прибежищем.

За эти несколько дней он в Москве видел и репетиции «Царя Федора». Работа над этой пьесой зашла далеко, много дальше, чем в «Чайке». Чехову очень понравилось. «Перед отъездом я был на репетиции «Фед. Иоанн.»; со сцены повеяло настоящим искусством, хотя играли и не великие таланты. Ирина, по-моему, великолепно. Голос, благородство, задушевность — так хорошо, что даже в горле чешется. Федор показался мне плоховатым; Годунов и Шуйский хороши. Но лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину».

Царя Федора играл Москвин. Сказать про лучшего актера Художественного театра «плоховато» можно только будучи ослепленным Ириной. Так оно и случилось. Все мы видели этот спектакль. Один Чехов против всех и будет говорить, даже до нынешнего дня, что Федор плоховат (а Ирина великолепно).

Премьера «Царя Федора» почти совпала с кончиной в Мелихове Павла Егорыча. Немирович с артистами послал Чехову соболезнование. В ответном письме Чехов благодарит и пишет о их первом успехе: «Я очень, очень рад, так рад, что ты и представить себе не можешь». Он читал уже у себя в Ялте отзывы газет. Не совсем доволен только одним: «Отчего не пишут об Ирине-Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Федор у вас мне не нравился, но Ирина казалась необыкновенной; теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине».

«Царь Федор» шел хорошо и делал сборы. Но только он. Другие пьесы не удерживались в репертуаре. А «Ганнеле» не пропустила духовная цензура — дела́ театра оказались очень зыбки. В запасе одна «Чайка», на неё все надежды. Если она провалится, то чуть ли не конец театру.

Разумеется, все очень нервничали в день первого представления. Мария Павловна помнила вечер в Александринке и билет свой передала брату Ивану. Но всё-таки не утерпела и во время первого действия пробралась к брату в ложу.

Станиславский так волновался, что когда, сидя на сцене спиной к залу, слушал монолог Нины, должен был рукой поддерживать ногу, чтобы не очень дрожала. От всех артистов пахло валерианкой.

Публики было мало. Но слушали первый акт внимательно. Мария Павловна в ложе чувствовала, что здесь что-то другое, не так как в Петербурге. И ей самой очень нравилось.

Когда акт кончили, тишина продолжалась. За сценой началась паника, безмолвная, убийственная — еще шаг и с актрисами начнутся истерики. Но как раз тут и прорвалось — зрители молчали вначале от нервности, силы впечатления, а потом сами впали чуть ли не в исступление.

Критик Эфрос вскочил на стул, «кричал, бесновался, плакал, требовал послать Чехову телеграмму».

В самой «Чайке» есть слова Дорна: «Как все нервны! Как все нервны!» — они приложимы не только к пьесе, а и вообще к интеллигентам того времени. Вспоминая его, ска-

жешь: да, все мы, тогдашняя молодежь, были очень нервные, чувствительны. У Чехова в пьесах часто девушки плачут. Не одни девушки плакали и «переживали»: весь просвещенный, средний (интеллигентский) слой русский был довольно мягок, легкоплавок и возбудим, да и чувствителен. Теперь это уже история, воспоминание, но тогда было именно так. «Чайку» играли молодые актеры, зрители были их же породы и друг друга они поняли. Помню себя и ту молодежь, среди которой жил. Мы все перебывали на этой «Чайке» в первый же сезон и для нас она оказалась событием. Не просто пойти в театр: потом чуть не до утра волноваться, разглагольствовать, «переживать».

Так и сами актеры обезумели, из них первый же как раз Станиславский. Кидались друг другу на шею, обнимались, плакали. На вызовы выходили с перекошенными лицами — страшно было смотреть. Становились к публике боком, а после занавеса пускались в дикий пляс, опять-таки Станиславский бесновался первый.

«Чайка» прошла с триумфом. Вызывали автора, но он сидел в зимней, с ветрами, с бурным морем Ялте. Ему отправили телеграмму от зрителей. И потом полетели другие телеграммы, пошли письма. Верная Мария Павловна, сам Немирович, Вишневский — бывший товарищ по гимназии в Таганроге, кума Щепкина-Куперник, все радостно приветствовали. «Ах, если б Вы могли почувствовать и понять, как мне горько, что я не могу быть на «Чайке» и видеть всех вас! Телеграммы из Москвы совсем выбили меня из колеи» (Вишневскому). «И письмо Ваше пришло первым, и, так сказать, первой ласточкой, принесшей мне вести о «Чайке», были Вы, милая, незабвенная кума» (Щепкиной-Куперник).

Сначала произошла некоторая заминка со спектаклями — Книппер заболела и некем было заменить её, но потом всё наладилось и успех оказался огромным.

Театр с нескладным названием «Художественно-Общедоступный» помещался в Каретном ряду, в доме Мошнина.

Этот Мошнин был приятелем моего отца. Премьеры «Царя Федора» и «Потонувшего колокола» видели из литерной ложи Мошнина — проходили коридором прямо из его квартиры.

Перед зданием театра («Эрмитаж») была небольшая площадь. По ночам на ней дежурили студенты и курсистки за билетами на «Чайку». Приходили со складными стульчиками, пледами, укутывались, читали под фонарями книжки. Иногда устраивались тут же танцы, чтобы согреться. Ждали дня и открытия кассы. Всё это происходило именно в России.



Довольно давно, осенью 89-го года, Чехов написал наспех пьесу «Леший». Нельзя сказать, чтобы, работая над ней, следовал совету своего «благовестителя» Григоровича — тот настаивал на серьезнейшем писании. Но Чехов тогда был еще молод, довольно самоуверен, отчасти ослеплен первыми успехами. Путь его только еще начинался. Владели им и навыки прошлого.

Плод получился поучительный. «Иванов» написан годом раньше, тоже очень скоропалительно, но в сравнении с «Лешим» это совершенство. Прошел год и за этот год Чехов, как драматург, не только не пошел вперед, а отступил назад. «Леший» есть некий хаос, смесь невысокой драмы с повестью и водевилем. Читая его, вспоминаешь местами Чехонте, хотя Чехов написал уже «Степь», «Скучную историю». Собственно «Чехова» в этом «Лешем» едва узнаешь.

Автор получил тысячу рублей гонорара, пьесу поставили в Москве у Абрамовой и Соловцова. Она не провалилась как позже в Петербурге «Чайка», однако этим дело и ограничилось. Ленскому он написал, что «Леший» идет 31 окт. в Александринском театре. Но проявил тут неидушую к нему самонадеянность: пьесу просто не приняли. Председателем Литературно-театрального комитета был тот самый Григорович, который приветствовал его приход в литературу. Он же

и забраковал теперь «Лешего». Чехов очень обиделся, назвал его «двоедушным» и отношения их испортились. Но Григорович был прав. Чехов сам скоро понял, что пьеса слаба. Печать её раздумал. А позже был просто в ужасе от неё.

Всё-таки, что-то в этом произведении задевало его. Оставалось какое-то зерно, ему надлежало прорасти. Произошла странная, если не сказать удивительная вещь: из «Лешего» развился «Дядя Ваня». Но за эти годы — с 89-го по 96-й из одного Чехова вырастал другой, заслоняя прежнего. Умер брат, побывал Чехов на Сахалине, остался след Лики, провалилась «Чайка», углублялась болезнь.

Он вернулся к «Лешему». Но вернулся тайком. Нигде в письмах не поминает он «Дядю Ваню», а обычно отписывал даже о мелких вещичках. Тут как бы прячется. Почему? — непонятно. Много позже, когда «Дядя Ваня» уже прогремел, сообщил Дягилеву даже неверную дату: будто написал пьесу в 90-м году. Может быть, в 90-м и пробовал что-то, но сделал по настоящему к концу 96-го. (Письмо Суворину от 2 дек. 1896 г. ...«неизвестный никому в мире «Дядя Ваня». Примечание редактора: «Чехов тогда только что закончил переделку своей старой пьесы «Леший», дав ей название «Дядя Ваня». — Откуда известно это редактору, я не знаю. Но считаю, что он прав. Чехов и Горькому (как Дягилеву) писал, что «Дядя Ваня» написан «давно». Может быть разумел тут странного предка «Дяди Вани» — «Лешего?»).

Про «Дядю Ваню» неправильно сказать, что это только «переделка». Чехов сам не любил, чтобы «Дядю Ваню» называли переделкой — и был прав, явилось на свет Божий нечто новое, хотя 2-3 сцены и близки к «Лешему». В общем же всё овеяно другим духом, написано возросшим человеком.

Две линии идут в «Дяде Ване», они связывают пьесу с прошлым Чехова и с будущим его. Доктор Астров жалеет лесá и об истреблении их скорбит, как в давней «Свирели» скорбел пастух Лука Бедный. И насаждая свои питомники Астров, в преддверии «Трех сестер» и «Вишневого сада»

мечтает о будущем, «через сто, двести лет», и даже его занимает, будет ли счастлив человек «через тысячу лет».

Есть и мотив бездельно-томящихся, неплохих, слабых людей (Елена Андреевна) — первый звук будущего «в Москву, в Москву!»

По настоящему же украшают жизнь некрасивые и смиренные. (В эту сторону Чехов пойдет с годами дальше и дальше). Их в пьесе трое. Как бы целая партия: Соня, Телегин (Вафля) и нянька. Телегин, у которого лицо в оспинках и от кого давно сбежала жена, жалуется няньке, что его называли приживалом. «И так мне горько стало». Нянька ему говорит: «А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживалы».

Астров думает о тех, кто будет жить после «нас» и вот те, «для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!»

Нянька отвечает ему: — «Люди не помянут, зато Бог помянет».

Нянька эта замечательна. В ней есть простота и свет, как в о. Христофоре. Она всех утешает, всех согревает, так же естественно, как делали это и Евгения Яковлевна Чехова, и сестра её Федосья Яковлевна, которую считал Антон Павлович святою.

Некрасивая девушка Соня, влюбленная без надежды в Астрова, в тяжкую минуту прижимается к этой же няньке Марине («Нянечка! Нянечка!» «Ничего, деточка». «Дрожишь, словно в мороз!.. Ну, ну, сиротка, Бог милостив»).

И при той же няньке Соня заключает пьесу прославленными словами, которые из уст Лилиной слушал театр в глубочайшей тиши, в сдержанных слезах и волнении: — «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах, мы увидим, как всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежною, сладкою как ласка. Я верую, верую...» «Мы отдохнем».

Занавес медленно задергивался, сходилась с двух сторон

к середине, обнаруживая на своем сукне чайку, символ театра. А в зрительном зале мелькали у женских глаз белые платочки. Кой-где плакали и откровенно.

Вот что вышло из «Лешего», где дело кончалось двумя водевильными свадьбами.

«Дядя Ваня» писался укрыто, неожиданно явился в 97 году в сборнике чеховских пьес (у Суворина), сразу пошел в провинцию. Как там играли его, не знаю. Но он имел успех, сильно шел — Чехов удивлялся.

Лишь в 99-м году монументально-величественный Южин, поклонник «Эрнани», пожелал его для Малого театра. Одновременно пожелал и Немирович для Художественного. Чехов был смущен, не знал как поступить. Помогла бестактность дирекции Малого театра (желали переделок для третьего акта). Пьеса досталась Немировичу. 26 октября 1899 года явилась она на сцене Художественного театра. Станиславский играл Астрова, Книппер Елену Андреевну, Лилина Соню, Войницкого Вишневецкий, Вафлю Артём, няньку Самарина — разошлось превосходно. Может быть лучше всех была Лилина, Мария Петровна Алексеева-Станиславская, жена Константина Сергеевича. Простая, очаровательная, так была верна, трогательна во всех своих словах, действиях. С Артёмом Чехов не был еще знаком, когда писал пьесу, а написал будто сшил для него по мерке. Смиренные заслонили собою всех, но вся пьеса вообще есть прославление смиренных.

Хорошо разыгрался и самый «оркестр» Художественного театра — исполнялось как музыкальное произведение, как музыкальное и доходило в зрительный зал. Теперь уже, видимо, не было таких треволнений, как с «Чайкой». Театр мужал, креп, уже прочно сложились друзья в публике, даже энтузиасты. Успех был большой, и опять Чехов сидел в одиночестве в своей Ялте — слава лишь доносилась.

В «Дяде Ване» — есть черты, волнующие всякое незастывшее сердце. Может быть, особенно пронзала пьеса эта многих из провинции (приезжали в Москву — сейчас же шли

в Художественный театр), задыхавшихся как будущие сестры, в медвежьих углах, так нуждавшихся в утешении, любви. В «Дяде Ване» есть именно утешение и любовь. Сколько Соня из глуши, попадая в Москву на Святки, плакало в этом Художественном театре над этой Соней из «Дяди Вани».

**
*

Всё развивалось правильно. В литературе явился Чехов, в театре — Художественный театр, именно к тому времени, когда Чехов стал зрелым художником.

Силен ли он как драматург? Это другой вопрос, мнения могут расходиться, во многом зависит это от того, чего хотят от драматурга. Толстой очень любил Чехова, но находил, что для театра он пишет «хуже даже Шекспира». Несмотря на Толстого, театр принял Чехова. Пьесы его прошли по всей России, а теперь со славою идут по всему миру.

Встреча же Чехова с Художественным театром произошла неспроста: это уже судьба. Нужно было им встретиться — встретились. И определили собою эпоху. Если бы Чехова всегда ставил Евтихий Карпов в Александринке, Россия не услышала бы голоса Сони. Это сделал Художественный театр. Если бы не было Чехова, сам Художественный театр не стал бы национально-русским, внедренным в русскую душу и литературу. Можно отлично играть Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, но это не значит быть национальным театром.

«Дядя Ваня» прошел всё же не с таким триумфом, как «Чайка». В критике, в общем благоприятной, были оговорки. Книппер нервничала, ей казалось, что она взяла не совсем верный тон — писала об этом Чехову. Чехов успокаивал и её, и других, отвечал спокойно (и грустно). Но понимал, что это всё, весь спектакль есть именно успех, прочный и уже долговечный. «Чайка» поразила неожиданностью. Теперь театр утвердился, у него есть лицо, есть правдивость чувствования, скромная простота и жизненность в исполнении. И есть музыкальная стихия. Это театр-оркестр, Чеховские поэмы-пьесы

как раз для него созданы, хотя создавались, когда его еще не было.

Поэтому неудивительно, что именно «Чайка» и «Дядя Ваня» легли в основы его. Не зря на занавесе театра, на серо-коричневых сукнах, бесшумно раздвигающихся открывая сцену, летела белая чайка.

Я Л Т А

«Я зимую в Ялте. Здоровье мое сносно, но в Москву меня не пускают, и вероятно, все будущие зимы, если буду жив, придется проводить здесь». Это написано из Ялты 2 января 1899 г. А через три дня: «Я купил себе участок в Верхней Аутке по пути в Исар и Учансу». Пока же что, живет в самом городе. А на участке, несколько выше, как бы в предместьи Ялты, начинается постройка дачи — теперь уж для окончательного устройства здесь. Мелихово еще не продано, появляются разные проекты, напр., купить для Марии Павловны дом в Москве, но сам он чувствует, что он-то прикован уже к Ялте. Так оно и оказалось. Дóма в Москве не купили, Мелихово осенью продали, Антон же Павлович прочно засел в Ялте.

Только-что блестяще прошла «Чайка» и блестяще продолжала идти, делая сборы. «Гул славы» в Ялту доносился. Чехов к нему не был равнодушен, этого не скрывал. Восторженная статья кн. Урусова в «Курьере», адрес, письма из Москвы, очевидно разговоры и шум в самой Ялте, всё возбуждало — «я словно изнемог» — довольно знаменательно для Чехова (не очень-то распространявшегося о чувствах). «Если бы я не жил в Ялте, то зима была бы для меня счастливейшей в жизни».

Если бы не жил в Ялте... — а между тем не только жил, но и пускал корни.

«Мне скучно». «Скучно и без москвичей и без московских газет, и без московского звона, который я так люблю». Но такой уж для него ход истории: болезнь свое дело делает

и другого выхода, как зимой жить на юге, для него нет. Слава растет, растут средства, а жизнь убывает.

Действительно ли из-за совета Толстого или потому, что Чехов явно шел в гору, но Маркс, издатель «Нивы», предложил ему 75 тысяч рублей за полное собрание сочинений. Договор подписали, часть денег он получил тотчас, остальные в недельные сроки — всё это, конечно, отлично. И всё-таки, всё-таки... — Чехов сам был врач, в Ялте сколько угодно было чахоточных, их присылали сюда с севера. Иногда приезжали они на последние гроши, иногда в безнадежном уже состоянии. Всё это товарищи по несчастью, и сколь многих направляли к нему с письмами московские врачи. Не таков он был, чтобы отказывать, некоторых навещал лично, старался устроить, но в общем для человека полубольного, иногда сумрачного и слабого, всегда почти утомленного, бремя получалось нелегкое. Да и ему самому говорило всё о том же, о том же.

Дом строился быстро и благополучно. Место приятное, над Ялтой, у самой аутской дороги, с далекими видами. И предгорья, и горы, и полоса моря. Чехов считал, что дача его «в 2½ этажа» — белое строение южно-дачной архитектуры, довольно приятного вида, с небольшими комнатами, но и балконами, в общем удобно. С террасы отличный вид. Разумеется сад.

Антон Павлович, как и в Мелихове, понасадил туда всякого добра, только здесь уже южного. Часто пишет он Марии Павловне о постройке. «Делать ли у тебя в башне паркетный пол?». «Аутская дача будет и красива, и удобна. Тебе и мамаше очень понравится. К твоему приезду, т. е. к июню, будет уже всё готово». А потом оказывается: «Подрядчики говорят, что дом будет готов гораздо раньше августа».

Нельзя сказать, чтобы гораздо, но в конце июля «Ялтинский дом очень хорош. Виды со всех сторон замечательные, а из твоей комнаты такие виды, что остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше. Флигель готов совершенно».

(Из чего следует, что дом еще не совершенно). «Все деревья, которые я посадил, принялись. Конопля, ризинусы и подсолнухи тянутся до неба».

Но вот и конец августа, а дом не готов. В комнате «Маши» настилают паркет. Хотели начать оклеивать обоями, но он остановил: пусть сама выберет обои. Обещано, что у неё и «мамаши» всё будет кончено к 1-му сентября. А пока живет он во флигеле. Наняли турка Мустафу, вроде дворника. Но с едой не вполне налажено. В город спускаться далековато, так что по-настоящему обедает он не каждый день. Всё-таки, и постройка и возня в саду развлекают.

Собственными руками посадил он сто роз, лучших сортов. Пятьдесят пирамидальных акаций, много разных камелий, лилий, тубероз — цветы Чехов всегда любил, еще в Мелихове занимался этим.

Наконец, в первых числах сентября (99-го года) Мария Павловна привезла ему «мамашу». «Помаленьку размещаемся в большом доме. Становится сносно».

Полвека назад мне пришлось побывать в этом доме. Я видел только кабинет Антона Павловича — и самого хозяина.

Как тогда полагалось, в кабинете этом турецкий диван, много фотографий на стенах. Темные обои, на столике разные мелочи, безделушки. Большой камин, над ним Левитан написал пейзаж — русский вечер, стога́ на лугу, подымающаяся луна. Письменный стол с чернильницей, свечами в подсвечниках, на столе моя рукопись, на неё капнуло стеарином со свечи... — и сам всё тот же Антон Павлович Чехов в пенсне, на диване, молчаливый и прохладный, но в конце концов ободряющий: вечный образ старшего писателя, к которому притекает новичек — на этот раз уже не лже-покупатель.

Сколь могу судить, дом спокойный, без роскоши и размаху, но удобный, изящный, и как Чеховым полагается, скромно-благообразный. Для Евгении Яковлевны весь этот Крым, горы, татары казались, конечно, экзотикой, не близкой и не православной. Да и Павла Егорыча не было. Не было, в

сущности, всей её полувековой жизни с ним. От Павла Егорыча здесь остался один (главный) след: икона Иоанна Богослова, которую написал он еще в Мелихове. Антон Павлович сам приказал почему-то привезти её сюда.

В октябре возил он мать и сестру смотреть Кучукóй — дачку с клочком земли, которую прикупил так, между прочим, из-за красоты местности. Но дорога туда шла по такой круче, что Евгения Яковлевна была просто в ужасе и всё время молилась. Кучукóй и ей и Марии Павловне очень понравился. Всё-таки Антон Павлович с ним промахнулся: для спокойных, великорусско-мелиховских душ это слишкомпряно. Никогда они там и не жили.

Мария Павловна в октябре уехала в Москву. Чехов остался с матерью. Он очень любил её, как сын был внимателен и почтителен, из путешествий всегда привозил подарки, поздравлял в письмах с именинами, здесь устроил её отлично и для неё вывез из Московии Марьюшку, какую-то Доримедонтовну, облики прежней жизни в Мелихове. Но её мир и его — слишком разные. Вряд ли мог даже он с ней о чем-нибудь разговаривать, кроме хозяйства и повседневности. Повседневности очень уж много и в его отношениях с сестрой, даже не слишком ли. Что же сказать про Евгению Яковлевну кроме только того, что всё же лучшими подспудными своими чертами он обязан именно ей.

Во всяком случае он чувствовал себя в этой новой жизни одиноко. Несмотря на удобный дом, близость матери, на успехи, было у него чувство изгнания и тюрьмы. Где-то на горизонте Москва, Художественный театр, «Дядя Ваня», Книппер («если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину») — с ней переписка становится более постоянной. Там жизнь, театральные успехи и треволения. Здесь он морит мух у матери персидским порошком, смотрит, как татары «усердно работают», выбирают какой-то щебень. У забора дорожка обложена камнем — события все замечательные.

Сестре он почти всегда писал, еще в мелиховские време-

на, или о керосине, или об изразцах; купи фунт свечей, коробку сардинок, заплати какому-нибудь Роману полтора рубля. Появляющейся Книппер не совсем так. «Ночью был пожар, я вставал, смотрел с террасы на огонь и чувствовал себя страшно одиноким».

Но вот в ноябрьском письме сестре есть кое-что и по существу. «Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь; точно не знаешь, какая скука, какой гнет ложиться в 9 ч. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как всё равно не видишь и не слышишь своей работы».

«Пианино и я — это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас некому играть».

Но тут он ошибался. Пианино безмолвствовало, а «предмет» как раз здесь и замыслил и написал повесть «В овраге» — украшение нашей литературы.

**
*

Суворин был самый даровитый из всего окружения Чехова (кроме Левитана). «Большой человек», говорил о нем Чехов. Письма к Суворину самые интересные из всей чеховской переписки.

Но жизнь есть жизнь — вечное перемещение. Друзья приходят и друзья уходят.

Да и вряд ли Чехов особенно кого-нибудь любил. В жизни его на место одних «друзей» без особых драм появляются другие, если не друзья, то заместители.

Беда Суворина была «Новое Время», газета пренеприятная. Чехов сам много в ней печатался, но многое и тогда его раздражало, начиная с Буренина. Тон цинический, издевательский никак не мог ему нравиться. И чем дальше, тем больше. «Новое Время» — выразитель правительственного и чиновного Петербурга — всё менее ему подходило.

Чехов политикой не занимался, но симпатии свободолюбивые у него были. На Сахалине и на Дальнем Востоке он многое увидел такое, что «Новому Времени» тоже не подходило. «Горе сытым, горе богатым, горе заимодавцам» — нововременцы были именно сытые и прихлебатели, как-то они неприятно лоснились.

В девяностых годах медленно, но неуклонно отходил Чехов в другую среду — «Русская Мысль», «Русские Ведомости» — либеральная интеллигенция того времени. Подошло дело Дрейфуса, подошли студенческие беспорядки. «Новое Время» заняло крайнюю позицию. Чехов оказался на одной стороне, Суворин на другой.

В России же вообще «начиналось» нечто. Отживал один век, начинался другой. Страшные потрясения близились.

«Гордо реет буреvestник, черной молнии подобный» — трудно представить себе что-нибудь более пошлое и безвкусное, чем такой «Буреvestник» (стихотворение в прозе, с убогим ритмом), но это было роковое произведение, как роковым оказался и сам Алексей Максимыч Пешков (Горький) — воплощение дешевого романтизма революции. Почва же для революции была. Само «Новое Время» готовило её. А дешевка Горького подходила к тогдашним вкусам. (Что говорить о малых сих: Горьким увлекались Станиславский, Ермолова).

Чехову он, конечно, не нравился, не мог нравиться. Но вот всё-таки Горький с ним познакомился, стал кадить ему, держался как преданный, верный ученик. Всё это действует, конечно. Да Горький был и очень даровит. Из середины выделялся. Много видел, много пережил, не лишен был черт душевности, даже сентиментальности. В некоем смысле Чехову было с ним интересно.

Горький оказался связью Чехова с миром, ему вовсе неподходящим, куда он, собственно, и не вошел, но соприкоснулся: с марксистами. Считал, что они «рыжие» — главный их признак. Бегло упоминает еще о «марксистах с надутыми

физиономиями». Но появляются первые марксистские журналы «Начало», «Жизнь» — и в этой «Жизни» повесть Чехова «В овраге». О ней Горький написал восторженную статью.

От Чехова ничего не убавилось, что он напечатал в «Жизни» свою повесть. В некоем роде даже прибавилось. Лишний раз показал он себя как человека: в объявлении журнала выдвинул имя Чехова крупным шрифтом. Как и раньше, в случае сходном, Чехов написал и этому редактору (Поссе): не надо выделять, пусть будет он как все, как сотоварищи.

Для марксизма могло быть в повести интересно только внешнее: что Цыбукин «кулак», что в его лавке продавали иногда тухлое, что рабочие жили плохо, а фабриканты Хрымины хорошо.

На самом деле всё сложнее. Конечно, Уклеево, село стоявшее в овраге, тем лишь и было известно, что там на поминках дьячек съел всю икру — это село Яма. Но и над Ямой бывают звезды, бывают и такие закаты, которые никак не похожи ни на лавку, ни на фабрику. Золото их, неземная прозрачность, невероятная нежность облачков, блеск креста в солнечных лучах говорят о лучшем мире. Говорят о нем (собой, своим обликом) некоторые и люди — не одни Аксиньи там живут, не одни фабриканты и лавочники.

Предтеча повести этой, конечно, «Мужики». Но тут взято еще острее, глубже и написано еще совершенней. Нет крестного хода с Живоносною, но есть те, в ком живет Живоносная. Есть облик Матери-Девы (хотя Липа замужняя и у ней ребенок), есть и вечная трагедия Матери. Что тут делать марксизму?

Зло и грубость и жадность, жестокость внешне победительны. Но как и в «Дяде Ване» внутренне побеждают смиренные и святые. Партия Аксиньи, Цыбукина, Хрыминых — это одно, а Варвара, Костыль и особенно Липа — другое. Во внешнем всегда правят и будут править одни, во внутреннем всегда побеждать другие. В жизни оврага они тонимы, нищи

и незаметны. Они заметны и сиятельны только в золотом закате над оврагом. Аксинья может отлично обварить из злобы младенца Липы и в овражной жизни это ей проходит безнаказанно, даже она и преуспевает потом в союзе с Хрыминым. Но вверх побеждает Липа. Побеждает она так же, собственно, как зло было побеждено тем Добром, Которое вознесли на Крест: вознесли, сами же им и были побеждены.

Когда безвинно погиб от людской злобы младенец Никифор и Липа несет тельце его из больницы домой в Уклево, ей встречаются ночью у костра мужики, старик и парень. Кому повем печаль мою? В раннем рассказе — старик-извозчик поведал своей лошади. Здесь молодая женщина случайным людям. Да, она рассказывает.

«Старик поднял уголек, раздул — осветились только его глаза и нос, потом, когда отыскиали дугу, подошел с огнем к Липе и взглянул на неё; и взгляд его выражал сострадание и нежность.

— Ты — мать, — сказал он. — Всякой матери свое дитё жалко».

Потом опять стало темно, длинный Вавила возился около телег.

«— Вы святые? — спросила Липа у старика.

— Нет, мы из Фирсанова».

При всей внешней скромности Чехова это недалеко от слов Самарянки у колодца Иаковлева: «Вижу, что Ты пророк!».

Старик не пророк и не святой. Он «из Фирсанова» — в этом весь Чехов. Но самый тон разговора таков, будто дело происходит не близ Фирсанова (чтобы не сказать Мелихова), а в Самарии или Галилее.

Старик взял Липу с собою в телегу, подвез. И тут, под русским небом, в тишине звезд наших происходит разговор, вновь возводящий к Священному Писанию (хотя о Писании этом не сказано ни слова).

Липа рассказывает, как весь день мучился её ребенок.

«Господи, батюшка, Царица Небесная! Я с горя так всё и падала на пол. Стою и упаду возле кровати. И скажи мне, дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается большой человек, мужик или женщина, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда у него нет грехов? Зачем?»

— А кто ж его знает! — ответил старик.

Проехали с полчаса молча.

« — Всего знать нельзя, зачем да как, — сказал старик. — Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно; так и человеку положено знать не всё, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтобы прожить, столько и знает».

Больше он ничего не говорит, но подразумевается: знать нам не дано, а принимать надо. Собственно, начинается уже книга Иова. («Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли? скажи, если знаешь». «Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь всё это». «Отверзлись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной?»).

Никогда старик из Фирсанова не читал Иова, вряд ли читал его и Чехов, но смысл всё тот же, Бог тоже всё тот же, лишь Новозаветный, та же и тайна судеб наших (за что? почему?). Тот же извечный материнский вопль о погибающих младенцах, что раздавался и во времена Ирода.

Иногда ведет этот вопль к возмущению, бунту: не приемлю судьбу, восстаю, возвращаю билет. Не так с этой Липой. Она не восстанет и не восстает. Именно потому, что смиренно приемлет — вот мир и свет через само страдание к ней сходят. В доме Цыбукина, в зловонной Яме только лишь Варвара в келейном своем углу нерушимо противостоит злу. Всё остальное разваливается. Муж Липы Анисим в тюрьме — фальшивомонетчик. Старика Цыбукина, ослабевшего с годами, выгоняет та же Аксинья и он всё теряет — но *конечная* судьба этой Аксиньи тоже пока неизвестна.

Липа не живет больше в доме Цыбукиных, она так же бедна, как и её мать, но Царство Божие именно в них, как и в подрядчике Костыле: мир души, свет и благоволение.

Вот как кончается повесть: вечер, очень светлый и ясный. Бабы и девки возвращаются домой со станции, где нагружали вагоны кирпичем. «Они пели. Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом, и заливалась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, слава Богу, кончился, и можно отдохнуть».

Спускаясь в Уклеево, в этом златистом осеннем вечере, встретили они старика Цыбукина. «Липа и Прасковья немножко отстали и, когда старик поровнялся с ними, Липа поклонилась низко и сказала:

— Здравствуйте, Григорий Петрович!

И мать тоже поклонилась. Старик остановился и, ничего не говоря, смотрел на обеих; губы у него дрожали и глаза были полны слез. Липа достала из узелка у матери кусок пирога с кашей и подала ему. Он взял и стал есть». «Липа и Прасковья пошли дальше и долго потом крестились».

Это и есть конец той удивительной повести, которая начинается дьячком, съевшим всю икру, а кончается словом: «крестились».

Чехов милует в этом своем писании и фальшивомонетчика Анисима (из тюрьмы приславшего лишь строчку: «Я всё болею тут, мне тяжело, помогите ради Христа» — строчка как бы зачеркивает сразу его грехи), и старика Цыбукина, тоже много грешившего, а на старости лет принимающего подаяние нищей снохи.

На всей повести лежит некий волшебный оттенок. Над уклеевской Ямой странным образом летит — именно летит, а не проходит, почти невесомый облик Липы, то в звездной ночи с младенцем на руках, то в блеске заката с торжествующей песнью и смиренной любовью. Так она в сердце и остается. Можно сказать: Чехову дано было написать в этой Липе с младенцем почти видение евангельского оттенка.

**

«Мне кажется, что я живу в Ялте уже миллион лет» — это написано в январе 1900 года. В том же январе избрали его почетным академиком по разряду изящной словесности, вместе с Толстым. Толстого нельзя было удивить никакой Академией — он даже не поблагодарил за избрание. Чехову, в скучной ялтинской жизни, это могло служить развлечением. Но вряд ли больше. Двенадцать лет назад Пушкинская премия взбудоражила всю его семью. Теперь обошлось тихо.

Антон Павлович кратко поблагодарил, в письмах же отзвуков мало. Вот первый: «Я, начиная с 17 января (день именин и возведения в бессмертный чин) был болен и даже подумывал, как бы не обмануть тех, кто выбрал меня в «бессмертные», но ничего, ожил и теперь здравствую, хотя, впрочем, с мушкой под левой ключицей».

Потом отдышался и в феврале пишет В. Н. Ладыженскому уже веселее. Тот поздравил его с избранием. Чехов ответил очаровательным письмом — он Ладыженского, поэта и пензенского земца, видимо любил (да не любить Владимира Николаевича было и трудно разумному человеку). Чехов всегда его дружески дразнил, считал, что он порет мужиков, и т. п. Письмо так и начинается: «Vive Penza! Vive monsieur le membre de l'hôtel de Zemstvo! Vive la punition corporelle pour les moujiks!» Ладыженский был добрейший русский либерал прошлого века, в хорошем смысле барин. Чехов писал ему, например, так: «Служи беспорочно, помни присягу, не распускай мужика, и если нужно, то посеки». «Прощай как человек, но наказывай как дворянин».

Дальше в ответном письме так сказано: «Благодарю тебя и за поздравление с избранием в академики и позволяю себе выразить тебе сердечное соболезнование по поводу того, что ты не был избран. Против твоего избрания сильно восставал Антоний, митрополит Санкт-Петербургский. «Пензенских», говорил он, «нам не надо».

Самому Чехову по-настоящему «надо» было тоже не пензенских. Самое интересное для него теперь — Художественный театр, в нем одна актриса, Ольга Леонардовна Книппер.

После «Дядя Вани» театру хотелось получить от него новую пьесу. Пьесы пока еще не было, в письмах он отговаривался (по словам Станиславского) тем, что не знает, в сущности, их театра — действительно, видел только раз «Чайку» в мае 99 г., для него ставили, без публики.

Чтобы показать театр и вообще с Чеховым ближе сойтись, решили весной ехать всей труппой в Крым, играть в Севастополе и Ялте. Так всё и вышло.

На Страстной двинулись из Москвы табором: жены, дети, няньки, чуть ли не самовары. Остановились в Севастополе в гостинице Кйста, наводнили собой, разумеется, всё — и у Кйста, да и для города это было событием. Билеты шли на расхват. В Ялте заранее все спектакли оказались разобраны.

Привезли с собою «Чайку», «Дядю Ваню», «Одиноких» Гауптмана, «Гедду Габлер» Ибсена. Пасху встречали в Севастополе. Станиславский простодушно (чтобы не сказать больше) сообщает, что разговелись очень весело, потом пошли на рассвете к морю, где от доброго настроения «пели цыганские песни и декламировали стихи под шум моря». Нехватало только Максима Горького. Он бы им продекламировал после Пасхальной заутрени «Буревестника».

За Чеховым ездила в Ялту Книппер. Вернулась с известием, что здоровье его неважно. Всё-таки он на второй день Пасхи приехал — они встречали его на пристани. Он последним вышел из кают-компания, удивил всех плохим видом. Сильно кашлял, побледнел, воротник пальто поднят, глаза невеселые и нездоровые. А в Севастополе погода была неважная. Холодно, ветрено. Конечно, к нему приставали с распросами о здоровье. Он отвечал как всегда:

— Я совсем здоров.

И вероятно посылал в душе этих актеров, кроме одной актрисы, туда, куда и надо. Притом не вполне был прав. Де-

ляли они это по непониманию, к нему же относились чуть ли не восторженно. На нелюбовь к себе Художественного театра Чехов не мог жаловаться. Его очень любили. Да и не одни актеры, публика тоже.

Гастроли сошли отлично. Правда, играли в холодном театре, в актерских уборных из щелей дуло, актрисы одевались рядом в гостинице. Чтобы получить полный свет в «Чайке», Немирович велел дать такой ток, что погасло освещение в половине городского сада. Но все эти трудности мелкие. Главное, был успех, успех большой.

Для Чехова, помимо того, что тут рядом Книппер, всё это было большим развлечением, особенно после скуки Ялты. Он бродил по уборным, сидел днем с актрисами перед театром, на солнышке — грелся. Острил, разумеется. Вечером публика его вызывала. Станиславский считает, что Чехов «был в отчаянии», но всё-таки выходил.

Насчет отчаяния... — скажем: преувеличено.

Чехов любил славу. Слишком был умен и сдержан, чтобы с этим вылезать, но всё-таки любил. Известная застенчивость, нелюбовь к шуму, толпе делали для него стеснительным самое появление перед публикой — это возможно. Но страдал он не тогда, когда в Москве, Севастополе, а потом по всей России ему аплодировали, а когда в Петербурге свистали «Чайке». Чехов слишком большая величина, чтобы причесывать его под Станиславского.

Так начиналась весна и лето, оказавшиеся для него решительными.

Из Севастополя театр перебрался в Ялту. Там получилось то же самое: восторги, поклонение, триумф. Но теперь вся ватага актеров, из которых самым шумным, с большой искренностью собой восхищавшимся, был Вишневецкий — всё это в свободные часы толклось в доме Чехова. Завтраки, обеды, чай — непрерывно. В Ялту съехались и писатели: Горький, Бунин, Елпатьевский, издатель «Журнала для всех» Миролубов, Не-

мирович, Мамин-Сибиряк — как бы литературный штаб Чехова. И тоже держались при нем.

Кормили, поили всю эту компанию, конечно, Мария Павловна и Евгения Яковлевна с сонмом разных Марьюшек и Марфуш и иных дворовых. Столпотворение получалось именно такое, какое всем видевшим ту эпоху известно отлично. Где порядок или система у русского писателя начала века, или где западная замкнутость? Об этом говорить не приходится. Являлись друг к другу с утра, разговоры без конца, философствования или споры, пить и есть можно тоже сколько угодно — приготовят всё руки малых сих.

Ольге Леонардовне Книппер Чехов писал еще раньше (со слов Немировича) — что когда приедут в Ялту, будут репетировать и вечером. Займут, однако, ценных представителей труппы, «прочие же будут отдыхать, где им угодно. Надеюсь, что Вы ценная, а для автора — бесценная». Вот под этим углом воспринимал он, вероятно, весь кавардак и нашествие актерско-писательское на его дачу в Аутке. Шумно и утомительно, но это жизнь. Недуг подтачивает, но и обостряет самое чувство жизни. Любовь тоже сжигает, разумнее жить в санатории, чем любить. Но он именно полюбил, и Бог с ней, с санаторией.

Труппа играла в Ялте в конце апреля. Станиславский по-детски восхищался Горьким, Горький рассказывал им замысел своего «На дне», а Книппер помогала уже Марии Павловне по хозяйству. Очень ли нравилось это Марии Павловне — другой вопрос.

Тут занавес опускается, и про то лето, по отъезде труппы, можно сказать так: достоверно известно, что пьесу свою «Три сестры» Чехов начал не позже июля (лучшая роль в ней для Книппер). Бесспорно также, что этим летом сама Книппер оставалась в Крыму. В начале августа она уехала в Москву. 9-м авг. помечено письмо к ней Чехова из Ялты. Начинается оно так: «Милая моя Оля, радость моя, здравствуй!» — первое письмо к ней на «ты». Оно всё и выдает. Вот в Се-

востопле он проводил ее на поезд, тоскует, бродит, от нечего делать едет в Балаклаву. «Мне всё кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь». «Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы хранители. Прощай, девочка хорошая».

Борис Зайцев

Д Л Е Н Ь Е

Нету времени — пропало!
Как дыра футляр пустой.
Без конца и без начала
Растянулся день шестой.

Утомительного дленья
Скуку я терпеть готов.
Но хочу, чтоб в Воскресенье
Ждал нас отдых от трудов.

Чтобы не было страданья,
Ни вражды добра и зла.
Чтоб невеста на свиданье
В платье розовом пришла.

Но он длится, длится, длится
Бесконечный этот день.
Солнце светит, не садится
И луне подняться лень.

Только в воздухе лиловом
Замирает птичий крик,
И лежит в гробу дубовом
Сумасшедший часовщик.

Владимир Злобин

НИН ЕЛЬ

1

Доктор Леонтий Андреевич Лысич на сегодня получил от поликлиники Здраводела только семь посещений, и все пациенты оказались из одного района. Удалось без трамвая к двенадцати часам закончить обход больных. Вечерний прием в поликлинике начинался в шесть. День был так хорош, тих и ласков, день нарядной осени, что не хотелось торопиться домой. Минутку постояв на перекрестке улиц и поразмыслив, Лысич впрыгнул в медленно заворачивавший трамвай и поехал на кладбище.

Запущено и ветхо кладбище, начиная от развалившейся ограды. Многие могилы осели и сравнялись с землей, памятники накренились, некоторые кресты подгнили, и только кое-где заметна была заботливая рука, — там росли цветы, сохранялись металлические венки и стояли скамейки. Суровая жизнь, полная хлопот и тревог, не давала людям ни сил, ни времени позаботиться о мертвых. И, действительно, приезжая изредка сюда в течение двух лет, доктор почти никогда не встречал тут кого-нибудь, разве попадал на чьи-либо похороны. Но это было так неприятно и так отчетливо напоминало все подробности погребения Раи, что он в таких случаях поворачивал назад и уезжал.

На этот раз было совершенно пустынно. Пахло буксусом, прелыми листьями. Летающие паутинки щекотали лицо. С окраин города веяло теплой деревенской влажностью, горьковатым дымком, а за дырявой оградой древний старик пас трех желтоглазых овец, и у одной из них под шеей позванивал жестяной колокольчик.

Тесно на кладбище. Новые могилы роют уже и на месте

старых, провалившихся, безымянных, а то и на дорожках. Вот и вокруг Раиного холмика сколько новых насельников! В Горсовете несколько раз ставился вопрос о расширении кладбища, «увязывали проблему» с Облкоммунотделом. Один из членов Горкоммунотдела подал даже мотивированную докладную записку «на базе санитарии и гигиены» о строительстве крематория по всем правилам науки и техники, но центр вернул проект с неприятной для партголовки резолюцией: «проект без оснований, — для города с трехсоттысячным населением достаточно второго кладбища».

Могила Раи в полном порядке: кладбищенский сторож за пятерку в месяц окапывает ее, разводит простенькие цветы и оберегает от всяческих посягательств. Впрочем, иногда цветы исчезают; чья-то лихая рука делает из них букеты для живых. Этот же сторож помог поставить гранитный столбик с надписью: «Раиса Борисовна Лысич — 1897-1932».

— Это вы, гражданин, правильно, что не крест, а столб. Нынче столбы в моде.

— Моя жена — еврейка.

— Тем паче. А которые христиане — так тем теперя опять же столбы... Мода такая...

У столбика — астры, похожие на хризантемы.

«Эх, Рая, Рая!..»

Лысич сел на скамейку, поставил рядом портфель, давно уже похожий на обшарпанный мешок (пожалуй, больше пятнадцати лет живут в нем трубка, коробка со шприцами и перевязочный материал), снял шляпу и будто задремал.

А ведь она всегда чувствовала, что жизнь ее будет коротка. Вот, когда женились и придумывали, как и чем обставить две маленькие комнатки, Рая спокойно говорила:

— Не нужно об этом слишком много и долго думать... Мы все, как приезжие из другого города или страны, мы все — точно в гостинице. Приехали, разложили чемоданы и пошли по делам. Если долго возиться с чемоданами, то и города не увидишь и дел не сделаешь.

И была у них самая необходимая, простая мебель, было опрятно, но заботы об украшении, накоплении не тревожили их обоих, тем более, что он был вечно в бегах и она, после рождения единственной дочки, поступила в медицинский Институт, а, став врачом, работала в детском отделении больницы.

Была у нее особая торопливость, — всё ей казалось, что вот не успеет она сделать чего-то главного, назначенного ей в жизни. Деятельностью своей увлекалась, уходила в нее с головой. Когда они — за обедом ли, за ужином ли — встречались, — похоже было на кипучую медицинскую конференцию: обсуждали, спорили, делились опытом.

Рае нравилось широкое разветвление медицинских учреждений, но раздражало, что смелый теоретический размах слишком часто натывался на практическую скудость, даже нищету. Она неустанно билась за первоклассное оборудование педиатрического кабинета, писала и в центр и в газеты, ездила за аппаратами и инструментами и, бывало, падала духом, встречая холодный, а то и враждебный отклик на свои хлопоты.

Леонтий Андреевич скорее ее угомонился в своих порывах, махнул рукой на задуманную было научную работу и целиком отдался практике в качестве врача центральной поликлиники, при чем по совместительству исполнял обязанности и районного врача, бегая на дом к пациентам. В городе у него была даже популярность. Если пациенты обычно вызывали районных врачей, чтобы получить «листок нетрудоспособности», а для лечения вызывали частного доктора, то Леонтий Андреевич и «освобождал», и лечил, и больные радовались, когда от поликлиники приходил именно он. Он умел и утешить заболевшего и постоять за него в контрольной комиссии, но симулянтов, пьяниц, прогульщиков стыдил, предупреждая, что вторично подписи своей не даст.

До 1929 года они с Раей прожили сравнительно благополучно и так как зарабатывали оба, то и сводили концы с концами. Отдохнуть после работы удавалось редко, — надо было

ежедневно побывать в двух-трех очередях, — то, глядишь, картошку в Рабкооп привезли, то повидло по коммерческим ценам, то соленую мелкую рыбешку «давали», необходимо было выстоять и сахар и муку; вместо чая пили «малиновый напиток» (из пережаренной моркови) или суррогатный кофе. Леонтий Андреевич ежедневно по дороге «промышлял» что-нибудь на базаре: дровишки (нормы по карточкам не хватало), мясо, мороженую рыбу, овощи; удавалось в скудные годы у крестьян выменивать простыни на крупу, лук, масло. Хлеб по карточкам брала для них Парася, соседка, — ей всё равно за своим хлебом часы выстаивать. Рая не была кулинаркой и еду приготавливала простую, скорую, а иногда просила Парасю, которая неизменно варила борщ ей одной известным способом (целое священнодействие), и этот борщ ели три дня.

В тридцатом году у Раи начались неприятности. При проведении коллективизации в одном из ближайших к городу сел произошла безобразная перепалка. Рассказывали, будто кулаки и подкулачники оказали сопротивление, было пущено в ход оружие, а на следующий день в больницы было доставлено около двух десятков покалеченных людей. Среди них были и маленькие дети. Дня через три разъяренные власти потребовали изъятия из городских больниц ряда пациентов, как политических преступников. Получен был приказ и у Раи о переброске двух мальчуганов — шести и восьмилетнего — в «иные места». Рая пришла в негодование и наговорила резкостей, высмеяв указание, что дети — подкулачники. Старший врач больницы выполнил приказание властей уже ночью, в отсутствие Раи. А на утро вызвал ее в кабинет и при участии парторга — фармацевта больничной аптеки — сделал ей выговор с предупреждением, парторг же еще добавил, что она проявила опасную политическую несознательность и что профсоюз Медсантруд особо рассмотрит ее поступок.

Рая сгоряча написала в центр. Ответа не получила. Послала в газету, но заметку не напечатали, а на особом собрании месткома «заклеймили» ее поведение, предложили снять ее с работы в больнице. Через месяц ее перевели детским районным

врачем в окраинную поликлинику с годичным испытательным сроком.

Рая ходила с широко-открытыми глазами, словно увидела весь мир в ином свете. Она внимательно прислушивалась к вестям о том, как «шьются» дела, как газеты треплют имена мнимых «вредителей» и «саботажников».

При посещении одного больного ребенка, оказавшегося сыном зампредгорсовета, она подверглась чуть ли не допросу: ее с гаденькой улыбочкой выспрашивали — не дочка ли она бывшего купца-мебельщика Каплана, умершего, правда, разоренным еще до революции?

Рая не выдержала и, вернувшись домой, долго и тяжело плакала, чего с ней, кажется, никогда в жизни и не бывало.

Леонтий Андреевич нашел ее в темной комнате, молча гладил ее пышную каштановую голову и милые нежные руки. Он без слов понял, что Рая ранена мучительно и, вероятно, навсегда.

Рассказав обо всем, она только спросила:

— И вот *это* принесла революция?

Леонтий Андреевич попросил: — Только, пожалуйста, сдерживайся и не скажи это где-нибудь сгоряча.

— За себя ручаться не могу. Если доведут до крайности, то и скажу...

После испытательного срока ее, к счастью, оставили в поликлинике, но жить и работать ей оставалось недолго.

Осенью в тридцать втором году, во время дифтеритной эпидемии, она заразилась и сгорела в три дня. Последний день был особенно страшен. Она то бредила, и тогда из затекшего горла вырывались непонятные глухие звуки, то в полном сознании звала мужа, брала его за руку, сжимала ее и пробовала говорить, но, замечая, что ее нельзя понять, плакала и заставляла себя улыбаться. На воспаленных щеках — слезы. Леонтий Андреевич никак не мог понять, что это она говорит: — Афь... тóби...

Ни прививка, ни укрепляющие сердце средства не помогли, и на третью ночь всё было кончено.

Что это она просила: — Афь тóби?

И только много позже догадался и ужаснулся: — Да ведь она, умирая, просила: — Поставь столбик, столбик на могиле...

2

Вечером Нинель спросила довольно безучастно отца:

— Не обедал сегодня? Опять была сверхнагрузка?

Леонтий Андреевич ответил нехотя: — Съездил на кладбище. День очень хороший.

Нинель взглянула на него, что-то хотела сказать, но не сказала, а, взяв развернутую книгу, ушла к себе.

— Хотя бы раз сказала, что поедет со мною на могилу матери, — с обидой подумал доктор. Он даже не был уверен, что она с похорон была на кладбище, и вообще, было неясно, как хранит она память о матери.

Часто он задавал себе вопрос: — Какая она, наша Нина?

Конечно, во многом были виноваты они.

После ее рождения, года три за ней присматривала бабушка, Сарра Абрамовна, мать Раи. Овдовевшая перед революцией, она жила отдельно от Лысичей в оставленной ей боковой комнате, — в бывшую ее квартиру Жилкоммунотдел вселил большую и неряшливую семью красного партизана. Сделали попытку подыскать другую квартиру с тем, чтобы Сарра Абрамовна жила вместе, но в Жилотделе только обещали. Взятку, которую в виде отступного рекомендовали опытные люди, Рая отказалась давать категорически, и так дело затянулось до смерти бабушки.

И Леонтий Андреевич и Рая были заняты по горло; по вечерам заставляли Нину уже спящей. Почти целый день она была с бабушкой. Та ее брала к себе, гуляла с ней, кормила, одевала, она же хозяйничала в квартирке Лысичей. Нина была у ее юбки. После смерти бабушки, Рая устроила Нину в детский сад, и к шести часам заходили за ней и вели домой или Рая или Леонтий Андреевич. Соседка — жена нарпитовского

повара — Парася — была чувствительна и любвеобильна не в меру, единственный ее ребенок умер, и она нередко заманивала к себе Нину, а затем предложила присматривать за ней по вечерам, в отсутствие родителей. Это было очень удобно, и Рая начала оплачивать эти заботы.

Нина, повидимому, неясно представляла себе, где она живет. В особенности, она привыкла к детскому саду, и когда болела — очень скучала без «калектива».

Все стишки, песенки, пляски и игры в детском саду она мгновенно запоминала, обучала им своих сотоварищей и сызмала обнаружила задатки «вождя». Будучи «ровесницей Октября», она с особенным удовольствием к каждой революционной годовщине клеила и разрисовывала флажки, украшала стены портретами Ленина и Сталина, взятыми в рамки из красной бумаги, и повторяла всем то, чему ее научили воспитательницы: — Я — счастливая, да, я счастливая, — и я и революция родились в один год.

Ей нравилось верховодить, приказывать, она даже топала ножкой, если ей не подчинялись, и две коротенькие косички с алыми бантиками, и курносенькое веснучатое личико, и темно-серые глаза — всё горело вдохновением, когда она в сопровождении хвоста из малышей носилась по зале под гирляндами красных флажков или пела и танцевала на низенькой эстраде. С особым восторгом она декламировала стихи:

— Никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!

Такое же положение она завоевала чуть ли не в первый день, когда пошла в школу. С энтузиазмом записалась она в пионеры, лезла из кожи, чтобы быть активисткой. Дома по вечерам горделиво объясняла устало улыбающимся родителям, почему пионеры носят красный галстук с углом на спине, почему они поднимают для приветствия руку вверх.

— Вот, посмотрите, — теребила она родителей, — посмотрите, — руку надо сложить пальцами вместе, почему? Потому что это знак единства коллектива, а еще и потому, что на земле пять частей света и все они должны быть вместе! А

почему руку надо поднять выше своей головы? А потому, что интересы коллектива выше собственных! Будь готов!.. Всегда готов!.. А вот вы не были пионерами. Когда помещики, буржуи и царь сидели на шее рабочих и крестьян, пионеров не было, их бы убили, да!

Рая и Леонтий Андреевич переглядывались, улыбались и... молчали. Они решили, что было бы психологически опасно вносить раздвоение в душу девочки, пока она не созреет. Тогда можно будет с ней толковать, как со взрослой. Да и вообще, много ли с ней разговаривали? Ее развитие шло на стороне, в школе, в пионерском клубе.

И чем старше она становилась, тем позже она возвращалась домой: то писали и «оформляли» стенгазету («и математика так прохватила, что ему не поздоровится»), то готовили антирелигиозный спектакль, то она вела «буксир» отстающих учеников, чтобы те «ликвидировали хвосты» по обществоведению. Рая осторожно произвела проверку, — действительно ли только эти причины объясняют ее чуть ли не ежедневное позднее возвращение. Да, она не лгала. Вообще, она не умела лгать и, пожалуй, слишком резко и откровенно высказывала свое мнение. В этом отношении — в мать.

Леонтий Андреевич после раздумья заметил, что мнения у нее, в сущности, не свои. Она искренно повторяла те ходячие штампы, выражения, лозунги, которые внушались ей пионерским и комсомольским «окружением», вдальбивались изодня в день. Они воспринимались ею, как аксиома. К родительскому мнению относилась с недоверием. Всё, что шло вразрез с аксиомой, представлялось ей, как враждебное, как «вылазка классового врага».

Кончая семилетку, она безапелляционно заявила родителям, что впоследствии подготовится к поступлению в Институт иностранных языков. Советоваться с ними она не привыкла, преподносила готовые решения и очень удивилась, когда мать, переживавшая тогда свое крушение из-за «кулацких детей», не одобрила ее планов.

— Почему? — вызываяще закинув голову, спросила Нина.

— Специализироваться в языках — очень хорошо, но кем же ты в наше время станешь? Учительницей? Подойдет ли это твоему характеру?

— Да я вовсе и не думаю быть учительницей, с чего ты взяла! Нет, у меня дальний прицел (так вот и сказала — «дальний прицел»): совершенно очевидно, что приближается мировая революция, нужны кадры знающих иностранных языки.

— Ты что же, в дипломаты собираешься? — улыбнулась Рая.

— В конце концов, почему и нет? Может же Коллонтай быть полпредом?

— Ну, девочка, путь для тебя еще далекий. Надо много еще поучиться. И не будь такой самонадеянной. Интересно, почему ты так уверена в мировой революции?

— А я удивляюсь, мама, как ты в ней не уверена. У тебя беспартийная точка зрения. И, вообще, досадно, что и ты и папа — беспартийные. Если бы ты была в партии, у тебя не было бы неприятностей.

— Что такое? — нахмурилась Рая. — О каких неприятностях ты говоришь, из-за этих несчастных детей?

— Трудно назвать их несчастными, если они — классовый враг.

Рая вскипела: — Тебе рано еще судить, рядить и учить меня! Если ты научилась говорить газетными прописями, это не значит, что ты всё понимаешь. Мне жаль, что у тебя слишком много апломба и очень мало сердца.

Нина побледнела, взглянула исподлобья: — Сердца «вообще» — нет, есть и должно быть классовое сердце.

Повернулась и ушла.

Болезнь и смерть матери утрашили ее. Она была изолирована, чтобы не заразиться дифтеритом, и увидела мать уже мертвой. Конечно, она была подавлена, но вот слез не нашлось у нее; молча, с каменным лицом шла она на кладбище, молча смотрела, как опустили в яму гроб, как ловко два могильщика зашвыривали могилу комковатой глинистой землей. Строго взглянула на припухшее и мокрое от слез лицо отца, взяла его руку и крепко сжала ее. Дома она несколько дней старалась следить за ним, сочувственно слушала его воспоминания о покойной, но сама не вспоминала почти ничего. А когда, после нескольких недель острого горя, жизнь невольно вошла в свою колею, она быстро оправилась и через год завертелась активисткой на первом курсе Института иностранных языков, выбрала себе специальностью немецкий язык, объясняя, что это теперь нужнее всего, — нужна борьба с германским фашизмом.

Работоспособность ее была удивительна, она запоем читала и охотно брала на себя общественные нагрузки, с гордостью носила значок ГТО, была принята в комсомол, где сразу попала в бюро. С отцом разговоры бывали случайные и мало значущие. Об ее внутреннем мире можно было только догадываться.

Она переделала свое имя на «Нинель», — если прочитать с конца к началу, получится «Ленин». Отец звал ее попрежнему — Нина.

На втором курсе она уже недурно говорила по-немецки, зарегистрировалась в Интуристе, как переводчица, и несколько раз сопровождала на показательный завод какие-то иностранные делегации.

Ей шел девятнадцатый год. О нарядах и кокетстве она и не думала, одевалась просто, пожалуй, бедно, не любила ярких красок. И весь облик ее мало бросался в глаза: обыкновенная девушка, у которой не было ни привлекательной, запоминающейся свежести, ни особой грации, — и только обращал на себя внимание рот. Губы были чудесного излома,

с капризным рисунком и естественной темно-розовой окраской.

Однажды Леонтий Андреевич был удивлен, когда увидел ее как-то раз принаряженной, в туфлях на высоком каблуке, завитой и с подкрашенными губами: — совсем другая Нина. Хорошенькая.

— Что это значит? — спросил он, притворно хмурясь.

— Надо для дела. — (Она чуть усмехнулась). — Для интуристов.

— Но ты же, кажется, противница грима? И что скажут в комсомоле?

— Именно от комсомола дана директива.

— А я думал, что ты влюбилась, — пошутил отец.

Нинель насмешливо смерила его с головы до ног:

— А я не ожидала от тебя такой пошл..., такой сентенции. Ты что же думаешь, что я брачное оперение надела на себя? Если бы я и сошлась с кемнибудь, то с таким, которому нужна я — естественная, а не мои украшения.

Леонтия Андреевича покорило ее тон, ее слова, и он пробормотал: — Для восемнадцатилетней девушки это звучит примитивно-прозаично. Любовь — это такое чувство или, вернее, такой комплекс чувств, что...

— О любви наговорено слишком много нарядной чепухи, — обрывая его и не слушая, докторальным тоном продолжала Нинель; — ты же — врач и лучше других должен понимать, что в основе так называемой любви лежит физиологическое влечение.

Леонтий Андреевич ужаснулся: — Нина, очень горько слушать от юного существа эти зоологические приговоры... даже страшно слушать... В любви у человека вокруг этого, как ты называешь, физиологического зерна столько высших качеств — и дружба, и взаимопомощь, взаимопонимание, и работа, и самопожертвование и многое такое, чего не выразишь простыми словами, — это — букет высших человеческих, а не звериных переживаний, букет ароматный и очень сложный, а ты всё свела — к чему?

— Всё сложное можно и нужно свести к простому, к основному. Ты же сам говоришь о зерне, вот оно и есть движущая пружина в любви.

— Откуда ты всё это взяла?

— Читаю. Читаю много книг, которые в твои молодые годы были запрещены. В свете диамата идеалистические ценности развенчаны, всё поставлено на свои места, всё яснее, и мы с молодости уже не блуждаем в потемках, а видим вещи такими, какие они есть.

— Ну, положим, всё это было хорошо известно и нам, и за такие книжки никого не репрессировали; со времен Писарева, Базарова да Марка Волохова известна такая упрощенная прямолинейность и притом — в итоге — себя не оправдавшая. Ты, очевидно, думаешь, что материалистический позитивизм, обернувшийся теперь этим диаматом, непогрешим? Но начнет мять жизнь, и ты сама не заметишь, как пошатнутся твои «убеждения»!

— Никогда. Многомиллионная мысль партии не может заблуждаться!

Сказано это было с таким высокомерием, твердостью и снисходительным сожалением, что отец махнул рукой и взволнованно ушел к себе.

— Неужели все они, — думалось иной раз ему, — неужели эти теперешние юнцы и впрямь иная молодежь, чем в мое время? Живя рядом, мы с Раей и не заметили, как складывался Нинин характер, чем она пропиталась. Похоже, что мы будто из различных миров. *De omnia dubitandum est* — вот наш метод мышления, метод исканий, сравнений, критического недоверия, — у нее же и, по всей вероятности, у них, у многих — аксиоматический партийный аршин, исключающий сомнения... Не есть же он знание — этот непогрешимый аршин, — это, по существу, вера, а для верующего фанатика — *credo quia absurdum est*. И вот, еще второе: им, отгороженным от религии, подсовывают религию-диамат, и не сублимируются ли подавленные юношеские религиозные эмоции

хитро в эту другую область, становящуюся их религией, чего они сами не сознают? И не обретают ли они при этом чувства прочности, несомненной уверенности, даже счастья, стадно идя по готовому пути, полагая его единственно верным и прямым?.. Гм..., пройдет несколько лет, и если Нина не сойдет с рельс, то, пожалуй, полезет на верхи. Но какой ценой? Она, видимо, впереди своих, и не у всех из них заметна ее прямолинейность, есть потише, посерее, а есть и явно двойственные. Вот, в прошлый день своего рождения Нина собрала у себя с добрый десяток своих сокурсников. Она знакомила их лаконично: — Мой отец.

Ну, и что же? Что они делали, о чем говорили? Слышно было, как они весело спорили о результатах состязаний на «ворошиловского стрелка», оглушительно хохотали по поводу происшествий в общежитии, мечтали о коллективной «вылазке» в Крым, а потом, в тесноте Нининой комнаты, начался «закусон и выпивон». Кто-то из них притащил с собой водки, другой сулею дешевого молодого вина, настроение повысилось, один так стремительно нахватался, что ему стало плоховато. Удивления особого это не вызвало. Нина крикнула только вслед: — Уборная в коридоре налево!

Потерпевший, придерживаясь за попутную мебель и стенки, в нерешительности тыкался то в ту, то в другую дверь и попал в комнату Леонтия Андреевича. Тот, увидев обмякшего и позеленевшего студента, провел его в уборную, а оттуда в кухню к водопроводному крану. Ухватившись руками за раковину, хлопек подставил вихрастую голову под струю, вода текла на воротничок розовой праздничной рубахи, на галстук, на брюки, из ладони он хлебал ее, повернул лицо к доктору и... застеснялся. Ухмыльнулся, подмигнул одним глазом: — С кем ноев грех не случался, правда, папаша?

— Какой? — не понял Леонтий Андреевич.

— Ноев, говорю, — библейского старца грех.

Странно. Комсомолец — с библейскими сравнениями. Ну, куда там было любопытствовать, надо было отвести юношу к

себе и уложить на кушетку. А студент, растягиваясь довольно бесцеремонно, бормотал: — Мне никого не совестно, только дочки вашей, — посмотрит, глазом убьет.

А молодежь после пиршества затеяла игры. С большим воодушевлением, шумом, смешливой возней они инсценировали шарады, какими-то путями дошедшие и до комсомольцев. Но слова были особенные: лик-без, рай-ком, кон-вейер. Второй слог из «ликбез» был представлен, как «бес», и не без талантливости: один из участников так вымазался жженой пробкой, так вырядился в черные и огненные шарфы, так устрашающе завывал, что действительно напоминал беса, а вокруг него скакали дьяволицы с распущенными волосами, оглушительно лязгая вилками и ножами по сковородкам, мобилизованным из кухни.

Когда иссякли силы для бурного веселья, участники расселись кто на тахте, кто в креслах, а кто по-турецки просто на ковре, и появилась принесенная гитара. По мнению всех присутствующих, жгучий брюнет, худенький и бледный, должен был петь. Очевидно, это у них было в обычае.

Потушили верхний свет, оставили в углу маленькую лампочку под зеленым абажуром.

Брюнет пощупал струны, брал аккорды, что-то вспоминал и запел хорошим, глубоким, мягким баритоном «Полюшко-поле». Пел он задумчиво, тихо, очень музыкально, и лицо у него стало особенное, милое, да и у всех лица были хорошие... Пели потом хором частушки. Надоело. Тогда пристали к брюнету, чтобы он спел... цыганские романсы. После тонкой фразировки «Очи черные, очи страстные» Леонтий Андреевич с искренней заинтересованностью показался в дверях, присоединяясь к общим аплодисментам. Нинель усмехнулась и сказала не без дружелюбия: — Вот видишь, какой он у нас, этот Виктор, даже тебя расшевелил. Садись с нами, он еще споет. А Алешка спит у тебя?

— Да, ему лучше полежать...

— И ничего не лучше! — рявкнул сзади доктора голос.

Вихрастый Алешка с расстегнутым воротом и галстуком, съехавшим на грудь, уже довольно твердо держался на ногах: — Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. А вам, товарищ доктор, великое спасибо за то, что вырвали из когтей зеленого змия!

— Плохо, Кузмичов, — у змеев нет когтей, — у них ядовитые зубы, — бросила мимоходом Нинель, — когда он трезв, — он, пожалуй, поэт, недурно говорит даже экспромтами и воображает, что этим может всех победить.

— А что, не смогу? — не отводя от нее глаз и с особой выразительностью спросил Кузмичов.

Нинель сурово выдержала его взгляд и убийственно холодно, в разрядку, ответила: — Никогда.

— Ой, — трагикомически схватился за сердце Кузмичов и сел в уголке на пол: — «Я страдала, страданула — с моста в речку сиганула»...

— Ну, не ломайся, — закричали на него, — не ломайся! Трахни-ка лучше экспромт. Можешь?

— Тому! — приказал Кузмичов.

Жгучий брюнет пошарил глазами по комнате и наткнулся на портрет Максима Горького: — А ну, валяй, — тема — «Горький».

— Горький? — Кузмичов зажмурил глаза и помахал слегка рукой, проверяя ритм. — Есть:

Не Горький ты теперь, а Сладкий,
Мой тезка знатный — Алексей...
Чем слаже ты, скажу украдкой,
Тем песнь моя звучит горчей...

— Во-первых, не горчей, а горше, а во-вторых, как это понимать? — спросила насторожившись Нинель.

— Нужны комментарии, — покачал головой рыжий с лихим коком.

— Да ну? Комментарии? — Кузмичов ухмыльнулся. — Не знаю, что же вам неясно? Неужто крамолой пахнет? Не-е-т, голубчики, подтекст иной: он — Алексей, я — Алексей, он — славен, а я? Вот, я и завидую и... огорчаюсь. Ясно?

— Ой, Кузмичов, изворачиваешься. Почему, по-твоему, Горький — теперь сладкий?

Кузмичов обвел всех насмешливыми глазами: — И этого не поняли? А еще вузовцы! Прежде-то жизнь была горькая, и он огорчался, теперь — жизнь... ну, какая? Сладкая! А ну, кто из присутствующих против? (Кузмичов встретился взглядом с сердитой Нинель и озорно подмигнул ей). Возражений нет и быть не может. Значит, — жизнь сладкая, Горький ее сладко воспеваает во славу мирового пролетариата; кто же он? Сладкий, чорт возьми!

— Кузмичов, зарываешься, — без улыбки погрозила ему пальцем Нинель.

Ира, простушка с бодливым лбом и коровьими глазами, горячо выкрикнула:

— Ну, тоже дали ему тему! Пусть вот скажет что-нибудь оригинальное о любви!

Все оглушительно расхохотались: — Вот, Ира, да! С утра до вечера ей бы только о любви!

— А что, разве нельзя? Самое интересное! — удивленно обиделась Ира.

— О любви? — переспросил Кузмичов (Нинель пожалала плечами). — Ну, вот:

Смешно и грустно: я влюблен.
Смеешься ты, жалеют люди.
А сердцу снится томный сон:
Хрустальный клавесинный звон
Извечно-сладостных прелюдий...
Смешно и грустно: я влюблен.

Кузмичов сказал последние слова почти шопотом с закрытыми глазами. Через секунду стряхнул с себя грезу. Ира одиноко захлопала в ладоши. Кузмичов протянул руку к Нинель: — Надо быть честным — это не экспромт. Дай-ка альбом, я запишу тебе на память в день рождения.

Нинель в ответ: — Если бы и был старорежимный альбом, жалко было бы чистую страницу.

Леонтий Андреевич тихонько встал и ушел к себе в комнату.

Всем стало неловко. Стали расходиться по домам.

— Ну, что ж, — размышлял доктор, — в сущности говоря, молодежь, как молодежь: шумная, смешливая, задирательная, свежая... Новая порода? Кто ее разберет.

Помогая дочке мыть после вечеринки посуду в кухне, он спросил между прочим о Кузмичове, что он за субъект.

Нинель нахмурилась: — Алешка? Парень, в сущности, с дарованием. Сирота. И вот, поди ж ты, чисто пролетарского происхождения, а... очень склонен к бытовому разложению. И всё наперекор. Но мы за него уже взялись.

Леонтий Андреевич поинтересовался, что это значит.

— Проработали и еще раз проработаем его на бюро. Обещал больше не бузить. Мне лично обещал. Мне дерзить не смеет. А в общем — досадная возня с ним. Ничего не поделаешь, он у меня на моральном буксире, а то давно выгнала бы к чорту.

3

После смерти Раи Леонтию Андреевичу пришлось взять еще дополнительно работу. Денег хронически не хватало. Поэтому в интервалах между беготней по больным и приемом в поликлинике он забегал еще в медицинский техникум и читал там две или три лекции по инфекционным болезням.

Вместо обеда — жевал по дороге и в перерывах между лекциями бутерброды, яблоки или в счастливые дни пирожки, купленные по пути в магазине «Гастроном» Нарпита. Нинель подрабатывала время от времени в Интуристе и на эти деньги покупала себе скромное белье, юбки, блузки и туфли, чаще всего — по случаю, «с рук».

Открыть частную практику у себя на дому Леонтий Андреевич не рисковал: во-первых, где? Для приема нужна была хотя бы еще одна комната — дело трудное, а то и безнадежное. Во-вторых, при частной практике — большой налог, возня с фининспекцией, доход был весьма проблемати-

чен: денежные больные обычно шли к профессорам Медицинского института. Поликлиника же давала хоть только около 500 рублей, но зато это казалось регулярным и прочным заработком.

Поздно вечером совсем разбитый плелся он домой, мечтая о кровати, но не засыпал сразу, а прочитывал газету и кое-какие новинки по специальности. Бывало и так, что среди ночи или рано утром просыпался и обнаруживал, что незаметно для себя заснул, — лампа горела, газеты или книжка — на одеяле, — а то и на полу. С Нинель, тоже возвращавшейся поздно, перекидывался двумя-тремя словами, и то по домашним делам.

В один из осенних вечеров с затяжным дождем, скучно булькавшим по лужам, вернулся он промокший и озябший, — зонтик испортился, а плащи-дождевики давным-давно не прибывали в Универмаг, — где пациент-продавец обещал «забронировать при первой возможности».

К большому удивлению он увидел, что Нинель его нетерпеливо поджидает, чего за ней не водилось. Не дождавшись, когда он снимет пальто, протянула ему почтовую повестку: — Тебя вызывают — получить заграничное письмо. Надо придти лично и с паспортом.

Оба вертели бумажку, стараясь найти указание, из какой страны пришло письмо и имя отправителя. Но в тех графах, где эти сведения должны быть отмечены, стояли черточки и какие-то закорючки.

Леонтий Андреевич задумался. По крайней мере лет десять у него не было писем из-за границы. В последний раз они с Раей получили несколько слов со свадебной фотографической карточкой от Якова из Америки. Они тогда колебались — отвечать или нет — и пришли к выводу, что отвечать нет необходимости.

Немалую роль в этом решении сыграла и сама фотография: у невесты был вызывающий вид кокетки, а у жениха ошеломительный смокинг, лакированные туфли, кольца на ру-

как и глупо-возбужденное лицо. Рая тогда даже передернула плечами: — Неприятная пара.

Леонтий Андреевич еще раз покрутив повестку, полувопросительно сказал: — Может быть, опять от Якова?

— Ах, американский дядюшка, — насмешливо прищурилась Нинель, — пожалуй, было бы лучше, если бы он тебя совсем забыл. Он что, — фабрикант, что ли? И не дождавшись ответа отца, добавила: — Любопытно, — я сегодня тоже получила повестку из Интуриста, — завтра надо встретить и устроить немецкого гостя. Он откомандирован из Москвы секцией Коминтерна в наш Институт в качестве лектора. Но тут уже другая история, — говорят, он бежал от Гитлера и будто-бы партийный товарищ.

На следующее утро Леонтий Андреевич вышел из дому на целый час раньше и пришел на главный почтамт ко времени открытия. Почтовый служащий взял повестку, порылся в ящичке и, не вынимая оттуда письма, но глядя на него, осведомился: — Откуда ждете корреспонденцию, гражданин?

Лысич пожал плечами: — Не знаю, давно не переписываюсь с заграницей.

— А из какой страны возможно письмо?

— Прежде бывали письма из Америки.

— Фамилия корреспондента?

— Если из Америки, то Лысич, мой двоюродный брат.

Почтовый служащий выбросил письмо в окошечко: — Здесь фамилия отправителя указана — Лис. Ваш паспорт, гражданин.

Леонтий Андреевич расписался и взял письмо. Сначала думал тут же, на почте, вскрыть его, но воздержался, решил, что неудобно. Через два квартала был сквер. Пришлось сесть на влажную еще от ночного дождя скамейку. Осмотрелся вокруг, — никого.

Письмо пришло из далекого путешествия мятым и измазанным. Одна из больших марок была надорвана, словно

кто-то пробовал ее снять, но только испортил. Да и конверт был полузаклеен.

Недлинное было письмо. Видно — автору его непросто было писать по-русски, даже некоторые буквы вышли, как латинские. Почерк разбросанный, неровный, скачущий вверх и вниз:

«Дорогие Леонтий и Рая!

Я должен пeсать мои извенений, потому что много время не пeсал вам для объяснения таких причин. Моя жизнь пошла не по хорошей дороге, а вы имеете лучше, такая моя надежда. Нелзя написать всю историю. Скажу вам, что Я один. Имя змѣи даже противно говорить. Тепер спрашиваю, а вы оба пешите, что вы подумаете, когда б Я return (зачеркнуто) возвратился в мой родный край. Я имѣл разговор с очень nice человеком (он чиновник consulate) и он сказал можно. Я имѣю машины to set out in business будет мастерская для мужеской одежи. Он тоже говорит, что можно. Пешите мнѣ скорѣй ваши мысли и какая ваша жизнь. Он сказал, что Россія имѣет много prosperity. А здѣсь — все похужѣло. Я теперь бѣдный. I close with much love. Для вашей baby kisses. Your loving cousin Jack Lys».

Адрес был указан Нью-Йоркский.

Леонтий Андреевич еще раз перечитал и только покачал головой.

В это же время Нинель стояла на платформе вокзала. На руке у нее была повязка Интуриста. Поезд пришел с опозданием на полтора часа.

Нинель устроилась на перроне у двери, где у приехавших отбирали билеты. Народу прикатило много. Валили густой толпой, с чемоданами, тюками, — все «нашенские», и в ушанках, и в картузах, и в платочках.

Прошло несколько мужчин в шляпах, с хорошими чемоданами, но шли они, как у себя дома, не обращая внимания на интуристский значок Нинель.

Сбоку кто-то потянул ее за рукав. Оглянулась и увидела молодого человека в легком пальто и без шляпы, — в руках только объемистый портфель.

— Я думаю — вы для меня? — Сказал он и приветливо представился: — Зенф.

Нинель по-мужски ответила рукопожатием и поинтересовалась: — А где же шляпа?

— Без. Я всегда — без.

Нинель спохватилась: — Но вы говорите по-русски! Этого я не ожидала.

— Год довольно, а я жил десять месяцев в Москве.

Он внимательно смотрел на Нинель, добродушно улыбался и ждал, куда она его поведет.

— Ну, что же мы здесь застряли, пойдем, нас ждет автобус... Да, но где же ваши вещи? Или вы только с портфелем?

— О нет. Я имею чемодан. Это в багаж. Вот квитунг.

Нинель на ходу взяла у него листок: — Ага, идем, сейчас раздобудем. Пока она хлопотала перед багажным окошечком, Зенф стоял рядом и что-то записывал в маленький блокнот. Нинель осведомилась, что он пишет.

— Два слова: «застряли» и «раздобудем». Очень оригинально. Я все время пишу новый идиом.

Чемодан был получен (явно московского образца), и Нинель повела Зенфа к автобусу.

Кроме них, никаких пассажиров не было.

— Как долго мы ждем? — спросил Зенф, когда они разместились там.

— Зачем ждать? Вы только один приехали.

— О! Я — один и — такой автобус? Хорошо один легкий ауто.

— Для иностранных гостей высылается автобус. Такой порядок.

Через каких-нибудь пятнадцать минут они уже были в гостинице, где для Зенфа был отведен большой номер. Нинель, рассказав Зенфу, что столоваться он может в ресторане

при отеле, собралась было уже уходить, но Зенф попросил проводить его в Институт. Он хочет с завтрашнего дня сразу приступить к занятиям.

— Zu Fuss? — спросила Нинель.

— Freilich! — весело воскликнул Зенф: — Ich möchte alles sehen!

Выходя из номера, он как-бы невзначай провел пальцем по лакированному столу и нарисовал зигзаг: — Много пил?

— Да, пыль, — с некоторой досадой отозвалась Нинель и посоветовала встретившейся горничной лучше убрать комнату.

По дороге в Институт они оживленно говорили по-немецки. Зенф был доверчиво словоохотлив, всем интересовался, заходил в магазины купить папиросы, нашел только в третьем, искал чистильщиков сапог, но оказалось, что для этого нужно было бы идти далеко на главную улицу, рассказывал, что терпеть не может отелей и хочет поскорее нанять комнату в какой-нибудь семье, но обязательно с ванной и чтобы был Klavier.

Нинель стала уставать и в душе была рада, когда, наконец, доставила Зенфа в кабинет директора, а сама пошла на лекции.

На прощание Зенф смешно тряс в разные стороны ее руку, благодарил и записал ее адрес, попросив разрешения сделать визит.

4

Вечером, когда Леонтий Андреевич вернулся домой, Нинель прочитала письмо дяди из Америки. На иронический вопрос отца, как ей это нравится, она искренно ответила: — Ну, что ж, пускай едет.

Леонтий Андреевич изумился: — Нина, да ты понимаешь, что это значит? Человек больше четверти века живет в другом мире, разучился писать, а, может быть, и говорить по-русски, человек, чувствующий и думающий совсем иначе, чем мы, с особыми привычками — сюда?

— Однако, в консульстве нашем посоветовали ему возвратиться. Значит — он подходящий. Кроме того, он пишет, что он бедный.

— Насчет того, как в консульстве рассудили, — не знаю. Их критерии и соображения неизвестны. А то, что он бедный, — для меня под сомнением. Это выражение неясно, да и многое другое неясно. И почему многое невятно сказано — от неумения или по каким-то другим соображениям? Бедный? Что это — в материальном смысле, т. е. — разорился, или — в моральном? Чувствуется, что Яков потерпел крушение и, повидимому, семейное. «Имя змеи даже противно говорить», — ну, вот это понятно — жена изменила, обманула, обидела или... обворовала. Очевидно — разошлись. А вот наличие каких-то машин, годных для оборудования целой мастерской, это, кажется, не бедность, по нашей во всяком случае мерке. Кто у нас после НЭП'а имеет свои машины для мастерской? Бедный то он — действительно бедный, но потому, что абсолютно ничего не понимает, куда он хочет ехать и в качестве кого.

Нинель задумчиво следила, как отец дрожавшей от волнения рукой зажигал папиросу, как затянулся и как слова его вылетали с дымком.

— Письмо неясно, это правда, — спокойно сказала она, — но в нем одно несомненно: человека тянет на родину, он чувствует, что здесь жизнь справедлива, что здесь он хочет работать, хочет уйти от змей.

— У него сказано — от змей.

— А я говорю — от змей. Здесь у него может быть символ. Может быть, сам того достаточно не понимая, он верно нашел образ — змеиное гнездо капитализма. Где же ему спастись, если он это понял? И можно ли отказать честному, трудолюбивому человеку в праве приехать в страну трудящихся? Если он не шпион, не вредитель (а консульство в этом разберется), то надо быть злым, чтобы не помочь ему. Ты что же, думаешь написать ему, чтобы он не приезжал?

Неужели ты можешь это написать? И какие мотивы ты приведишь?

В голосе Нинель была недобрая сухость. Леонтий Андреевич видел и недобрый блеск ее глаз.

— Слушай, Нина, не пора ли спуститься с теоретических высот к житейской практике. Ну, хорошо..., вот, он придет со своими машинами, скажем — в наш город. Приехал. Конечно, — объятия, поцелуи, рассказы о печальных событиях, о змее; может быть, — слезы умиления при виде родных осин и берез, а через три дня или через неделю — что он будет делать? Свою мастерскую открыть — это (если только получит разрешение) задохнуться от налогов, — не будет же он работать один на всех машинах, ему понадобится наемный труд, а ты знаешь, что это значит. Поступить в какую-нибудь артель, отдав туда проклятые машины? Да захотят ли взять в артель его, приехавшего из-за границы? Не побоятся ли такого компаньона, за которым неусыпно будут следить власти? Толкнуться на фабрику и заполнять миллион анкет: — когда, почему и как долго жил за границей? А если и на фабрике, то в качестве кого и сколько он будет зарабатывать, он, избалованный условиями жизни в Америке, где он был хоть и маленьким, допустим, но всё-таки хозяином? К чему всё это приведет? К еще большему несчастью человека, которому около пятидесяти лет. Поэтому содействовать его приезду сюда может только злой или легковверный человек...

— Ты хочешь ударить меня моим же словом, — оборвала его Нина, — но из всего, что ты наговорил, заметно одно: ты до сих пор не хочешь или не можешь видеть *как* и *чем* живет наша страна. То, что ты выдвигаешь, как аргументы, — только мелочи, действительно — иногда досадные, но, во-первых, преходящие, а, во-вторых, преодолимые. Если человек искренно участвует в великой стройке нового общества, он тогда захвачен пафосом труда, без горя преодолевает и помогает устранить рогатки на дороге... А вот люди, как ты, с родимыми пятнами прежней психологии, видят деревья, а леса

не замечают! Чтобы в нашей свободной стране не нашлось места каждому, кто хочет принести пользу? Можно ли этому поверить? В любой газете, в любом журнале только и речь о том, как нужны деловые люди, специалисты. Ты забыл, кто сказал: «кадры решают всё»? Если спец на месте, если он ударно участвует в общей стройке, — его имя на красной доске, он герой нашего социалистического труда! Вот об этом надо написать дяде, это надо объяснить, а не пугать его.

Леонтий Андреевич болезненно почувствовал укол: — «родимые пятна»:

— Может быть, действительно, я смотрю «старо-режимными глазами», но «родимые пятна» далеко не всегда со знаком минус. Я уверен, что отчетливо понимаю то, что называется свободой. Погоди, не кипятись, а дослушай мою мысль, предоставь мне *свободу* высказаться до конца. Свобода, Нина, предполагает минимум принуждения, окрика, остротки. А ты вот уже собиралась оборвать меня, может быть — прикрикнуть, потому что моя мысль противна твоему убеждению или вернее, тому, что тебе внушено, как непогрешимое. Разве не лучше было бы дать возможность свободной критики? Неужели страхом, террором надо подавлять иные мнения?

— Да, надо. — Нинель сказала это твердо и холодно. — Надо, и вот почему: свобода нужна во время поисков, но когда истина найдена, то эту истину надо охранять от искажений и посягательств. Революция завоевала истину, на этой истине строится величайшее здание новой справедливой жизни. Оно строится, но еще не выстроено до конца. И когда во время стройки путаются под ногами трусы, подлецы, реакционеры, вредители — всё равно — сознательные или нет — этих людей надо устранять. Они — враги нового. Да, сначала им, заблуждающимся, надо открыть глаза, ткнуть носом в их заблуждения, если же это не помогает, то их надо убрать с дороги. Неужели не согласен?

Леонтий Андреевич подошел вплотную к дочери, дрожащей ладонью накрыл руку ее, заглянул в ее глаза, вздохнул

и почти шопотом ответил: — Нет, Нина, не согласен. Если бы речь шла о десятках, о сотнях, о тысяче «реакционеров», а то ведь сотни тысяч, миллионы! Миллионы! И кто? Крестьяне, рабочие, мелкая интеллигенция. Миллионы — это уже сам народ. И если протестуют, — значит, что-то неладно в наших порядках. Ты ведь знаешь, за что происходят репрессии: за неосторожное словцо, словцо, Нина! По доносу, за отказ идти в колхоз, за подозрение (только подозрение!) антикоммунистических настроений. Это не только не свобода, это кнут. Ты называешь истиной заблуждение. Для меня страшнее всего, что ты в плену этой «истины» и с очерстевшим (в твои годы!) сердцем. Может быть, судьба смилостивилась над мамой, — она не дожидая до такого разговора...

Нинель заметила, что Леонтий Андреевич задыхается. Она освободила свою руку. Постаралась придать голосу побольше мягкости:

— Ну, неужели ты думаешь, что я не вижу трагедий? Они есть, и трагедии и ошибки. Но, ты понимаешь, эти мелкие проявления анти-советских настроений и поступков превратятся в крупные, в контрреволюцию, если их не преследовать, они зерна контрреволюции. А в нашу же советскую истину я не только верю, а убеждена, что это единственный путь для переделки мира. Чем скорее прекратится сопротивление, тем скорее наступит свобода, как ты ее понимаешь.

Леонтий Андреевич поник головой. Молчал.

Нинель искала слов, чтобы разрушить тягостную паузу.

— Папа... разговор этот, возможный только между нами... понимаешь?.. не должен повториться... Папа, понимаешь?.. И вернемся к письму. Что же ты думаешь делать?

Леонтий Андреевич пожал плечами: — Не знаю... подумаю... — И вдруг, тяжело всхлипнув, порывисто бросился к Нинель, обхватил ее, прикинул головой к плечу: — Ах, да что же это с нами, Нина?..

5

В поликлинике подвернулся на следующий день Горошин. Кубарем скатывался толстенький, со щеками и ртом улыбающегося младенца, юркая карими глазками и посапывая. Леонтий Андреевич и он еще со студенчества на «ты», но называют друг друга по имени-отчеству. Горошин испокон веку практик в жизни, высокими материями не интересовался, выбрал венерологию, потому что это «хлебная профессия», и действительно — по мере обстоятельств — преуспел. Была у него и квартира первый сорт (лечились олимпийцы), и жена, постигшая тайны высшей кулинарии, и частная практика, а сам он имел две страстишки, по его собственному признанию: рюмочка и сонечка. Вторая совсем не предосудительная: склонность и умение вздремнуть, всхрапнуть при первой возможности и где угодно. Делал он это артистически — прикурнет в кресле или на кушетке — готово: слышится только мирный и сладкий присвист, и лицо у него тогда становилось присноблаженное.

И странно, при такой тяге к «дольче фар ниенте» — умел в часы бодрствования быстро и ловко работать с тысячью смешных приговорок, проворно ходил, вернее — бегал катышком, с большим интересом слушал всяческие сплетни, но сам никогда не сплетничал. У него был, при очень темпераментной жестикуляции коротенькими ручками, двойной способ выразить свое отношение к житейским фактам: если что-нибудь не нравилось ему, — с силой выдувал воздух и говорил короткое «фу!», если же одобрял, то производил звук воздушного поцелуя.

Долго зная его, Леонтий Андреевич убедился, что Горошин себе на уме, но отзывчив и добр. Без всякой просьбы со стороны старого товарища, он навязывал ему займы деньги и удивительно во-время. Искренно радовался удачам приятеля и помогал ему советами. Не спросить ли у него насчет американского письма?

— Фу! — столкнулся Горошин с Лысичем. — Фу, что за

лицо, что за глаза? Что детинушка невесел, что головушку повесил, а?

Леонтий Андреевич в двух словах объяснил ему, — надо бы побеседовать наедине.

— На ловца и зверь бежит (звук воздушного поцелуя). Ах, зашел бы ты сегодня... ммм... после девяти... есть, брат, кавказское «Цинандали»... Неизвестно, почему лет пятьдесят провалялось где-то в подземелье... Можешь? Отлично!

Из-за экстренных визитов явился к Горошину с опозданием и был встречен градом «фу».

В кабинете на круглом столике скатерть — верх ослепительности, бокальчики на тоненьких ножках, бутылки вин, граненый пузатый графин, хитро украшенные бутерброды, а мастерица кулинарных соблазнов в кино, и это предусмотрено.

Хозяин потирал ручки и слабо прихлопывал в ладошки. Только после третьего бокальчика хозяин разрешил рассказать подробно и об американском письме и о разговоре с дочерью. Хотел было Лысич прочесть и само письмо, да вспомнил, что оставил дома на столе.

Горошин вник во всю ситуацию, задумался, а потом всплеснул ручками:

— Вот, ведь, друг ты мой сердечный, — дожили: самое что ни есть семейное письмо, а гляди — какие проблемы возникают и интимные бури раздражаются, фу! Но ты мне «аб ово» о нем расскажи, об этом американце, что у него в чердаке всегда было неладно? Нет? Как же он с нашими полпредщиками снюхался? Они ему турысы на колесах распишут! Теперь прикинем так: если ты ему ответишь, то, милый, *что* и *как* ты можешь ответить? Объяснить начистоту — невозможно, только дурак голову на плаху кладет. Письма то у них все на учете, и твое не проскочит. Теперь, если ты, греша против истины, напишешь, что, мол, у нас и такое и этакое достижение и что, мол, у нас не житье, а масленица, так ведь еще пуще его распалишь: он шапку в охалку, на пароход и здрасте пожалуйста — немедля на шею тебе свалится со всеми для него и для

тебя последствиями. Следовательно, — лучше не писать: во-первых, похвально, что с заграницей и знаться не хочешь, а, во-вторых, твое молчание заставит его задуматься, где ваша семья, жива ли и почему молчит. Это, до известной степени, охладит и, вероятно, умерит его пыл. Что же касается твоей Нины, то... извини, дружок,.. я позволю себе по старой нашей дружбе... ты вполне уверен, что она... не того?..

— Что «не того»?

— Ну, я в смысле... ее сотрудничества в разных там... секретных органах... ведь она... ведь переводчики Интуриста, насколько мне известно, должны этого... ну, сам знаешь... нести особую службу, фу!.. Как она, очень активна в этом отношении?

Леонтий Андреевич тоскливо взглянул на Горошина и пробормотал: — Не знаю... неужели и она, в самом деле...

— Ну, — успокоительно протянул Горошин, — ну, это я, может быть, хватил через край, девочка хоть и фанатична, но не беспредельно. Ведь они, по-моему, все себе на уме. Ради карьеры. А у нее, кажись, есть эта черта: тянет ее на верхи, любит командные посты, недаром на днях ее кооптировали в бюро горкома КСМ, — в восемнадцать лет быть, хотя и по кооптации...

— Это для меня новость, — встрепенулся Леонтий Андреевич, — она мне ничего об этом не сказала, откуда ты знаешь?

— В газете было, в хронике... Я ведь к тому клоню, — не открывая ты душу перед Ниной, вряд ли договоритесь до мировой гармонии, а в раздражении она может где-нибудь в сферах брякнуть про твои точки зрения...

— Ну, это ты уже слишком, — с сердцем поднялся Леонтий Андреевич и прошелся по кабинету, — ведь я отец.

— Ну, и что же, наивный и легковверный отец?.. Если бы у меня были сыновья или дочери, то я не очень доверял бы... впрочем, тебе виднее, и извини за невольное вырвавшийся совет...

Оба долго молчали. Леонтий Андреевич внимательно рассматривал в полутьме давно ему известную картину: тихий мирный вечер на полях и милая девушка с полевыми цветами в руках, тургеневская... А Горошин углубился в созерцание этикетки на бутылке, поворачивая ее в разные стороны. Бутылка тронула край рюмки, рюмка ответила тонким прозрачным звоном и разбудила раздумье гостя.

— Так, значит, не писать? — подошел он и протянул руку на прощанье.

— Не писать, — со вздохом подтвердил тот. — Ты что же, уходишь уже? А кто же прикончит батарею? Ну, пошок на дорожку. Ведь что нам, старикам, теперь осталось?

Закрывая за гостем дверь, Горошин быстро вполголоса сказал:

— Да, в случае чего... я о письме ведать не ведаю. Денег то не надо? Ну, заглядывай, милый (воздушный поцелуй).

Нинель была уже дома. Леонтий Андреевич, снимая пальто, спросил из другой комнаты: — Что ж ты мне ничего не сказала о том, что ты кооптирована? Поздравлять или соболезновать?

Нинель вышла из своей комнаты: — Можешь сделать и то и другое, как тебе хочется.

— А я, знаешь, решил, что письмо мы оставим без ответа.

Нинель остро глянула на него: — Ах, вот как ты решил? Вышел разной: я уже написала дяде письмо и отправила. Я продумала всё, как следует, утром.

— Нина! Ведь это же наше общее дело! — выкрикнул Леонтий Андреевич, — что же ты написала?!

— Тсс... подробности потом, — у меня сейчас гость.

В дверях показался скромно, но добротнo одетый человек с ловко завязанным галстуком, великолепно выбритый. Живые, веселые глаза.

Он ловко поклонился одной головой, и мягкая длинная

прядь мотнулась над лбом: — Я радуюсь с вами знакомиться, — Зенф.

Рукопожатие его было мускулисто и решительно.

После ухода гостя, Нинель весело объяснила, как утром ей пришла в голову мысль — самой ответить американскому дяде. Больше того, она почувствовала даже свой долг. А написала только несколько строк, — приезжай, мол, — у нас труженику живется интересно.

— А о смерти мамы написала?

— Нет...

Леонтий Андреевич помолчал и молвил будто для себя: — Ну, ничего не поделаешь. Будем дальше расхлебывать кашу.

Теперь ясно — ему тоже надо написать Якову. Но как? Встретятся два письма, как взаимное дополнение или противоречие? Как будут поняты? Не полезет ли Яков с этими письмами в консульство, чтобы посоветоваться? Или он, быть может, не так прост и наивен?

С Горошиным снова разговаривать не стоит. Пусть всё поуляжется, утрясется в душе, — так иной раз бывает лучше, — подальше от бури, — голова вернее решает.

Но это нерожденное письмо не давало покоя, оно лезло в иные думы с утра до вечера. Как-то ночью, проснувшись, включил свет, босиком сбегал к столу за бумагой и карандашом и начал прикидывать. Каждый вариант казался ему нескладным, невнятным, допускающим кривотолки. Ведь не для одного Якова это письмо, оно и для других возможных глаз. Так ничего и не вышло.

И только дня через три махнул рукой, присел и быстро написал:

Дорогой Яков,

огорчен неудачами твоей личной жизни и желаю тебе преодолеть их. Мы с Ниной, которая тебе первая ответила, осиротели: Рая умерла два года тому назад. Нина еще юна и толь-

ко набирается житейского опыта, учится, я много и охотно работаю. В нашем возрасте я не переехал бы в другую страну. Трудно менять привычки и профессию. Проверь свои силы и здоровье. В детстве ты болел в наших болотистых краях. С медицинской точки зрения тебе полезнее теплый морской климат. Не советую спешить с решением, может быть — вернешься к жене и ребенку. Обнимаю тебя, твой Леонтий.

Еще день письмо лежало в портфеле назапечатанным, а затем пошло в Нью Йорк.

6

Зенф с удивительной энергией и быстротой вошел в жизнь Института. Общительный, он перезнакомился со всеми преподавателями, знал по фамилии многих студентов, обстоятельно изучил институтскую и публичную библиотеки, был безукоризненно аккуратен в занятиях и получил изрядную нагрузку: читал на трех курсах историю немецкой литературы от древности до наших дней и вел практические занятия для выпускников по немецкому языку, вырабатывая у них шикарное, как они говорили, произношение и сыпля идиомы, будто из рога изобилия. Особенно интересны были его вечерние консультации. Они не были обязательными, а на них являлись все, да еще студенты и с других отделений. Можно было спрашивать о чем угодно. Зенф не всегда сразу отвечал на вопросы, но зато в дальнейшем всегда помогал навести справки. Тон собеседований был дружеский. Заходила речь иногда и о революционном движении в Германии: увлекательна была подпольная романтика.

У Зенфа хватало времени и добросовестно готовиться к занятиям и устраивать себе интересный отдых: любил далекие прогулки за город, бывал в кино, театре и довольно часто забегал «на огонек» к Нинель. Ей сначала было досадно, что иностранец отрывает ее от книг и от общественных нагрузок, но когда он как-то раз больше недели не появлялся, погрузившись в срочное изготовление большой статьи для московской

немецкой газеты «DZZ», она с некоторым удивлением для самой себя ощутила некую неполноту своего существования, не хватало хотя бы... запаха его одеколона и дымка от папиросы. Ей стало смешно, когда она подумала об этом; конечно — запах только символизировал его самого, всего — с легкой прядью волос, с сочными карими глазами, в которых она рассмотрела золотисто-зеленые искорки, с безукоризненными руками, с неисчерпаемыми вопросами и словоохотливостью — о чем угодно, начиная от астрономии через историю, политику и вплоть до искусства, любого — даже искусства кулинарии. Жадный он до знания человек!.. И была у него еще одна способность: он всё умел поворачивать как-то по-своему; — мысль известная, а у него она, глядишь, повернулась вдруг особой непривычной гранью, и выводы иной раз бывали необычные. И у Нинель появлялось чувство, что он, да и она с ним вместе, в этих разговорах ходят по краю пропасти и вот-вот сорвутся, полетят вниз и вдребезги разобьются.

Можно ли с такой смелостью, даже дерзостью подходить к абсолютным основам материалистического понимания мира и к политическим фактам? Ведь он партиец!

Когда, наконец, с большим трудом удалось ему подыскать комнату с пианино — в порядке самоуплотнения, но по порядку Коммуналдела — у овдовевшей акушерки, единственной, кто согласился принять иностранца, он чуть ли не с женской тщательностью создал и поддерживал уют. На книжных полках мирно соседствовали Гёте с Бехером, Ницше с Бределем, а на маленьком письменном столе стояли портреты отца, маленькой девочки с хохолком и плачущими губами, Ленина и Тельмана.

Нинель несколько вечеров провела у Зенфа, сидя с ногами на кушетке, покрытой ковром и с десятком акушеркиных аляповатых подушек. Зенф угощал кофе с ликером, кухенем, который сам испек в духовке, и играл на пианино Моцарта, Шумана и «Времена года» Чайковского. Было удивительно, как его широкие, с крепкими блестящими ногтями пальцы

осторожно и ловко трогали клавиши, и рождались мечтательные звуки, беглые гаммы и нежные трели.

Она старалась, смотря на его профиль, представить себе, как он жил у себя, в Германии, как учился, как стал коммунистом. Ему было 34 года. Был женат, но, видимо, неудачно, может быть, даже развелся. Девочка на портрете — его дочка, и он ее не может и не хочет забыть, как не хочет и не может забыть свою Германию. Он с сожалением говорил, что Гитлер помешал ему сдать докторский экзамен в Тюбингенском Университете. Можно было догадаться, что он задумал теперь какую-то диссертацию, которую готов защитить в Москве или в Ленинграде. Все эти сведения собрались понемножку, от встречи к встрече.

В Институте, по указанию из центра, ему дали профессорскую ставку, и он, при аккуратности и расчетливости, всегда был в хорошем костюме, опрятном белье, за чем очень следил, сам часто утюжил брюки, штопал носки и по вечерам готовил себе жареную картошку с колбасой, делал «гемюзезуппе». Укрепив за окном широкую доску, выставлял кастрюльки наружу за неимением шкафа-ледника... Занятный человек. А, главное, — упругий, с упрямыми и стойкими привычками, необычными у нас. Упругость была и физическая. Она сказывалась, в особенности, на прогулках. Точно танцуя, как каучук отталкиваясь подошвами от земли, маршировал он бодро по городу. Руки, ноги, корпус тела, — всё было собранно, гармонично и... весело. Да, Нинель с ним было бодро и весело. Весело и интересно.

Она показала ему довольно далеко от города начинающийся лес — ельник да осинник — на песчаном грунте. Осенью выдались пасмурные, но сухие дни, с легким, прелью отдававшим ветерком. Попались на глаза доживающие свой век опенки, уже с коричневыми зонтиками, и он, как мальчик, радовался и кричал: «Hallo, Hallimasch, Hallo!» Ловко лазил на дерево, прыгал через ров, рассматривал муравьиную кучу, объяснив при этом, как хитро она устроена. Нинель не пове-

рила и хотела было палкой расковырять гнездо, но он удержал ее горячей и сильной рукой: — Зачем? Не следует зря нарушать мир природы, они тоже живут и имеют право на жизнь.

Нинель удивилась: — Что это — сентиментальность?

— О, нет... Нет... keine Sentimentalität. Это уважение к жизни и ее тайнам.

Нинель рассмеялась: — Вот как! Звучит мистично, Genosse Senf. К лицу ли вам?

Зенф усмехнулся: — Я, знаете... не очень верю, что человек всё знает и всё может узнать. О, да, конечно, наука велика, и человек может и должен устроить при помощи науки справедливую жизнь, он может и должен заставить природу служить ему, но *создать* природу он, я думаю, никогда не сможет.

— Почему?

— Потому, что он не над природой, а сам в природе, часть природы. Я, знаете ли, много об этом думал, когда учился биологии, nicht wahr? Я удивился, когда в Москве заметил, что ваши биологи нехорошо знают новости, а, может быть, знают, но им нельзя говорить о новостях науки в других странах. Новости серьезные. Много надо пересмотреть в старых традициях. Я заметил, что только некоторые специалисты знают здесь новые учения о клетке, студенты неясно представляют себе теорию Эйнштейна. Надо знать о странном превращении материи в энергию, вы только подумайте! А энергия... гм... как бы вам сказать... это... это что-то не материальное, во всяком случае, не имеет привычных свойств материи...

Нинель нахмурилась: — Это что же, «дух» что ли?

— Нет. Не дух. Но это что-то... etwas anders... Во всяком случае — это тайна.

— Пока тайна, — с силой подчеркнула Нинель.

— Может быть, — пока, — согласился Зенф и добавил: — но не всё это так просто, как казалось старику Энгельсу с его диалектикой.

— Слушайте, Зенф, — тревожно спросила Нинель, — знаете что? а ведь это дорожка к боженьке, как говорил Ленин, путь к религии.

Теперь уже Зенф нахмурился: — Да, в конце концов, вы правы... Но к какой религии? Совсем не к пастырской, не к ортодоксально-богословской... Я, вообще, не люблю ортодоксии... Богословие — да, — стареет, как диамат.

— Зенф, что за сравнения?!

— *Warten Sie mal*, во-первых, религиозное чувство — это что-то особенное и, если нам оно кажется иллюзией, то ведь миллионы людей жили и живут, сейчас живут и долго будут жить (может быть, — всегда?) этим чувством. От него они становятся хуже или лучше, как вы думаете?

Нинель была раздосадована: умный человек, а понес такие глупости:

— Я об этом и думать не хочу!

— *Es ist schade, sehr schade*. Об этом надо думать. Думать надо без боязни, свободно. Вы, как страус, прячете голову под крыло, чтобы не видеть того, с чем надо считаться. Но оттого, что вы не видите, оно не исчезает, оно всё-таки существует. Мне вот кажется, что от религиозного чувства человек не становится хуже.

— Ну, что вы, Зенф! Вы плохо политически подкованы. Религиозное чувство делает людей безвольными, покорными, размагниченными, неспособными к борьбе. Они от этого же чувства совершают злодеяния, даже убийства!

— Гм. Это бывало, действительно, — согласился Зенф... — Но политический фанатизм тоже ведет к убийствам и он, в таком случае, похож на религию, *nicht wahr?*

Нинель резко поднялась с ленька и почти приказала: — Ну, довольно нелепых сравнений. Вы меня просто дразните. Ведь не могу же я верить, что вы перед бегством в Москву помолились Богу на дорогу в какой-нибудь кирхе!

Зенф вскочил тоже, дружески схватил ее за руки (какне у него ласковые и крепкие, ух!) и заглядывал в глаза: — О,

Genossin Нинель, я никогда не видал вас so... so böse. А почему? Разве нельзя между друзьями серьезно поговорить и даже поделиться сомнениями? Нельзя поспорить? Ведь иначе было бы скучно жить! Надо спорить, надо искать истину...

— Она уже найдена. Ее надо только разрабатывать.

— И ни шагу вперед или вбок? Вот в это я не верю. Мы, немецкие коммунисты, жестоко между собой спорили и в то же время шли к одной цели. У нас в Германии...

— А вы, видно, милый товарищ, скучаете по своей Германии. Если бы там случилась советская революция, вы стрелой бросились бы туда... делать по-своему коммунизм и...

Зенф захохотал, взъерошил волосы и гаркнул: — одну секунду!

Нинель невольно тоже рассмеялась.

— Угадала, угадала. Да я вас насквозь вижу!

Зенф смотрел на нее с лукавой улыбкой, наклонив набок голову, смотрел на ее всегда одну и ту же серенькую шапочку, на превосходный рисунок губ, на всю серенькую фигурку. Взять бы этот милый клубочек и спрятать к себе за пазуху, но глаза — недотроги, хоть и смеются, но не подпускают близко.

— О, я не думаю, чтобы вы видели насквозь... и всё угадали. Да, я здесь скучаю по родине..., а там я теперь тоже скучал бы...

Они долго смотрели друг на друга молча. Нинель не выдержала, медленно отвела взгляд, прошла несколько шагов вперед, нагнулась и сорвала перо папоротника: — У вас тоже такие водятся? — спросила, не глядя в глаза.

— О, я их очень люблю. Вы тоже? У меня даже с собой была родная ветка папоротника, но ее у меня отобрали в КПП.

— Что это такое КПП? — спросила Нинель.

— Как? Переводчица Интуриста не знает КПП? Это — Контрольно-Пропускной Пункт на границе, где проверяют иностранца и его багаж перед въездом в СССР. Там окончательно решается вопрос, пустить туриста или нет в страну, —

ведь КПП имеет двустороннюю радио-связь с Москвой. Я тоже не миновал осмотра и допроса в КПП.

— Можно об этом узнать... мне?

Он услышал в ее голосе что-то новое, раньше не звучавшее. Была вот за минуту до того какая-то душевная граница между ним и ею, и как-то незаметно, вдруг перешагнули эту границу, и то, что мешало прежде, как будто уже не стоит между ними...

Он взял ее под руку. Зашуршали мертвые листья, захрустели сухие ветки под ногами. Они шли к лесной узкой речке, зеркальцем глянувшей меж деревьев.

Он рассказывал по-немецки:

— Было собрание в задней комнате захудалой пивнущки «Zum Rössle». Горячились в тот вечер немало. Обсуждали текст листовки, которую надо было разбросать на большой алюминиевой фабрике. Нам думалось, что есть смысл вызвать акты саботажа против начатого массового изготовления военных самолетов. Процессы на фабрике были так расчленены и засекречены, что рабочим и в голову не приходило, что они делают. Знали десятки, а тысячи — в дурнях. Между тем, как раз тысячи прислушивались к нам. Так вот, была у нас конспиративная явка. Кого-то из нас вызвали к телефону, и через пару минут мы уже знали, что полиция охотится за нами. Надо было расходиться и заметать следы.

Я пошел пешком в соседнюю деревушку. У нас ведь не так, как здесь, — у нас каждые 3-5 километров или село или городок. Там переночевал у знакомого крестьянина, постоянного поставщика чудесных яблок на зиму для нашей семьи. На утро по-телефону (от крестьянина? — недоуменно спросила Нинель), ну да — от крестьянина, ведь у нас телефон на каждом шагу, а у крестьянина фруктовая торговля... да, так по телефону выяснили, что ночью многих из наших арестовали. У меня дома был обыск. Старик-отец был перепуган до полусмерти. Я написал записку и попросил крестьянина отвезти ко мне на дом, потому что он был в числе наших друзей, даже

называл себя коммунистом... (— да ведь он кулак, — недоверчиво покачала головой Нинель, — у него и фруктовые сады и телефон!)... Нинель, у нас, в пику Гитлеру, очень зажиточные тянутся к коммунистам, а крестьянин... ну, какой же он богач... хотя да, здесь, пожалуй, такие в категории кулаков... Да, так он, значит, отвез записку в корзине с овощами и, вернувшись, сообщил, что отец на следующий день придет на автобусе повидаться со мной (у нас все деревушки связаны между собой автобусами). Свидание с отцом привело к тому, что я решил скрыться, так как сеть вокруг меня была раскинута широкая. Охотились за мной упрямо. Чтобы не подводить крестьянина, я в темноте перебрался в другую деревню, где был знакомый пресимпатичный пастор (— что ж, он тоже коммунист?! — засмеялась Нинель), нет, он не коммунист, но что я — коммунист он знал отлично, знал и моего отца. Словом, дня через четыре у меня уже был охотничий рюкзак, в нем самое необходимое, пара невинных книжек, семейные фотографии без моей физиономии, и я получил маршрут. Заучил я его наизусть и пустился в путь. Две-три остановки поездом, кое-где автобусом, частью пешком... Конечно, было рискованно. Добрался я таким образом до городка, где меня уже поджидали. Там выяснилось, что поеду дальше как «турист». Паспорт на другое имя и вместо рюкзака — франтовской чемоданчик. Куда же ехать? На выбор — два пути: или во Францию или в Россию. Я выбрал путь сюда.

В Польшу перебросили меня нелегально на частном авто, ночью. Через Польшу — уже как турист — довольно спокойно проехал до советской границы. Когда я, наконец, попал в КПП, — вежливо, но безапелляционно пересмотрели каждую вещичку, а затем повели меня в отдельную комнату, где был превосходный переводчик при военном в форме НКВД. Ловко допросили меня, улыбнулись и... назвали меня моим настоящим именем. Они всё знали и, очевидно, имели сведения из Коминтерна, через который всё было секретно проделано. И вот тут-то и произошел эпизод, который меня... больше, чем удивил.

Пока шел допрос, в комнату был доставлен мой чемодан с описью всех предметов. Сверху отдельно лежала ветка папоротника, уже вялого. Я его по дороге в лесу сорвал.

— А это что такое? — спросил военный.

— Папоротник... растение.

— Зачем оно?

— Так, воспоминание из родных лесов.

— Гм... Странное воспоминание. — Военный спрятал ветку за спину: — А сколько на ветке отдельных листиков — семнадцать или двадцать три?

— Не знаю.

— А сколько оторвано — два или пять?

— Тоже не знаю.

Они вдвоем прямо впились в мое лицо, следили за каждым движением глаз.

— Не помните или не знаете?

Вероятно, мое лицо выражало такое недоумение, что они, переглянувшись, прекратили допрос и предложили подписать лист с перечислением всех вещей. В списке было всё, кроме папоротника, он был оставлен в КПП.

Нинель с извинительной интонацией пробормотала: — Они, очевидно, боялись зашифрованного предмета... мера предосторожности.

Зенф сокрушенно покачал головой: — Это было первое, что меня встретило, меня, революционера. Так... как бы сказать... *fremdlich*. И знаете, — я почувствовал сразу, как стержень, как основную ноту моей новой жизни, почувствовал с горечью и печалью: *недоверие*. Недоверие каждого ко всем и всех к каждому... ммм... *ungemüthlich*. А я люблю людей и хочу прежде всего доверять им, вот так, как я доверяю вам. Но чтобы и мне доверяли...

Текла лесная речка в низких оранжево-серых берегах; медленно плыли золотыми и бурыми лодочками упавшие листья, лес был чуть подернут по земле дымком тумана, над головой, сквозь полуголые сучья, нависало осеннее серое небо, и тон-

кий запах осенней горьковатости тянул от пожухших кустов.

Зенф закурил папиросу и молча уставился вдаль, тихий и грустный, подстать засыпающему лесу.

Нинель искала оправдания для своей страны, отнявшей у него (ах, какой путанный... какой чудесный...) ветку папоротника (не в папоротнике дело...), но чувствовала, что не может для *него* найти убедительные доводы (какое слово — «доводы», холодное слово, но какое же для *него* другое найти?), все эти слова жестки, и, вообще, всё было бы только полуправдой... В самом деле, не слишком ли у нас много недоверия?

...Докуренную папиросу он бросил в речку. Слышно было, как зашипел окурок.

— Also, — снова бодро сказал Зенф и помог Нинель подняться с поваленного дерева.

На обратном пути они спешили, — быстро наступали осенние сумерки. В городе — трамваем до дома Нинель. У парадного входа Зенф, как всегда, шаркнул. Чуть-чуть дольше обычного задержал ее руку в своей и побежал снова к трамваю. Нинель толкнула было парадную дверь, но задержалась и в полутьме следила за удаляющейся фигурой. Стало вдруг необыкновенно скучно... И фигура вдруг остановилась иглянула назад, к Нинель. Постояла несколько секунд и помахала рукой.

— Ах, — тихонько вздохнула Нинель.

А когда вошла к себе, удивилась: ее комната показалась ей чужой.

(Продолжение следует)

Петр Ершов

ДРУГИЕ БЕРЕГА

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В обиходе таких семей как наша была давняя склонность ко всему английскому: это слово, кстати сказать, произносилось у нас с классическим ударением (на первом слоге), а бабушка М. Ф. Набокова говорила уже совсем по старинке: аглицки. Дегтярное лондонское мыло, черное как смоль в сухом виде, а в мокром — янтарное на свет, было скользким участником ежеутренних обливаний, для которых служили раскладные резиновые ванны — тоже из Англии. Дядька намыливал всего мальчика от ушей до пят при помощи особой оранжево-красной губки, а затем несколько раз обливал теплой водой из большого белого кувшина, вокруг которого обвивалась черная фаянсовая лоза. Этот мой резиновый *tub* я взял с собой в эмиграцию, и он, уже заплатанный, был мне сущим спасением в моих бесчисленных европейских пансионах: грязнее французской общей ванной нет на свете ничего, кроме немецкой.

За брекфастом яркий паточный сироп, *golden syrup*, наматывался блестящими кольцами на ложку, а оттуда сползал змеей на деревенском масле намазанный русский черный хлеб. Зубы мы чистили лондонской пастой, выходившей из тубочки плоскою лентой. Бесконечная череда удобных, добротных изделий да всякие ладные вещи для разных игр, да

Книга В. Набокова «Другие берега» выйдет в издательстве имени Чехова. Первые три главы этой книги напечатаны в журнале «Опыты» в кн. 3. — *Ред.*

снесь текли к нам из Английского Магазина на Невском. Тут были и кексы, и нюхательные соли, и покерные карты, и какао, и в цветную полоску спортивные фланелевые пиджаки, и чудные скрипучие кожаные футболы, и белые как тальк, с девственным пушком, теннисные мячи в упаковке, достойной редкостных фруктов. Эдемский сад мне представлялся британской колонией.

Я научился читать по-английски раньше, чем по-русски; некоторая неприятная для непетербургского слуха — да и для меня самого, когда слышу себя на пластинке — брезгливость произношения в разговорном русском языке сохранилась у меня и по сей день (помню при первой встрече, в 1945 что-ли году, в Америке, биолог Добжанский наивно мне заметил: А здорово, батенька, вы позабыли родную речь). Первыми моими английскими друзьями были незамысловатые герои грамматики — коричневой книжки с синяком кляксы во всю обложку: *Ben, Dan, Sam* и *Ned*. Много было какой-то смутной возни с установлением их личности и местопребывания. «*Who is Ben?*», «*He is Dan*», «*Sam is in bed*», «*Is Ned in bed?*» и тому подобное. Из-за того, что в начале составителю мешала необходимость держаться односложных слов, представление об этих лицах получилось у меня и сбивчивое и сухое, но затем воображение пришло на помощь, и я увидел их. Туполицые, плоскоступые, замкнутые оболтусы, болезненно горящиеся своими немногими орудиями (*Ben has an axe*), они вялой подводной походкой медленно шагают вдоль самого заднего задника сценической моей памяти; и вот, перед дальноторками моими глазами вырастают буквы грамматики, как безумная азбука на таблице у оптика.

Классная разрисована ломаными лучами солнца. Брат смиренно выслушивает отповедь англичанки. В запотевшей стеклянной банке под марлей несколько пестрых, с шипами, гусениц методично пасется на крапивных листьях, изредка выделяя интересные зеленые цилиндрики помета. Клетчатая клеенка на круглом столе пахнет клеем. Чернила пахнут чер-

носливом. Виктория Артуровна пахнет Викторией Артуров-ной. Кроваво-красный спирт в столбике большого наружного градусника восхищенно показывает 24° Реомюра в тени. В окно видать поденщиц в платках, выпалывающих ползком, то на корточках, то на четвереньках, садовые дорожки: до рытья государственных каналов еще далеко. Иволги в зелени издают свой золотой, торопливый, четырехзвучный крик.

Вот прошел *Ned*, посредственно играя младшего садов-ника. На дальнейших страницах слова удлинялись, а к концу грамматики настоящий связный рассказец развивался взрос-лыми фразами в награду маленькому читателю. Меня сладко волновала мысль, что и я могу когда-нибудь дойти до такого блистательного совершенства. Эти чары не выдохлись, — и когда ныне мне попадается учебник, я первым делом безза-конно заглядываю в конец — в будущность прилежного уче-ника.

2

Летние сумерки («сумерки» — какой это томный сире-невый звук!). Время действия: тающая точка посреди первого десятилетия нашего века. Место: пятьдесят девятый градус северной широты считая от экватора и сотый восточной дол-готы считая от кончика моего пера. Июньскому дню требо-валась вечность для угасания: небо, высокие цветы, непод-вижные воды — всё это как-то повисало в бесконечном замирании вечера, которое не разрешалось, а продлевалось еще и еще грустным мычанием коровы на далеком лугу или грустнейшим криком птицы за речным низовьем, с широкого туманного мохового болота, столь недосягаемого и таинст-венного, что еще дети Рукавишниковы прозвали его: Америка.

Брата уже уложили; мать, в гостиной, читает мне англий-скую сказку перед сном. Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждет за холмом неслыханная, может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и прежде чем перевернуть страницу, таинственно кла-

дет на нее маленькую белую руку с перстнем, украшенным алмазом и розовым рубином; в прозрачных гранях которых, кабы зорче тогда гляделось мне в них, я мог бы различить ряд комнат, людей, огни, дождь, площадь — целую эру эмигрантской жизни, которую предстояло прожить на деньги, вырученные за это кольцо.

Были книги о рыцарях, чьи ужасные, — но удивительно свободные от инфекции, — раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на средневековом ветру, юноша в трико и волнисто-волосая дева смотрели в даль на круглые Острова Блаженства. Была одна пугавшая меня картинка с каким-то зеркалом, от которой я всегда так быстро отворачивался, что теперь не помню ее толком! Были нарочито трогательные, возвышенно аллегорические повести, скроенные малоизвестными англичанками для своих племянников и племянниц. Особенно мне нравилось, когда текст, прозаический или стихотворный, лишь комментировал картинки. Живо помню, например, приключения американского Голивога. Он представлял собой крупную, мужского пола куклу в малиновых панталонах и голубом фраке, с черным лицом, широкими губами из красной байки и двумя бельевыми пуговицами вместо глаз. Пять деревянных, суставчатых кукол составляли его скромный гарем. Из них две старших смастерили себе платья из американского флага: Пегги взяла себе матронистые полосы, а Сарра Джэйн — грациозные звезды, и тут я почувствовал романтический укол, ибо нежно-голубая ткань особенно женственно облакала ее нейтральный стан. Две других куклы, близнецы, и пятая, крохотная Миджет, остались совершенно нагими, и следовательно бесполоыми.

В рождественскую ночь проснулись игрушки и так далее. Сарру Джэйн испугал и повидимому ушиб какой-то лохматый наглец, взвившийся на пружинах из своей разукрашенной коробки, и это было неприятно (бывало, в гостях, нравившаяся мне какая-нибудь девочка, прищемив палец или шлепнувшись, вдруг превращалась в страшного багрового уroda — ревуший

рот, морщины). Затем им попался навстречу печальный восточный человек, тосковавший в чужой Америке. Выйдя на улицу, наши друзья бросались снежками. В других сериях они совершали велосипедную поездку в страну бежевых каннибалов или катались на проглотившем аршин красном автомобиле тех времен (около 1906 года), причем Сарра Джэйн была наряжена в изумрудную вуаль, окончательно меня покоровившую. Однажды Голивог построил себе и четырем из своих кукол дирижабль из желтого шелка, а миниатюрному Миджету — собственный маленький воздушный шар. Как ни было увлекательно путешествие голивогской группы, меня волновало другое: со страстной завистью я смотрел на лилипутового аэронавта, ибо в гибельной черной бездне, среди снежинок и звезд, счастливцев плыл совершенно отдельно, совершенно один.

3

Затем вижу: посреди дома, вырастая из длинного, залоподобного помещения или внутренней галереи, сразу за вестибюлем, поднимается на второй этаж, широко и полого, чугунная лестница; паркетная площадка второго этажа, как палуба, обрамляет пролет с четырех сторон, а наверху — стеклянный свод и бледнозеленое небо. Мать ведет меня к лестнице за руку, и я отстаю, пытаюсь ехать за нею, шаркая и скользя по плитам зала; смеясь, она подтягивает меня к балюстраде; тут я любил пролезать под ее заворот между первым и вторым столбиком, и с каждым летом плечам и хребту было теснее, больше: ныне и призрак мой пожалуй бы не протиснулся.

Следующая часть вечернего обряда заключалась в том, чтоб подниматься по лестнице с закрытыми глазами: «*Step*» (ступенька), приговаривала мать, медленно ведя меня вверх. «*Step, step*», — и в самодельной темноте лунатически сладко было поднимать и ставить ногу. Очарование становилось всё более щекотным, ибо я не знал, не хотел знать, где кончается

лестница. «*Step*», говорила мать всё тем же голосом, и обманутый им, я лишний раз — высоко-высоко, чтоб не споткнуться — поднимал ногу, и на мгновенье захватывало дух от призрачной упругости отсутствующей ступеньки, от неожиданной глубины достигнутой площадки. Страшно подумать, как «растолковал» бы мрачный кретин-фрейдист эти тонкие детские вдохновения.

С удивительной систематичностью я умел оттягивать укладыванье. На верхней площадке, по четырем сторонам которой белелись двери многочисленных покоев, мать сдавала меня Виктории Артуровне или французенке. В доме было пять ванных комнат, а кроме того много старомодных комодообразных умывальников с педалями: помню, как бывало после рыданий, стыдясь красных глаз, я отыскивал такого старца в его темном углу, и как, при нажатии на ножную педаль, слепой фонтанчик из крана нежно нащупывал мои опухшие веки и заложенный нос. Клозеты, как везде в Европе, были отдельно от ванн, и один из них, внизу, в служебном крыле дома, был до странности роскошен, но и угрюм, со своей дубовой отделкой, тронной ступенью и толстым пурпурово-бархатным шнуром: потянешь книзу за кисть, и сдержанно-музыкально журчало и переглатывало в глубинах; в готическое окно можно было видеть вечернюю звезду и слышать соловьев в старых неэндемичных тополях за домом: и там, в годы сирени и тумана, я сочинял стихи — и впоследствии перенес всё сооружение в первую свою повесть, как через океан перевозится разобранный замок. Но в раннюю пору, о которой сейчас идет речь, мне отведено было значительно более скромное место на втором этаже, довольно случайно расположенное в нише коридорчика, между плетеной бельевой корзиной с крышкой (как вспомнился ее скрип!) и дверью в ванную при детской. Эту дверь я держал полуотворенной, и играл ею, глядя сонными глазами на пар, поднимающийся из приготовленной ванны, на расписное окно за ней с двумя рыцарями, состоящими из цветных прямоугольников, на до-линеевскую ночницу, ударявшуюся о жестяной рефлектор керосиновой лампы, жел-

тый свет которой, сквозь пар, сказочно озарял флотилию в ванне: — большой, приятный, пловучий градусник в деревянной оправе, с отсыревшей веревкой, продетой в глазок ручки, целуллоидового лебеда, лодочку, меня в ней с тристановой арфой. Наклоняясь с насиженной доски, я прилаживал лоб к удивительно удобной краевой грани двери, слегка двигая ее туда-сюда своей прижатой головой. Сонный ритм проникал меня всего; капал кран, барабанила бабочка; и впрок сопрягая звуковые узоры со зрительными, я упирался взглядом в линолеум и находил в ступенчатом рисунке его лабиринта щиты и стяги, и зубчатые стены, и шлемы в профиль. Обращаюсь ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку «Поторопись!».

Последний этап моего путешествия наступал, когда, вымытый, вытертый, я доплывал наконец до островка постели. С веранды, где шла без меня обольстительная жизнь, мать поднималась проститься со мной. Стоя коленями на подушке, в которой через полминуты предстояло потонуть моей звенящей от сонливости голове, я без мысли говорил английскую молитву для детей, предлагавшую — в хореических стихах с парными мужскими рифмами — кроткому Иисусу благословить малого дитя. В соединении с православной иконкой в головах, на которой виднелся смуглый святой в прорези темной фольги, всё это составляло довольно поэтическую смесь. Горела одна свеча, и передо мной, над иконкой, на зыбкой стене колыхалась тень камышовой ширмы и то туманился, то летел ко мне акварельный вид — сказочный лес, через стройную глушь которого вилась таинственная тропинка; мальчик в сказке перенесся на такую нарисованную тропинку прямо с кровати и углубился в глушь на деревянном коньке; и дробя молитву, присаживаясь на собственные икры, млея в припудренной, преддремной, блаженной своей мгле, я соображал, как перелезу с подушки в картину, в зачарованный лес — куда, кстати, в свое время я и попал.

Несоразмерно длинная череда английских бонн и гувернанток — одни бессильно ломают руки, другие загадочно улыбаясь — встречают меня при моем переходе через реку лет, словно я бодлеровский дон Жуан, весь в черном. Был я трудный, своенравный, до прекрасной крайности избалованный ребенок (балуйте детей побольше, господа, вы не знаете, что их ожидает!). Могу себе представить, как этим бедным воспитательницам иногда бывало скучно со мной, какие длинные письма писали они в тишине своих скучных комнат. Я теперь читаю курс по европейской литературе в американском университете тремстам студентам.

Мисс Рэчель, простую толстую в переднике, помню только по английским бисквитам (в голубой бумагой оклеенной жестяной коробке, со вкусными, миндальными, наверху, а пресно-сухаристыми — внизу), которыми она нас — трехлетнего и двухлетнего — кормила перед сном (а вот, кстати, слово «корм», «кормить» вызывает у меня во рту ощущение какой-то теплой сладкой кашицы — должно быть совсем древнее, русское, няньковое воспоминание). Я уже упоминал о довольно строгонькой мисс Клэйтон, Виктории Артуровне: бывало, разваливаюсь или горблюсь, а она тык меня костяшками руки в поясницу, или еще сама противно расправит и выгнет стан, показывая, значит, как надобно держаться. Была томная, черноволосая красавица с синими морскими глазами, мисс Норкот, однажды потерявшая на пляже в Ницце белую лайковую перчатку, которую я долго искал среди всякой пестрой гальки, да ракушек, да совершенно округленных и облагоороженных морем бутылочных осколков; она оказалась лесбианкой, и с ней расстались в Аббации. Была небольшая, кислая, малокровная и близорукая мисс Хант, чье недолгое у нас пребывание в Висбадене окончилось в день, когда мы, пятилетний и четырехлетний, бежали из-под ее надзора и каким-то образом проникли в толпе туристов на пароход, который унес нас довольно далеко по Рейну, куда нас не

перехватили на одной из пристаней. Потом была опять Виктория Артуровна. Помню еще ужасную старуху, которая читала мне вслух повесть Марии Корелли «Могучий Атом» о том, что случилось с хорошим мальчиком, из которого нехорошие родители хотели сделать безбожника. Были и другие. Их черед заходит за угол и пропадает, и воспитание мое переходит во французские и русские руки. Немногие часы, оставшиеся на английскую стихию, посвящались урокам с мистером Бэрнес и мистером Куммингс, которые не жили у нас, а приходили на дом в Петербурге, где у нас был на Морской (№ 47) трехэтажный, розового гранита, особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами. После революции в него вселилось какое-то датское агентство, а существует ли он теперь — не знаю. Я там родился — в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже — там, где был тайничек с материнскими драгоценностями: швейцар Устин лично повел к нему восставший народ через все комнаты в ноябре 1917 года.

5

Бэрнес был крупного сложения, светлоглазый шотландец с прямыми желтыми волосами и с лицом цвета сырой ветчины. По утрам он преподавал в какой-то школе, а на остальное время набирал больше частных уроков, чем день мог вместить. При переезде с одного конца города в другой, он всецело зависел от несчастных, шлепающих рысцой ванек, и хорошо если попадал на первый урок с опозданием в четверть часа, а на второй опаздывал вдвое; к четырехчасовому он добирался уже около половины шестого. Всё это отягощало ожидание; уроки его были прескучные, и я всегда надеялся, что хоть на этот раз сверхчеловеческое упорство запоздалого ездока не одолеет серой стены бурана, сгушающейся перед ним. Это было всего лишь свойственное восьмилетнему возрасту чувство, возобновление которого едва ли предвидишь в зрелые

лета; однако мне пришлось испытать нечто очень похожее спустя четверть века, когда в чужом, ненавистном Берлине, будучи сам вынужден преподавать английский язык, я бывало сидел у себя и ждал одного особенно упрямого и бездарного ученика, который с каменной неизбежностью наконец появлялся (и необыкновенно аккуратно складывал пальто на добротной подкладке, этаким пакетом на стуле), несмотря на все баррикады, которые я мысленно строил поперек его длинного и трудного пути.

Самая темнота зимних сумерек, заволакивающих улицу, казалась мне побочным продуктом тех усилий, которые делал мистер Бэрнес, чтобы добраться до нас. Приходил камердинер, звучно включал электричество, неслышно опускал пышно-синие шторы, с перестуком колец затягивал цветные гардины и уходил. Крупное тиканье степенных стенных часов с медным маятником в нашей классной постепенно приобретало томительную интонацию. Короткие штаны жали в паху, а черные рубчатые чулки шерстили под коленками, и к этому примешивался скромный позыв, который я ленился удовлетворить. Мне было — как выражалась няня сестер, следовавшая их англичанке в технических вопросах — необходимо «набавán» (*number one*, в отличие от более основательного «набатú», *number two* — да не посетует чопорный русский читатель на изобилие гигиенических подробностей в этой главе: без них нет детства). Нудно проходил целый час — Бэрнеса всё не было. Брат уходил в комнату *Mademoiselle*, и она ему там читала уже знакомого мне «Генерала Дуракина». Покинув верхний, «детский», этаж, я лениво обнимал лаковую балюстраду и в мутном трансе, полуразинув рот, соскальзывал вдоль по накалявшимся перилам лестницы на второй этаж, где находились апартаменты родителей (интересно, клюнет ли тут с гнилым мозгом фрейдист). Обычно они в это время отсутствовали — мать много выезжала, отец был в редакции или на заседании, — и в сумеречном оцепенении его кабинета молодые мои чувства подвергались — не знаю, как выразиться — телеологическому, что-ли, «целеобусловленному» воздей-

ствию, как будто собравшиеся в полутьме знакомые предметы сознательно и дальновидно стремились создать тот определенный образ, который у меня теперь и запечатлен в мозгу; эту тихую работу вещей надо мной я часто чувствовал в минуты пустых, неопределенных досугов. Часы на столе смотрели на меня всеми своими фосфорическими глазками. Там и сям, бликом на бронзе, бельмом на черном дереве, блеском на стекле фотографий, глянецом на полотне картин, отражался в потемках случайный луч, проникавший с улицы, где уже горели лунные глобусы газа. Тени, точно тени самой метели, ходили по потолку. Нервы заставлял «полюхнуть» сухой стук о мрамор столика — от падения лепестка пожилой хризантемы.

У будуара матери был навесный выступ, так называемый фонарь, откуда была видна Морская до самой Мариинской Площади. Прижимая губы к тонкой узорчатой занавеске, я постепенно лакомился сквозь тюль холодом стекла. Всего через одно десятилетие, в начальные дни революции, я из этого фонаря наблюдал уличную перестрелку и впервые видел убитого человека: его несли, и свешивалась нога, и с этой ноги норовил кто-то из живых стащить сапог, а его грубо отгоняли; но сейчас нечего было наблюдать, кроме приглушенной улицы, лилово-темной, несмотря на линию ярких лун, висящих над нею; вокруг ближней из них снежинки проплывали, едва вращаясь каким-то изящным, почти нарочито замедленным движением, показывая как это делается, и как это всё просто. Из другого фонарного окна я заглядывался на более обильное падение освещенного снега, и тогда мой стеклянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар. Экипажи проезжали редко; я перешел к третьему окну в фонаре, и вот извозчицы сани остановились прямо подо мной, и мелькнула неприличная лисья шапка Бэрнеса.

Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную и уже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаются энергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы

ни был мороз на дворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том, что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное в прошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке, исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы со стенными, принимался писать быстрым, округлым почерком, со страшной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание. Перед самым его уходом, я выпрашивал у него любимую пытку. Держа в своем похуже на окорок кулаке мою небольшую руку, он говорил лимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгой формы) о *lady from Russia*, которая кричала, *screamed*, когда ее сдавливали, *crushed her*, и прелесть была в том, что при повторении слова «*screamed*», Бэрнес всё крепче и крепче сжимал мне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца. Вот перефразировка по-русски:

Есть странная дама из Кракова:
орет от пожатия всякого,
орет наперед
и всё время орет —
но орет не всегда одинаково.

6

Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами, мистер Куммингс, носивший вместо демисезонного пальто зеленовато-бурый плащ-лоден, был когда-то домашним учителем рисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем, хотя на самом деле ему не было и сорока пяти в те годы — 1907-1908 — когда он приходил мне давать уроки перспективы (небрежным жестом смахивая оттертыш гутаперчи и необычайно элегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивал в одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-то совершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал в качестве иностранного коррес-

пондента-иллюстратора лондонского *Graphic's*. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями. Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькие его акварели — полевые пейзажи, вечерняя река и тому подобное, — приобретенные членами нашей семьи и домочадцами, прозябали по углам, оттесняемые всё дальше и дальше, пока их совсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьков или новообрамленные снимки. После того что я научился тушевать бок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагу в гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что просто писал при мне свои райски яркие виды. Впоследствии, с десяти лет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: сперва известный Яремич, который заставлял меня посмелее и порасплывчатее, «широкими мазками», воспроизводить в красках какие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки; а затем — знаменитый Добужинский, который учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мною в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем невиданную структуру в органах бабочки, — но внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональной стороны, в смысле *веселости* красок, столь сродной детям, старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Еще лучше моей матери умел он всё это делать — с чудным проворством наVERTывал на мокрую черную кисточку несколько красок сряду, под аккомпанимент быстрого дребезжания белых эмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные, например, и желтые, были с глубокими выемками от частого пользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставала витать и тыкаться, и двумя-тремя сочными обмазами пропитывала брестоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока оно еще было чуть влажно, прокладыва-

лось длинное акулье облако фиолетовой черноты: «*And that's all, dearie*, — и это всё, голубок мой, никакой мудрости тут нет».

Увы, однажды я попросил его нарисовать мне международный экспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движениями его умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочистку или скотоловку, и передние слишком нарядные фонари такого паровоза, который пожалуй мог быть куплен для Сибирской железной дороги после того, что он пересек Америку через Ютаку в шестидесятых годах. За этим паровиком последовало пять вагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой и бедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательно отделил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонил на бок голову и полюбовавшись на свое произведение, протянул мне его, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным. Он был тендер.

Через четверть века мне довелось узнать две вещи: что покойный Бэрнес, который кроме диктанта да глупой частушки казалось не знал ничего, был весьма ценным эдинбургскими знатоками переводчиком русских стихов, тех стихов, которые уже в отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием; и что мой кроткий Куммингс, которому я щедро давал в современники самых дремучих Рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира с бакенбардами (того, который умел и любил откусывать хвосты новорожденным щенкам-фокстерьерам), счастливо женился *dans la force de l'age*, т. е. в моих теперешних летах, на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам (в 1925 году). Эти вести меня странно потрясли, как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на мою печать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную мою границу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такой экономией средств.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В холодной комнате, на руках у беллетриста, умирает Мнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Так вкрапленный в начало «Защиты Лужина» образ моей французской гувернантки погибает для меня в чуждой среде, навязанной сочинителем. Вот попытка спасти что еще осталось от этого образа.

Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к нам приехала *Mademoiselle*. Показалась она мне огромной, и в самом деле она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, с непризнанной сединой в темных волосах, три, и только три, но какие! — морщины на суровом лбу, густые мужские брови над серыми — цвета ее же стальных часиков — глазами за стеклами пенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усы, и ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплыве гнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ее подбородка, который так величественно располагается прямо на высоком скате ее многоборчатой блузы. Вот, готовясь читать нам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя его прочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходит студень под нижней челюстью, осмотрительно опускается чудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, и напоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовому сидению, которое со страху раздражается скрипом и треском.

Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной, проведенной нами в деревне, и всё было ново и весело — и валенки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие с крыши красного амбара, и запах мороза и смолы,

и гул печек в комнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалось бурное царство мисс Робинсон. Год, как известно, был революционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, и отец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре. Правда, в окрестных деревнях были, как везде, и хулиганы и пьяницы, — а в следующем году даже так случилось, что зимние озорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные безделицы, — но в общем отношения с местными крестьянами были идиллические: как и всякий бескорыстный барин-либерал, мой отец делал великое количество добра в пределах рокового неравенства.

Я не поехал встречать ее на Сиверскую, железнодорожную остановку в девяти верстах от нас; но теперь высылаю туда призрачного представителя, и через него вижу ясно, как она выходит из желтого вагона в сумеречную глушь небольшой оснеженной станции в глубине гиперборейской страны, и что она чувствует при этом. Ее русский словарь состоял из одного короткого слова — того же, ничем не обросшего, неизменного слова, которое спустя десять лет она увезла обратно, в родную Лозанну. Это простое словечко, «где», превращалось у нее в «гиди-э» и, полнясь магическим смыслом, звуча граем потерявшейся птицы, оно набирало столько вопросительной и заклинательной силы, что удовлетворяло всем ее нуждам. «Гиди-э, гиди-э?», заливалась она, не только добиваясь определения места, но выражая бездну печали — одиночество, страх, бедность, болезнь, и мольбу доставить ее в обетованный край, где ее наконец поймут и оценят.

Бесплотный представитель автора предлагает ей невидимую руку. На ней пальто из поддельного котика и шляпа с птицей. По перрону извивается зámеть. Куда итти? Изредка дверь ожидальни отворяется с дрожью и воем в тон стуже; оттуда вырывается светлый пар, почти столь же густой как тот, который валит из трубы шумно ухающего паровоза. *«Et je me tenais là, abandonnée de tous, pareille à la Comtesse Karénine»*, красноречиво, если и не совсем точно, жаловалась

она впоследствии. Но вот появляется настоящий спаситель, наш кучер Захар, рослый, вышербленный оспой человек, в черных усах, похожий на Петра Первого, чудака, любитель прибауток, одетый в нагольный овечий тулуп, с рукавицами, засунутыми за красный кушак. Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег, пока он возится с багажом «мадмазели», с упряжью, позвякивающей в темноте и с собственным носом, который, обходя сани, он мощно облегчает отечественным приемом зажима и стряха. Медленно, грузно, томимая мрачными предчувствиями, путешественница, держась за помощника, усаживается в уютные сани. Вот она всунула кулаки в плюшевую муфту, вот чмокнул Захар, вот переступили, напрягая мышцы, вороные Зойка и Зинка, и вот *Made-moiselle* подалась всем корпусом назад — это дернулись сани, вырываясь из мира вещей и плоти, чтобы плавно потечь прочь, едва касаясь отрешенной от трения снежной стези.

Мимолетом, благодаря свету провожающего нас предвоззального фонаря, чудовищно преувеличенная тень — с муфтой и в шляпе, похожей на лебедя — несется в обгон по сугробу, затем обгоняется вторичной тенью, там, где перенимает санки другой, последний фонарь, и всё исчезает: путешественницу поглощает то, что потом, рассказывая свои приключения, она называла с содроганием «степью». И действительно, чем не *la jeune Sibérienne*? В неведомой мгле желтыми волчьими глазами кажутся переменчивые огни (сейчас мы проедем ветхую деревеньку в овраге, перед которой четко стоит — с 1840 года, что-ли, — на слегка подгнившей, но крепкой доске: 116 душ — хотя и тридцати не наберется). Бедная иностранка чувствует, что замерзает «до центра мозга» — ибо она взмывает на крыльях глупейших гипербол, когда не придерживается благоразумнейших общих мест. Порою она оглядывается, дабы удостовериться, что другие сани, с ее черным сундуком и шляпной картонкой, следуют сзади, не приближаясь и не отставая, как те компанейские призраки кораблей, которые нам описали полярные мореходы.

Не забудем и полной луны. Вот она — легко и скоро

скользит, зеркалистая, из-под каракулевых тучек, тронутых радужной рябью. Дивное светило наводит глазурь на глубокие колени дороги, где каждый сверкающий ком снега подчеркнут всплывшей тенью.

Совершенно прелестно, совершенно безлюдно. Но что же я-то тут делаю, посреди стереоскопической феерии? Как попал я сюда? Точно в дурном сне, удалились сани, оставив стоящего на страшном русском снегу моего двойника в американском пальто на викуньевом меху. Саней нет как нет; бубенчики их — лишь раковинный звон крови у меня в ушах. Домой — за спасительный океан! Однако двойник медлит. Всё тихо, всё околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег — настоящий наощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев.

2

В гостиную вливается керосиновая лапма на белом лепном пьедестале. Она приближается — и вот, опустилась. Рука Мнемозины, теперь в нитяной перчатке буфетчика Алексея, ставит ее, в совершенстве заправленную, с огнем как ирис, посредине круглого стола. Ее венчает розовый абажур с воланами, кругосветно украшенный по шелку полупрозрачными изображениями маркизовых зимних игр. Дверь отворена в проходной кабинетик, и оттуда низвергается желтый паркет из овального зеркала над карельской березы диваном (всем этим я не раз мебелировал детство героев). За столом мы рисуем. На шкапчике в простенке лоснистым хребтом горбится бледно-серая обезьяна из фарфора с бледно-серым фруктом в руке, необыкновенно похожая на А. Ф. Кони, поедающего яблоко. Подвески люстры изредка позвякивают, вероятно оттого, что наверху передвигают что-то в будущей комнате *Mademoiselle*. Старая Робинсон, которой я не терплю (но *всё* лучше неизвестной француженки), отложив книгу, смотрит на часы: навалило много снега, и вообще много чего ждет за-местительницу.

Лиловый карандаш стал так короток от частого употребления, что его трудно держать. Синий проводит горизонт любого моря. Голубой ужасно ломок: его шатающийся молочный кончик подпирается выступом выщепки. Зеленый спиральным движением производит липу — или дым из домишки, где варят шпинат. Желтый безнадежно сломан. Оранжевый создает солнце, садящееся за морской горизонт. Красный малыш едва ли не короче лилового. И из всех карандашей только белый сохранял свою девственную длину — пока я не догадался, что этот альбинос, будто бы не оставляющий следа на бумаге, на самом деле орудие идеальное, ибо, водя им, можно было вообразить незримое запечатление настоящих, взрослых картин, без вмешательства собственной младенческой живописи.

Увы, эти карандаши я тоже раздарил вымышленным детям. Как всё размазалось, как всё поблекло! Не помню, одалживал ли я кому Бокса Первого, любимца ключницы, пережившего свою Лулу-Иокасту. Он спит на расшитой подушке, в углу козезки. Седоватая морда с таксичьей бородавкой у рта заткнута под бедро, и время от времени его всё еще крутенькую грудную клетку раздувает глубокий вздох. Он так стар, так услан изнутри сновидениями о запахах прошлого, что не шевелится, когда сани с путешественницей и сани с ее багажом подъезжают к дому, и оживает гулкий, в чугунных узорах вестибюль. А как я надеялся, что она не доедет!

3

Совсем другой, некомнатный, пес, благодушный родоначальник свирепой, но продажной, семьи цепных догов, выпускаемых только по ночам, сыграл приятную для него роль в происшествии, имевшем место чуть ли не через день после прибытия *Mademoiselle*. Случилось так, что мы с братом Сергеем оказались на полном ее попечении. Мать неосторожно уехала на несколько дней в Петербург, — она была встревожена событиями того года, а кроме того ожидала четвертого

ребенка и была очень нервна. Робинсон, вместо того, чтобы помочь *Mademoiselle* утрястись, не то уехала тоже, не то была унаследована трехлетней моей сестрой — у нас мальчики и девочки воспитывались совершенно отдельно, как в старину. Чтобы показать наше недовольство, я предложил покладистому брату повторить висбаденскую эскападу, когда, шурша подошвами в ярких сухих листьях, мы так удачно бежали к пристани от мисс Хант, и потом ввали Бог знает что каким-то американкам на рейнском пароходике. Но теперь, вместо нарядной осени, кругом расстилалась снежная пустыня, и не помню, как я себе представлял переход из Выры на Сиверскую, где повидимому (как нахожу, порывшись заново у себя в памяти) я замышлял сесть с братом в петербургский поезд. Дело было на склоне дня, мы только что вернулись с первой нашей прогулки в обществе *Mademoiselle* и кипели негодованием и ненавистью. Бороться с малознакомым нам языком, да еще быть лишенными всех привычных забав — с этим, как я объяснил брату, мы примириться не могли. Несмотря на солнце и безветрие, она заставила нас нацепить вещи, которых мы не носили и в пургу — какие-то страшные гетры и башлыки, мешавшие двигаться. Она не позволила нам ходить по пухлым, белым округлостям, заменившим летние клумбы, или подлезать под волшебное бремя елок и трясти их. *La bonne promenade*, которую она нам обещала, свелась к чинному хождению взад и вперед по усыпанной песком снежной площадке сада. Вернувшись с прогулки, мы оставили ее пыхтеть и снимать ботинки в парадной, а сами промчались через весь дом к противоположной веранде, откуда опять выбежали на двор, правильно рассчитав, что она будет долго искать нас за шкапами и диванами еще мало ей известных комнат. Упомянутый дог как раз примеривался к ближнему сугробу, но его желтые глаза нас заметили — и радостно скача, он присоединился к нам.

Втроем пройдя по полупротопанной тропинке, мы вскоре свернули через пушистый снег к проезжей дороге и двинулись окружным путем по направлению так называемой Песчанки, откуда можно было пройти к станции, минуя село Рождест-

вено. Меж тем солнце село, и очень скоро стало совсем темно. Братец стал жаловаться, что продрог и устал, и я помог ему сесть верхом на дога, единственного члена экспедиции, который был по-прежнему весел. Брат в совершенном молчании всё сваливался со своего неудобного коня, и, как в страшной сказке, лунный свет пересекался черными тенями придорожных гигантов-деревьев. Вдруг нас нагнал слуга с фонарем, посадил на дровни и повез домой. *Mademoiselle* стояла на крыльце и выкрикала свое безумное «гиди-э». Я скользнул мимо нее. Брат расплакался и сдался. Дог, которого между прочим звали Турка, вернулся к своим прерванным исследованиям в отношении удобных и осведомительных сугробов.

4

В детстве мы лучше видим руки людей, ибо они, эти знакомые руки, витают на уровне нашего роста; мадемуазелины были неприятны мне каким-то лягушечьим лоском тугой кожи по тыльной стороне, усыпанной уже старческой горчицей. До нее никто никогда не трепал меня по щеке — это было отвратительное иностранное ощущение — она же именно с этого и начала — в знак мгновенного расположения, что-ли. Все ее ужимки, столь новые для меня после довольно однообразных и сдержанных жестов наших англичанок, ясно вспоминаются мне, как только воображаю ее руки: манера чинить карандаш к себе, к своей огромной бесплодной груди, облеченной в зеленую шерсть безрукавной кофточки поверх блузы; способ чесать в ухе — вдруг совала туда мизинец, и он как-то быстро-быстро там трепетал. И еще — обряд, соблюдавшийся при выдаче чистой тетрадки: со всегдашним легким астматическим пыхтением, округлив по-рыбьи рот, она наотмашь раскрывала тетрадку, делала в ней поле, т. е. резко проводила ногтем большого пальца вертикальную черту и по ней сгибала страницу, после чего тетрадка одним движением обращалась вокруг оси, чтобы поместиться передо мной. В любимую мою сердоликовую ставку она для меня всовывала новое перо и с

сырым присвистом слюнула его блестящее острие, прежде чем деликатно обмакнуть его в чернильницу. Ручка с еще чисто серебряным, только наполовину посиневшим, пером наконец передавалась мне, и, наслаждаясь отчетливостью выводимых букв — особенно потому, что предыдущая тетрадь безнадежно кончилась всякими перечеркиваниями и безобразием — я надписывал «*Dictée*», покамест *Mademoiselle* выискивала в учебнике что-нибудь потруднее да подлиннее.

5

Декорация между тем переменилась. Инистое дерево и кубовый сугроб убраны безмолвным бутафором. Сад в бело-розовофиолетовом цвету, солнце натягивает на руку ажурный чулок аллеи — всё цело, всё прелестно, молоко выпито, половина четвертого, *Mademoiselle* читает нам вслух на веранде, где циновки и плетеные кресла пахнут из-за жары вафлями и ванилью. Летний день, проходя сквозь ромбы и квадраты цветных стекол, ложится драгоценной росписью по беленым подоконникам и оживляет арлекиновыми заплатами сизый коленкор одного из длинных диванчиков, расположенных по бокам веранды. Вот место, вот время, когда *Mademoiselle* проявляет свою сокровенную суть.

Какое невероятное количество томов и томиков она перечла нам на этой веранде, у этого круглого стола, покрытого клеенкой! Ее изящный голос тек да тек, никогда не ослабевая, без единой заминки; это была изумительная чтецкая машина, никак не зависящая от ее больных бронхов. Так мы прослушали и мадам де Сегюр, и Додэ, и длиннейшие, в распадающихся бумажных переплетах, романы Дюма, и Жюль Верна в роскошной брошюровке, и Виктора Гюго, и еще много всякой всячины. Она сливалась со своим креслом столь же плотно, столь же органически, как, скажем, верхняя часть кентавра с нижней. Из неподвижной горы струился голос; только губы да самый маленький — но настоящий — из ее подбородков двигались. Ее чеховское пенсне окружало чер-

ными ободками два опущенных глаза с веками, очень похожими на этот подбородок-подковку. Иногда муха садилась ей на лоб, и тогда все три морщины разом подскакивали; но ничто другое не возмущало этого лица, которое, таясь, я так часто рисовал, ибо его простая симметрия гораздо сильнее притягивала мой карандаш, чем ваза с анютиными глазками будто служившая мне моделью.

Мое внимание отвлекалось — и тут-то выполнял свою настоящую миссию ее на редкость чистый и ритмичный голос. Я смотрел на крутое летнее облако — и много лет спустя мог отчетливо воспроизвести перед глазами очерк этих сбитых сливок в летней синеве. Запоминались навек длинные сапоги, картуз и растегнутая жилетка садовника, подпирающего зелеными шестиками пионы. Трясогузка пробежала несколько шажков по песку, останавливалась, будто что вспомнив, и семенила дальше. Откуда ни возьмись, бабочка-полигония, сев на ветхую ступень веранды, расправляла плашмя на припеке свои вырезные бронзовые крылья, мгновенно захлопывала их, чтобы показать белую скобочку на аспидном исподе, вспыхивала опять — и была такова. Постояннейшим же источником очарования в часы чтения на вырской веранде были эти цветные стекла, эта прозрачная арлекинада! Сад и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполнялись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий прямоугольник — и песок становился пеплом, траурные деревья плавали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва густела над розовым мелом аллеи. Когда же после всех этих роскошеств обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновенного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить, и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконеч, в него-то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть.

Mademoiselle так и не узнала никогда, как могущественны были чары ее ровно журчавшего голоса. В дальнейшем, по возвращении ее в Швейцарию, ее притязания на минувшее оказались совсем другими: «*Ah, comme on s'aimait!*», вздыхала она вспоминая. «Как мы веселились вместе! А как бывало ты поверял мне шопотом свои детские горести» (Никогда!) «А уютный уголок в моей комнате, куда ты любил забиваться, так тебе было там тепло и покойно...».

Комната *Mademoiselle*, и в Выре и в Петербурге, была странным и даже жутким местом. В едком тумане этой теплицы, где глухо пахло, из под прочих испарений, ржавчиной яблок, тускло светилась лампа, и необыкновенные предметы поблескивали на столиках: лаковая шкатулка с лакричными брусками, которые она распиливала перочинным ножом на черные кусочки — одно из любимых ее лакомств; самой Помоной украшенная округлая жестянка со слипшимися монпансье — другая ее страсть; толстый слоистый шар, слепленный из серебряных бумажек с тех несметных шоколадных плиток и кружков, которые она ела в постели; цветной снимок — швейцарское озеро и замок с крупницами перламутра вместо окон; несколько кабинетных фотографий — покойного племянника, его матери (расписавшейся «*Mater Dolorosa*»), таинственного усача, *Monsieur de Marante*, которого семья заставила жениться на богатой вдове; главенствовал же над ними портрет в усыпанной поддельными камнями рамке: на нем была снята вполоборота стройная молодая брюнетка в плотно облегающем бюст платье, с твердой надеждой в глазах и гребнем в роскошной прическе. «Коса до пят и вот такой толщины», говорила с пафосом *Mademoiselle* — ибо эта бодрая матовая барышня была когда-то ею, но тщетно недоверчивый глаз силился извлечь из ее теперешних стереоптических очертаний ими поглощенный тонкий силуэт. Нам с братом, увы, были даны как раз обратные откровения: то, чего не могли видеть взрослые, наблюдавшие лишь облаченную в непроницаемые доспехи, дневную *Mademoiselle*, видели мы, всезнающие дети, когда, бывало, тому или другому из нас

приснится дурной сон, и разбуженная звериным воплем, она появится из соседней комнаты, босая, простоволосая, подняв перед собой свечу, миганьем своим обращающую в чешую золотые блески на ее кроваво-красном капоте, который не прикрывал ее чудовищных колыханий: в эту минуту она казалась сущим воплощением Иезавели из «*Athalie*», дурацкой трагедии Расина, куски которой мы, конечно, должны были знать наизусть вместе со всяким другим лжеклассическим бредом.

6

Всю жизнь я засыпал с величайшим трудом и отвращением. Люди, которые, отложив газету, мгновенно и как-то запросто начинают храпеть в поезде, мне столь же непонятны, как, скажем, люди, которые куда-то «баллотируются» или вступают в масонские ложи, или вообще примыкают к каким-либо организациям, дабы в них энергично раствориться. Я знаю, что спать полезно, а вот не могу привыкнуть к этой измене рассудку, к этому еженощному, довольно анекдотическому разрыву со своим сознанием. В зрелые годы у меня это свелось приблизительно к чувству, которое испытываешь перед операцией с полной анестезией, но в детстве, предстоявший сон казался мне палачем в маске, с топором в черном футляре и с добродушно-бессердечным помощником, которому беспомощный король прокусывает палец. Единственной опорой в темноте была щель слегка приоткрытой двери в соседнюю комнату, где горела одна лампочка из потолочной группы, и куда *Mademoiselle* из своего дневного логовища часов в десять приходила спать. Без этой вертикали кроткого света мне было бы не к чему прикрепиться в потемках, где кружилась и как бы таяла голова. Удивительно приятной перспективой была мне субботняя ночь, та единственная ночь в неделе, когда *Mademoiselle*, принадлежавшая к старой школе гигиены и видевшая в наших английских привычках лишь источник простуд, позволяла себе роскошь и риск ванны — чем продлевалось чуть ли не на час существование моей хруп-

кой полоски света. В петербургском доме ей отведенная ванная находилась в конце дважды загибающегося коридора, в каких-нибудь двадцати ударах сердца от моего изголовья, и, разрываясь между страхом, что ей вздумается сократить свое торжественное купанье, и завистью к мирному посापыванию брата за ширмой, я никогда не успевал воспользоваться лишним временем и заснуть, пока световая щель в темноте всё еще оставалась залогом хоть точки моего я в бездне. И наконец они раздавались, эти неумолимые шаги: вот они тяжело приближаются по коридору и, достигнув последнего колена, заставляют невесело брякать какой-нибудь звонкий предмет, деливший у себя на полке мое бдение. Вот — вошла в соседнюю комнату. Происходит быстрый пересмотр и обмен световых ценностей: свечка у ее кровати скромно продолжает дело лампы, которая, со стуком взбежав на две ступени дивного добавочного света, тут же отменяет его и с таким же стуком тухнет. Моя вертикаль еще держится, но как она тускла и ветха, как неприятно содрогается всякий раз, что скрипит мадемуазелина кровать... Наступает период упадка: она читает в постели Бурже. Слышу серебристый шелест оголяемого шоколада и чирканье фруктового ножа, разрезающего страницы новой *Revue des Deux Mondes*. Я даже различаю знакомый зернистый присвист ее дыханья. И всё время, в ужасной тоске, я стараюсь приманить ненавистный сон, ибо знаю что сейчас будет. Ежеминутно открываю глаза, чтобы проверить, там ли мой мутный луч. Рай — это место, где бессонный сосед читает бесконечную книгу при свете вечной свечи! И тут-то оно и случается: защелкивается футляр пенсне; шуркнув, журнал перемещается на ночной столик; *Mademoiselle* бурно дует; с первого раза подшибленное пламя выпрямляется вновь; при втором порыве, свет гибнет. Бархатный убийственный мрак ничем теперь не прерван кроме моих частных беззвучных фейерверков, и я теряю направление, постель тихо вращается, в паническом трепете сажусь и всматриваюсь в темноту. Господи, ведь знают же люди, что я не могу уснуть без точки света, — что бред, сумасшествие,

смерть и есть вот эта совершенно черная чернота! Но вот, постепенно принаравливаясь к ней, взгляд отделяет действительное мерцание от энтоптического шлака, и продолговатые бледноты, которые, казалось, плывут куда-то в беспамятстве, пристают к берегу и становятся слабо, но бесценно, светящимися вогнутостями между складками гардин, за которыми бодрствуют уличные фонари.

Непонятными, ничтожными казались эти ночные невзгоды в те восхитительные утра, когда не только ночь, но и зима проваливалась в морскую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушубка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых. *On se promenait en voiture* — или *en équipage*, как говорилось по-старинке в русских семьях. Черносливового цвета плюш величественно холмится на груди у *Mademoiselle*, которая сидит на заднем сидении открытого ландо рядом с моим торжествующим и заплаканным братцем, которого я, сидя напротив, иногда напоследок лягаю под общим пледом — мы еще дома повздорили; впрочем, обижал я его не часто, но и дружбы между нами не было никакой — настолько, что у нас не было даже имен друг для друга — Володя, Сережа, — и со странным чувством думается мне, что я мог бы подробно описать всю свою юность ни разу о нем не упомянув. Ландо катится, машисто бегут лошади, свежо шее, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской у Арки, три полосы полупрозрачных полотнищ — бледно-красная, бледно-голубая и просто линялая — усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня, стук копыт по торцам, начало кори, распущенное невским ветром крыло птицы, с одним красным глазком, на шляпе у *Mademoiselle*.

Она провела с нами около восьми лет, и уроки становились всё реже, а характер ее всё хуже. Незыблемой скалой кажется она по сравнению с приливом и отливом английских гувернанток и русских воспитателей, перебивавших у нас; со всеми ними она была в дурных отношениях. Предпосылки ее обид отличались тончайшими оттенками. Летом редко садилось меньше двенадцати человек за стол, а в дни именин и рождений бывало по крайней мере втрое больше, и вопрос, где ее посадят был для нее жгуч. Из Батова в тарантасах и шарабанах приезжали Набоковы, Лярские, Рауши, из Рождествена — Василий Иванович, держась за кушак кучера (что отец мой считал неприличным), из Дружноселья — Витгенштейны, из Митюшина — Пыхачевы; были тут и разные отцовские и материнские дальние родственники, компаньонки, управляющие, гувернантки и гувернеры; Рождественский доктор прикатывал на своих легоньких дрожках, запряженных крутошеей цирковой понькой с гривкой, как зубная щетка; и в прохладном вестибюле звучно сморкался и всё это упаковывал в платок, и проверял в высоких зеркалах свой белый шелковый галстук милый Василий Мартынович, принесший, в зависимости от сезона, любимые цветы матери или отца — зеленоватые влажные ландыши в туго скрипучем букете или крупный пук словно синеных васильков, перевязанных алой лентой. Интересно, кто заметит, что этот параграф построен на интонациях Флора.

Особенно зорко следила *Mademoiselle* за одной из беднейших набоковских родственниц, Надеждой Ильиничной Назимовой, старой девой, кочевавшей всякое лето из одного поместья в другое и слывшей художницей, — она выжигала цветные русские тройки по дереву и переписывалась славянской вязью с сочленами какого-то черносотенного союза. Жидковолосая, с челкой, с громадным, земляничного цвета, лицом, которое было столь скошено на-бок, вследствие застуженного в печальной молодости флюса, что речь ее, как бы рупорная,

казалась направленной в собственное левое ухо, она была уродлива и очень толста, фигурой походя на снежную бабу, т. е. была менее хорошо распределена, чем *Mademoiselle*. Когда, бывало, эти две дамы плыли одна навстречу другой по широкой аллее парка и безмолвно *разминались* — Надежда Ильинична с лопухом, пришипленным ради свежести к волосам, а *Mademoiselle* под муаровым зонтиком, обе в кушачках и объемистых юбках, которые ритмично со стороны в сторону мели подолами по песку, они очень напоминали те два пузатых электрических вагона, которые так однообразно и невозмутимо расходились посреди ледяной пустыни Невы. «*Je suis une sylphide à coté de ce monstre*», презрительно говаривала *Mademoiselle*. Когда же той удавалось пересечь ее за праздничным столом, губы *Mademoiselle* от обиды складывались в дрожащую ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудь простодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то она быстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, и произносила: «*Excusez-moi, je souriais à mes tristes pensées*».

Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряет уязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. За столом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезы сползают по ее большим щекам. «Ничего, не обращайтесь внимания», говорила она через силу и продолжала есть, пока слезы не затопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть ли не ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепенно пустячной причины ее горя; она, например, всё более убеждалась, что если общий разговор временами и велся по-французски, то делалось это по сговору ради дьявольской забавы — не давать ей направлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться в понятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, что неизменно попадала впросак. «А как поживает ваш парламент, *Monsieur Nabokoff?*» бодро выпаливала она, хотя уж много лет прошло со времен Первой Думы. А не то ей покажется, что разговор коснулся музыки, и многозначительно она пре-

подносила: «Помилуйте, и в тишине есть мелодия! Однажды, в дикой альпийской долине, я — вы не поверите, но это факт — *слышала* тишину». Невольным следствием таких реплик — особенно когда слабеющий слух подводил ее, и она отвечала на мнимый вопрос — была мучительная пауза, а вовсе не вспышка блестящей, легкой *causerie*. Между тем, сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужто нельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскость суждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчала и переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, как стишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французской литературе я приобщился не через нее, а через рано открытые мною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочу подчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбuditельно и плодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка, подобного сверканью тех кристаллических солей, кои прописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думать теперь, как страдала она, думая, что никем не ценится соловьиный голос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, всё надеясь, что чудом превратится в некую *grande précieuse*, царящую в золоченой гостиной и блеском ума чарующую поэтов, вельмож, путешественников.

Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский, розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубой обритой головою и добрыми близорукими глазами, который в десятых годах жил у нас в качестве репетитора. У него было несколько предшественников, ни одного из них *Mademoiselle* не любила, но про Ленского говорила, что это *le comble* — дальше итти некуда. Он был довольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясь перед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе, как, например, лакеев в синих ливреях, реакционных приживалок, «снобичность» некоторых забав и, увы, французский язык, неуместный по его мнению в доме у демократа. *Mademoiselle*, которой за всё время их совместного прозябания ни разу не пришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-француз-

ски, решила, что если он на всё ей отвечает мычанием (чудак, за неимением других прикрас, старался по крайней мере его германизировать), то делает он это с намерением ее грубо оскорбить и осадить при всех — ведь никто за нее не заступится. Это были незабываемые сцены, и постоянное повторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороны. Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ, *Mademoiselle* просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал, бурча что-то вроде «их денке зо аух», и спокойно продолжал хлебать суп; при этом у Надежды Ильиничны, не жаловавшей *Mademoiselle* за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа, злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенно широким движением, *Mademoiselle* нырнула через тарелку Ленского по направлению к корзинке с французской булкой и втягивалась обратно через него же, крикнув «*Merci, Monsieur!*» с такой сокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленского становились алее герани. «Скот! Наглец! Нигилист!» всхлипывая жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели, — которая давно переехала из смежной с нами комнаты в ее собственную.

В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт, который взползал по бархатистому канату на третий этаж вдоль медленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутренней желтоватой стене, странно разнящейся от гранита фронтона, но очень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, где были службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя по зеленым стеклянным колпакам ламп, горящих среди ватной темноты в тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на ее тяжесть, этот лифт часто бастовал, и *Mademoiselle* бывала принуждена, со многими астматическими паузами, подниматься по лестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резво сбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала, что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног, растопчет ее безжизненное тело. Всё чаще и чаще уходила она из-за стола, — и какой-нибудь пломбир или профитроль,

о котором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Из глубины как бы всё удалявшейся комнаты своей, она писала матери письма на шестнадцать страниц, и мать спешила наверх и заставляла ее трагически укладывающей чемоданы в присутствии удрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться.

8

Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самом начале Первой Мировой Войны она вернулась в Швейцарию. Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, а оттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, в Кембриджском Университете, и как-то во время зимних каникул, в 1921 году, что-ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт — и на обратном пути, в Лозанне, посетил *Mademoiselle*.

Еще потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенно глухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ей должно быть было лет семьдесят — возраст свой она всегда скрывала с какой-то страстью и могла бы сказать «*l'age est mon seul trésor*». Изображение Шильонского Замка заменила аляповатая русская тройка, выжженная на крышке лаковой шкатулки. Она с таким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы это была ее утерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживала целая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; они жались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями о прошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждой стихии: «Аргентинцы изнасиловали всех наших молодых девушек», уверяла всё еще красноречивая *Mademoiselle*. Лучшим ее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумию подростка, бывшая гувернантка моей матери, *Mlle Golay*, которая тоже вернулась в Швейцарию, при чем они не разговаривали друг с другом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя дома в своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертная любовь этих бедных созданий к далекой и между

нами говоря довольно страшной стране, которой они по настоящему не знали, и в которой никакого счастья не нашли.

Так как беседа мучительно осложнялась глухотой *Mademoiselle*, мы с приятелем решили принести ей в тот же день аппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала она неправильно приладила сложный инструмент, что впрочем не помешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, по-сильно изображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит даже мой шопот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный и огорченный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бы заговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища, заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самое молчание, к которому прислушивалась когда-то в уединенной долине; тогда она себя обманывала, теперь меня.

Прежде, чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокруг озера холодным, туманным вечером. В одном месте, особенно унылый фонарь разбавлял мглу, и проходя через его тусклую ауру туман обращался в бисер дождя. Вспомнилось: «*Il pleut toujours en Suisse*» — утверждение, которое некогда доводило *Mademoiselle* до слез. «*Mais non*», говорила она, «*il fait si beau, si beau*» — и от обиды не могла определить точнее это «*beau*». За парашютом шла по воде крупная рябь, почти волна — когда-то по близости чуть не погибла в бурю Жюли де Вольмар. Вглядываясь в тяжко плещущую воду, я различил что-то большое и белое. Это был старый, жирный, неуклюжий, похожий на удода, лебедь. Он пытался забраться в причаленную шлюпку, но ничего у него не получалось. Беспомощное хлопанье его крыльев, скользкий звук его тела об борт, колыханье и чмокание шлюпки, клеенчатый блеск черной волны под лучем фонаря — всё это показалось мне насыщенный странной значительностью, как бывает во сне, когда видишь, что кто-то прижимает перст к губам, а затем указывает в сторону, но не успеваешь досмотреть и в ужасе просыпаешься.

Память об этой пасмурной прогулке вскоре заслонилась

другими впечатлениями; но когда года два спустя я узнал о смерти сироты-старухи (удалось ли мне вызволить ее из моих сочинений, не знаю), первое, что мне представилось, было не ее подбородки, и не ее полнота, и даже не музыка ее французской речи, а именно тот бедный, поздний, тройственный образ: лодка, лебедь, волна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Проснешься, бывало, летним утром и сразу, в отроческом трепете, смотришь: какова щель между ставнями? Ежели водянисто-бледна, то валяйся назад на подушки: не стоит и растворять ставни, за которыми заранее видишь всю досадную картину — свинцовое небо, рябую лужу, потемневший гравий, коричневую кашицу опавших соцветий под кустами сирени и преждевременно блеклый древесный листок, плоско прилипший к мокрой садовой скамейке! Но если ставни шурились от ослепительно-ролистого сверканья, я тотчас принуждал окно выдать свое сокровище: одним махом комната раскалывалась на свет и на тень. Пропитанная солнцем, березовая листва поражала взгляд прозрачностью, которая бывает у светло-зеленого винограда; еловая же хвоя бархатно выделялась на синеве, и эта синева была такой насыщенности, какую мне довелось опять насладиться только много лет спустя в горно-боровом зоне Колорадо.

Сыздетства утренний блеск в окне говорил мне одно, и только одно: есть солнце — будут и бабочки. Началось всё это, когда мне шел седьмой год, и началось с довольно банального случая. На персидской сирени у веранды флигеля я увидел первого своего махаона — до сих пор аоническое обаяние этих голых гласных наполняет меня каким-то восторженным гулом! Великолепное, бледно-желтое животное в черных и синих ступенчатых пятнах, с попугаячьим глазком над каждой из парных черно-палевых шпор, свешивалось с накло-

ненной малиново-лиловой грозди и, упиваясь ею, всё время судорожно хлопало своими громадными крыльями. Я стонал от желанья. Один из слуг — тот самый Устин, который был швейцаром у нас в Петербурге, но почему-то оказался тем летом в Выре — ловко поймал бабочку в форменную фуражку, и эта фуражка с добычей была заперта в платяной шкаф, где пленнице полагалось за ночь умереть от нафталина; но когда на другое утро *Mademoiselle* отперла шкаф, чтобы взять что-то, бабочка, с мощным шорохом, вылетела ей в лицо, затем устремила к растворенному окну, и вот, ныряя и рея, уже стала превращаться в золотую точку, и всё продолжала лететь на восток, над тайгой и тундрой, на Вологду, Вятку, и Пермь, а там — за суровый Урал, через Якутск и Верхнеколымск, а из Верхнеколымска — где она потеряла одну шпору — к прекрасному острову Св. Лаврентия, и через Аляску на Доусон, и на юг, вдоль Скалистых Гор, где наконец, после сорокалетней погони, я настиг ее и ударом рампетки «сбрил» с ярко-желтого одуванчика, вместе с одуванчиком, в ярко-зеленой роще, вместе с рощей, высоко над Боульдером.

Бывало, в комнату залетала
цветная бабочка в шелку —
и начинала
порхать, шуршать и трепетать
по голубому потолку.

— цитирую по памяти изумительные стихи Бунина (единственного русского поэта, кроме Фета, «видевшего» бабочек). Бывало, большая глянцевиито-красная гусеница переходила тропинку и оглядывалась на меня. А вскоре после шкафной истории, я нашел крупного замшевого, с цепкими лапками, сфинкса на окне парадного крыльца, и моя мать усыпила его при помощи эфира. Впоследствии я применял разные другие средства, но и теперь малейшее дуновение, отдающее тем первым снадобьем, сразу распахивает дверь прошлого; уже будучи взрослым юношей и находясь под эфиром во время операции аппендицита, я в наркотическом сне увидел себя ре-

бенком с неестественно гладким пробормом, в слишком нарядной матроске, напряженно расправлявшим под руководством чересчур растроганной матери свежий экземпляр глазчатого шелкопряда. Образ был подчеркнута ярко, как на коммерческой картинке, приложенной к полезной забаве, хотя ничего особенно забавного не было в том, что расправлен и распорот был собственно я, которому снилось всё это — промокшая, пропитанная ледяным эфиром вата, темнеющая от него, похожая на ушастую беличью мордочку, голова шелкопряда с перистыми сянками, и последнее содроганье его расчлененного тела, и тугой хряск булавки, правильно проникающей в мохнатую спинку, и осторожное втыканье довольно увесистого существа в пробковую щель расправилки, и симметричное расположение под приколотыми полосками чертежной бумаги, широких, плотных, густо опыленных крыльев, с матовыми оконцами и волнистой росписью орхидейных оттенков.

2

В петербургском доме была у отца большая библиотека; постепенно туда переходило кое-что и из вырского, где стены внутренней галереи, посреди которой поднималась лестница, были уставлены полками с книгами; добавочные залежи находились в одном из чуланов верхнего палубообразного этажа. Мне было лет восемь, когда, роясь там, среди Живописного Обозрения и *Graphic*'а в мраморных переплетах, гербариев с плоскими фиалками и шелковистыми эдельвейсами, альбомов, из которых со стуком выпадали твердые, с золотым обрезаем, фотографии неизвестных людей в орденах, и всяких пыльных разрозненных игр вроде хальмы, я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости. Помню такие курьезы, как исполнинские бурые фолианты монументального произведения Альбертуса Себа (*Locupletissimi Rerum Naturalium Thesauri Accurata Descriptio...*), Амстердам, около 1750 года: на их

желтоватых, грубо шершавых страницах гравированы были и змеи и раковины и странно-голенастые бабочки, и в стеклянной банке за шею подвешенный зародыш эфиопского младенца женского пола; часами я разглядывал гидру на таблице СII — ее семь драконовых голов на семи длинных шеях, толстое тело с пупырьками и витой хвост. Из волшебного чулана я в объятиях нес к себе вниз, в угловой кабинетик, бесценные томы: тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647-1717), и *Die Schmetterlinge* (Эрланген, 1777) гениального Эспера, и Буадювалевы *Icones Historiques de Lepidoptères Nouveaux ou Peu Connus* (Париж, 1832 год и позже). Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого столетия — *Natural History of British Butterflies and Moths* Ньюмана, *Die Gross-Schmetterlinge Europas* Гофмана, замечательные *Mémoires* вел. кн. Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно-прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга, и классический труд великого американца Скуддера, *Butterflies of New England*.

Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо поставленным делом, которым заведывали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек; даже и поныне, через полвека после его смерти, средне-европейской, а также и русской, лепидоптерологии (почти несуществующей, впрочем, при советах) далеко не удалось сбросить гипнотическое иго его авторитета. Штаудингер был еще жив, когда его школа начала терять свое научное значение в мире. Между тем как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освященных долголетним употреблением, и класси-

фицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекавшие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о «рядовом собирателе», которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют «рядового читателя», которого не следует заставлять думать.

Обозначилась о ту пору и другая, более общая, перемена. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде, как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, т. е. как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими лишь внешними разновидностями (полярными, островными, горными), сменилось новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас (подвидов); иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости — и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее. В этом смысле загадка «мимикрии» всегда пленяла меня — и тут английские и русские ученые делят лавры — я чуть не написал «ларвы» — поровну. Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы, наделенной во взрослой стадии странными членистыми придатками и другими особенностями, маскирует свою гусеничную сущность тем, что принимается «играть» двойную роль какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы поедающего его, — комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза? Как объяснить, что южно-американская бабочка-притворщица, в точности похожая и внешностью и окраской на местную синюю осу, подражает ей и в том, что

ходит по-осиному, нервно шевеля сяжками? Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о художественной совести природы, когда, не довольствуясь тем, что из сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого листа с жилками и стебельками, она кроме того на этом «осеннем» крыле прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые проедают именно в таких листьях жучьи личинки? Мне впоследствии привелось высказать, что «естественный подбор» в грубом смысле Дарвина не может служить объяснением постоянно встречающегося математически невероятного совпадения хотя бы только трех факторов подражания в одном существе — формы, окраски и поведения (т. е. костюма, грима и мимики); с другой же стороны, и «борьба за существование» ни при чем, так как подчас защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределом того, что способен оценить мозг гипотетического врага-птицы, что-ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком, я уже находил в природе то сложное и «бесполезное», которого я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве.

3

В отношении множества человеческих чувств — надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели — полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя, единственную отраду нахожу в личных молниях и сильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия — изнурительные труды, изменения, внесенные мной в систематику, революцию с казнями коллег в светлом кругу микроскопа, образ и вибрацию во мне всех редкостных бабочек, которых

я сам и поймал и описал, и свою отныне бессмертную фамилию за придуманным мною латинским названием или ее же, но с малой буквы, и с окончанием на латинское «i» в обозначении бабочек, названных в мою честь. И, как бы на горизонте этой гордыни, сияют у меня в памяти все те необыкновенные, баснословные места — северные трясины, южные степи, горы в четырнадцать тысяч футов вышины, — которые с кисейным сачком в руке я исходил и стройным ребенком в соломенной шляпе, и молодым человеком на веревочных подошвах, и пятидесятилетним толстяком в трусиках.

Я рано понял то, что так хорошо поняла мать в отношении подберезовиков: что в таких случаях надо быть одному. В течение всего моего детства и отрочества, я маниакально боялся спутников, и конечно ничто в мире кроме дождя не могло помешать моей утренней пятичасовой прогулке. Мать предупреждала гувернеров и гувернанток, что утро принадлежит мне всецело, — и они благоразумно держались в стороне. По этому поводу вспоминаю: был у меня в Тенишевском Училище трогательный товарищ, мешковатый заика с длинным бледным лицом; другие дразнили его, а мне, с моими крепкими кулаками, нравилось защищать его из спортивного щегольства. Как-то летом, поздно вечером, весь в пыли, с разбитым коленом, он неожиданно явился к нам в Выру. Его отец недавно умер, семья была разорена, и, за недостатком денег на железнодорожный билет, бедняжка проделал верст сорок на велосипеде. На другое утро, встав спозаранку, я сделал всё возможное, чтоб покинуть дом без его вedomа. Отчаянно тихо я собрал свои охотничьи принадлежности — сачек, зеленую жестянку на ремне, конвертики и коробочки для поимок — и через окно классной выбрался наружу. Углубившись в чашу, я почувствовал, что спасен, но всё продолжал быстро шагать, с дрожью в икрах, со слезами в глазах, и сквозь жгучую призму стыда представлял себе кроткого гостя с его большим бледным носом и траурным галстуком, валандающим в саду, треплющим от нечего делать пыхтящих от зноя собак — и старающимся как-нибудь оправдать мое жестокое отсутствие.

Кажется, только родители понимали мою безумную, угрюмую страсть. Бывало, мой столь невозмутимый отец вдруг с искаженным лицом врывался ко мне в комнату с веранды, хватал сачек и кидался обратно в сад, чтоб минут десять спустя вернуться с продолжительным тонким стоном на «Аааа» — упустил дивного эль-альбума! Потому-ли, что «чистая наука» только томит или смешит интеллигентного обывателя, но, исключив родителей, вспоминаю по отношению к моим бабочкам только непонимание, раздражение и глум. Если даже такой записной любитель природы, как Аксаков, мог в бездарнейшем «Собирании Бабочек» (приложение к студенческим «Воспоминаниям») уснастить свою благонамеренную болтовню всякими нелепицами (не знаю, был ли он более сведущ насчет всяких славянофильских чирков и язей), можно себе представить темноту рядового образованного человека в этом вопросе. До сих пор вспоминаю с беспомощной досадой, как наш сельский врач, милейший доктор Розанов, которому, как человеку ученому, я, доверчивый десятилетний мальчик, оставил на попечение драгоценные синеватые куколки редкой совки (боялся взять их с собой в заграничное путешествие), преспокойно написал мне в Биарриц, что они отлично вылупились, — но на самом деле их вероятно пожрала мышь, ибо по моем возвращении обманщик торжественно преподнес мне каких-то потертых крапивниц, почему-то обложенных ватой, которых крестьянские ребята верно наловили ему в его же саду. Мне рано открылось и другое обстоятельство, а именно то, что энтомолог, смиренно занимающийся своим делом, непременно возбуждает что-то странное в своих ближних. Бывало, собираемся на пикник с кузенами, и я, памятуя, что рядом с избранной рощей есть замечательный заповедничек, тихо, никому не мешая, но уже чувствуя, что действую домашним на нервы, заранее несую свои скромные принадлежности в шарабан, отдающий дегтем, или красный автомобиль, отдающий чаем (так пах бензин в 1910 году), и какая-нибудь пожилая родственница или чужая гувернантка с усами говорит: «*Vraiment, Volodya*, оставил бы сетку дома хоть этот раз.

Ведь будете играть в каш-каш и казаки-разбойники — при чем тут бабочки? Неужели тебе нравится портить всем удовольствие?» У придорожного знака «*NACH BODENLAUBE*» в Бад Киссингене (Бавария), только-что я догнал вышедших на прогулку отца и монументального бледнолицего Муромцева, недавнего председателя Первой Думы, как он обратил ко мне свою мраморную голову и важно проговорил: «Смотри, мальчик, только не гоняться за бабочками: это портит ритм прогулки». На тесной от душистых кустов тропинке, спускавшейся из Гаспры (Крым) к морю, ранней весной 1918 года, какой-то большевицкий часовой, колченогий дурень с серьгой в одном ухе, хотел меня арестовать за то, что, дескать, сигнализирую сачком английским судам. Летом 1929 года, когда я собирал бабочек в Восточных Пиренеях, не было кажется случая, чтобы, шагая с сачком через деревушку, я оглянулся и не увидел каменеющих по мере моего прохождения поселян, точно я был Содом, а они жены Лота. Еще через десять лет, в Приморских Альпах, я однажды заметил, как за мной извилисто-тихо, по-змеиному, зыблется трава, и, пойдя назад, наступил на жирного полевого жандарма, который полз на животе, уверенный, что я незаконно ловлю птиц для продажи. Америка выказала пожалуй еще больше нездорового интереса по отношению ко мне. Угрюмые фермеры молчаливым жестом указывали мне на надпись «Удить воспрещается»; из проносившихся по шоссе автомобилями доносился издевательский рев; сонные собаки, равнодушные к зловоннейшему бродяге, настораживались и, рыча, шли на меня; малютки надрывно спрашивали — что же это такое? у своих озадаченных мам; старые опытные туристы хотели знать, не рыболов ли я, собирающий кузнечиков для насадки; журнал «Лайф» звонил, спрашивая, не хочу ли быть снятым в красках, преследующим популярных бабочек, с популярным объяснительным текстом; и однажды, в пустыне, где-то в Новой Мексике, среди высоких юкк в лилейном цвету и натуженных кактусов, за мною шла в продолжении двух-трех миль огромная воронья кобыла.

4

Когда, отряхнув погоню, я сворачивал с рыхлой красной дороги в парк, чтобы добраться через него до полей и леса, оживление и блеск молодого лета были как трепет сочувствия ко мне со стороны единой природы. Тут весной, высоко и слабо, между елок вился шелковисто-лазоревый аргиол; едва заметный, темный, на зеленой подкладке, хвостатик посещал цветущую чернику; мчалась через прогалины белая, с оранжевыми кончиками, аврора; теперь же, в июне, тихо порхала, где тень и трава, вдоль троп и у мостиков, черная со ржавчиной эребия, появлявшаяся с таинственным постоянством только каждый второй год; и тут же грелась, раскрывшись, на листьях молодых осин, красно-черная, испещренная мелом, евфидриада. Вот сложилась полупрозрачная, в графитных жилках, боярышница, присевшая на расцветший от одного взгляда памяти, придорожный репейник, и с него же снялись, стрельнув вверх один за другим, два самца червонной лицины: выше и выше поднимаются они, дерясь, а затем победитель возвращается на свой цветок, где уже боярышницу сменила резвая, рыжая, изумрудно-перламутровая с исподу, аглая. Всё это были обыкновенные насекомые, но всякую минуту могло перебить стук сердца появление чего-нибудь, давно мечтавшегося, необычайного. Помню, как однажды я заметил на веточке у калитки парка имевшуюся у меня только в купленных экземплярах, драгоценнейшую, темно-коричневую, украшенную тонким, белым зигзагом с изнанки, тэклу. Ее наблюдали в губернии лишь раз до меня, и вообще это была прелестная редкость. Я замер. Ударить по ней мне было не с руки, — она сидела у самого моего правого плеча, и я с бесконечными предосторожностями стал переводить сачок за спиной из одной руки в другую; тэкла между тем ждала с хитреньким выражением крыльев: они были плотно сжаты, и нижние, снабженные усикообразными хвостиками, терлись друг о дружку дискообразным движением — быть может производя стрепет, слишком высокий по тону, чтобы человек мог его уловить. Наконец,

с размаху, я свистнул по ней ракеткой. Мы все слышали стон теннисиста, когда, на краю победы промазав легкий мяч, он в ужасной муке вытягивается на цыпочках, откинув голову и приложив ладонь ко лбу. Мы все видали лицо знаменитого гресмейстера, вдруг подставившего ферзя местному любителю, Борису Исидоровичу Шаху. Но никто не присутствовал при том, как я вытряхивал веточку из сетки и глядел на дырку в кисее.

5

Утреннюю неудачу иногда возмещала ловля в сумерки или ночью. На крайней дорожке парка, лиловизна сирени, перед которой я стоял в ожидании бражников, переходила в рыхлую пепельность по мере медленного угасания дня, и молоком разливался туман по полям, и молодая луна цвета Ю висела в акварельном небе цвета В. Во многих садах этак стаивал я впоследствии — в Афинах, Антибах, Атланте, Лос-Ангелесе, — но никогда, никогда не изнывал я от таких колдовских чувств, как тогда, перед той сереющей сиренью. И вот начиналось: ровное гудение переходило от цветка к цветку, и мерцающим призраком повисал розово-оливковый сфинкс, как колибри, перед венчиком, который он с воздуха пытал длинным хоботком. Его красавица-гусеница, миниатюрная кобра с очковыми пятнами на передних сегментах, которые она умела забавно раздувать, водилась в августе в сырых местах, на высоких розовых цветах царского-чая (эпилобия). Так всякое время дня и года отличалось другим очарованием. В угрюмые ночи, поздней осенью, под ледяным дождем, я ловил ночниц на приманку, вымазав стволы в саду душистой смесью патоки, пива и рома: среди мокрого черного мрака мой фонарь театрально освещал липко-блестящие трещины в дубовой коре, где, по три-четыре на каждый ствол, сказочно-прекрасные катокалы впитывали пьяную сладость коры, нервно подняв, как дневные бабочки, крупные полуоткрытые крылья и показывая невероятный, с черной перевязью и белой

оборкой, ярко-малиновый атлас задних из под лишаеватых передних. «Катокала адультера!» восторженно орал я по направлению освещенного окна и спотыкаясь бежал в дом показывать отцу улов.

6

Парк, отделявший усадьбу от полей и лесов, был дик и дремуч в приречной своей части. Туда заходили лоси, что менее сердило нашего сторожа Ивана, степенного, широкоплечего старика с окладистой бородой, чем беззаконное внедрение случайных дачников. Были и прямые тропинки и вьющиеся, и всё это переплеталось, как в лабиринте. Еще в первые годы изгнания, моя мать и я могли без труда обойти весь парк, и старую и новую его часть, по памяти, но теперь замечаю, что Мнемозина начинает плутать и растерянно останавливается в тумане, где там и сям, как на старинных картах, виднеются дымчатые, таинственные пробелы: терра инкогнита.

В некошеных полях за парком воздух переливался бабочками среди чудного обилья ромашек, скабиоз, колокольчиков, — всё это скользит у меня сейчас цветным маревом перед глазами, как те пролетающие мимо широких окон вагона-ресторана, бесконечно обольстительные луга, которых никогда не обследовать пленному пассажиру. А за полями поднимался, как темная стена, лес. Часами блуждая по трущобе, я любил выискивать мелких пядениц, принадлежащих к роду «евпитеция»: эти нежные ночные существа, размером с ноготок, днем плотно прикладываются к древесной коре, распластав бледные крыльца и приподняв крохотное брюшко. Видов их описано огромное количество, и если природа подтушевела этих бабочек под сероватые поверхности (точно обособив, впрочем, узорную ливрею каждого вида), зато их гусенички, живущие на низких растениях, окрашены в яркие тона цветочных лепестков. Медленно кружась, в солнечной зелени, осматривая со всех сторон ствол за стволом, — о, как я мечтал в те годы открыть новый вид евпитеции! Мое пестрое воображение,

как бы заискивая передо мной и потворствуя ребенку (а на самом деле, где-то за сценой, в заговорческой тиши, тщательно готовя распределение событий моего далекого будущего), преподносило мне призрачные выписки мелким шрифтом: «Единственный известный экземпляр *Eupithecia petropolitana* был взят русским школьником (или «молодым собирателем...» или еще лучше «автором...») в Царскосельском уезде Петербургской губернии, в 1912 г.. 1913 г.. 1914 г..»

А затем наступило одно беспокойное июньское утро, когда я почувствовал потребность хорошенько исследовать обширную болотистую местность, простиравшуюся за Оредежью. Пройдя пять-шесть верст вдоль реки, я наконец перешел ее по узкому, упруго-досчатому мостику; оттуда видать было избенки по ближнему песчаному скату, черемуху, желтые бревна на зеленом берегу и красочные пятна одежд, скинутых деревенскими девченками, которые, блестя и белеясь в мелкой воде, кричали, окунались, плескались, столь же мало заботясь о прохожем как если бы он был моим нынешним бесплотным посланцем.

На противоположном низком берегу, где начиналась арктика, густое сборище мелких бабочек, состоявшее главным образом из самцов голубянок, пьянствовало на черной грязи, жирно растоптанной и унавоженной коровами, и весь лазоревый рой поднялся на воздух из под моих ног, и, померцав, снова опустился по моем прохождении.

Продравшись сквозь растрепанный, низкорослый сосняк, я достиг моего мохового, седого и рыжеватого рая. Не успел слух уловить характерный зуд двукрылых, кочковое чмокание, приглушенный крик дупеля, как я был уже окружен теми поллярными бабочками, которых знал только по научным описаниям, ибо всякие шметтерлингбухи с картинками для средне-европейских простаков, если вообще упоминали эти северные редкости, не считали нужным их иллюстрировать, — «потому что рядовой любитель вряд ли когда-либо на них набредет», — фраза, которая меня бесит и в пошлых ботанических атласах в применении к редким растениям. Теперь же я видел их не

только воочию, не только вживе, а в естественном гармоническом взаимоотношении с их родимой средой. Мне кажется, что это острое и чем-то приятно волнующее ощущение экологического единства, столь хорошо знакомое современным натуралистам, есть новое, или по крайней мере по-новому осознанное чувство, — и что только тут, по этой линии, пародоксально намечается возможность связать в синтез идею личности и идею общности.

Над кустиками голубики, как-то через зрение вяжущей рот матовостью своих дремных ягод; над карим блеском до боли холодных мочажек, куда вдруг погружалась нога; над мхом и валежником; над дивными, одиноко праздничными, стоящими как свечи, ночными фиалками, темно-коричневая с лиловизной болория скользила низким полетом, проносила гонобоблевая желтянка, отороченная черным и розовым, порхали между корявыми сосенками великолепные смуглые сатириды-эниесы. Едва замечая уколы комаров, которые как паусной икрой вдруг покрывали голую по локоть руку, я становился на одно колено, чтобы с мычанием сладчайшего удовлетворения сжать двумя пальцами сквозь кисею сачка трепетную грудку синей, с серебрянными точками с исподу, диковинки и любовно высвободить сверкающего маленького мертвеца из складок сетки — даже на нее садились обезумевшие от моей близости комары. Мои пальцы пахли бабочками — ванилью, лимоном, мускусом, — ноги промокли до пахов, губы запеклись, колотилось сердце, но я всё шел да шел, держа наготове сачок. Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами — лупином, аквилеией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной; вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега *Longs Peak*.

Далеко я забрел, — однако бывшее у меня всё под боком, и частица грядущего тоже со мной. В цветущих зарослях ари-

зонских каньонов, высоко на рудоносных склонах Сан-Мигуэльских Гор, на озерах Тетонского урочища, и во многих других суровых и прекрасных местностях, где все тропы и яруги мне знакомы, каждое лето летают и будут летать мною открытые, мною описанные виды и подвиды. «Именем моим названа» — нет, не река, а бабочка в Аляске, другая в Бразилии, третья в Ютахе, где я взял ее высоко в горах, на окне лыжной гостиницы — та *Eupithesia nabokovi* McDunnough, которая таинственно завершает тематическую серию, начавшуюся в петербургском лесу. Признаюсь, я не верю в мимолетность времени — легкого, плавного, персидского времени! Этот волшебный ковер я научился так складывать, чтобы один узор приходился на другой. Споткнется или нет дорогой посетитель, это его дело. И высшее для меня наслаждение — вне дьявольского времени, но очень даже внутри божественного пространства — это наудачу выбранный пейзаж, всё равно в какой полосе, тундровой или полярной, или даже среди остатков какого-нибудь старого сосняка у железной дороги между мертвыми в этом контексте Олбани и Скенектади (там у меня летает один из любимейших моих крестников, мой голубой *samuelis*) — словом, любой уголок земли, где я могу быть в обществе бабочек и кормовых их растений. Вот это — блаженство, и за блаженством этим есть нечто, совсем поддающееся определению. Это вроде какой-то мгновенной физической пустоты, куда устремляется, чтобы заполнить ее, всё, что я люблю в мире. Это вроде мгновенного трепета удивления и благодарности, обращенной, как говорится в американских официальных рекомендациях, *to whom it may concern* — не знаю, к кому и к чему — гениальному ли контрапункту человеческой судьбы или благосклонным духам, балующим земного счастливец.

В. Набоков

З. Н. ГИППИУС

Твои стихи поют, как звучный
В лесу стремящийся ручей.
С ним незабудки неразлучны
И тени зыбкие ветвей.
Порой, при месяце, глядится
В него косматый лесовик,
И в нем давно купать копытца
Чертенок маленький привык.
Однажды в год, в святой Сочельник,
Сияет Ангел надо льдом,
И скачут зайцы через ельник
Испуганы живым лучом.
Не всем, быть может, внятен ропот
В лесу звенящих тихих струй:
Их заглушает жизни топот,
Крик битвы, страстный поцелуй.
Но в вечных далях не устанет
Земля чертить круги орбит,
И много песен в бездну канет,
И много шумов отзвучит.
И новым людям в жизни новой,
Как нынче, ясен и певуч,
Всё будет петь за мглой еловой
Твоих стихов бессмертный ключ!
И будет лесовик, как прежде,
Глядеться в зеркале его,
И Ангел в пламенной одежде
Над ним сиять под Рождество!

Декабрь 1908 г.

Валерий Брюсов

Это стихотворение В. Я. Брюсова, как и ниже печатаемые стихи З. Н. Гиппиус, присланы нам В. А. Злобиным из архива Гиппиус. Все эти стихи печатаются впервые. РЕД.

**
*

Снега деревенского простор,
По сугробам синим козы стёжки
На горе большой крестьянский двор,
Желтым светом светятся окошки.

Выбираю крайнее окно,
По сугробам пробираюсь ближе...
Будто бы — ты ждешь меня давно
И сейчас в окне тебя увижу.

Будто бы — я к нам войду домой
В запахе сосны, мороза, тёса, —
И с улыбкой ты на голос мой
Быстро встанешь, бросив папиросу.

Недоверчивый залаял пёс...
Вечер. Лес. Пустынная дорога.
Близко-близко до морозных звезд.
Далеко до твоего порога.

О С Е Н Ь

Мир прозрачен, солнечен, пуст,
Ни надежды в нем ни тревоги.
В красных ягодах голый куст,
Бурый лист завитком на дороге.

Теплый камень и блески в нем,
А на камне — плоская муха.
Вот и мы — так же тесно льнем
К блескам памяти зябким ухом.

За углом холодная тень,
В ней легко голубеет иней...
И недолог осенний день
Тихий-тихий и синий-синий.

**

Метелью веяло в бору,
Шипело снегом в мокрой чаще;
Стволы, как чернь по серебру,
Сквозили в белизне летящей.
И мне казалось — я плыву,
Я на плоту, скользющем шатко,
А лес летит не наяву —
Кружится в обмороке сладком...
Но обернулась — а за мной,
В часовне, снегом занесенной,
Темнел недвижной тишиной
Алтарь с лазоревой Мадонной.
Пока вокруг метель мела
И светлый снег кипел бушуя,
Она стояла и ждала —
Нет, не меня, совсем чужую,
Меня уже нигде не ждут, —
Но, словно белке, лани, птице,
Чтоб отдохнуть, остановиться,
Она и мне дала приют.

Лидия Алексеева

ЗВЕЗДОУБИЙЦА

Все, что бывает — не исчезает
Пусть миновало — но не прошло...
 Лунное небо тайны не знает.
 Лунное небо праздно светло.
Все, что мелькнуло — новым вернется.
Осень сегодня — завтра весна...
 Звездоубийца с неба смеется,
 Звездоубийца — злая луна!
В явь превращу я волей моею
Все, что мерцает в тающем сне.
Сердцу ль не верить? Я ль не посмею?
 Только не надо верить луне...

ПОЛИКСЕНЕ СОЛОВЬЕВОЙ

Довольно! Земного с созвездий не видно!
 Витать в межпланетных пространствах мне стыдно.
 Земля — в содроганьях, в грязи и в крови,
 А мы распеваем о вешней любви.
 Довольно! Разбейся лукавая лира!
 Довольно! Бериллы — в окне ювелира,
 Из лука мальчишки стреляют ворон,
 А девы — на Невском. На бойне — овен.
 Ведь топчут сейчас где-то первую травку,
 Ведь мылят сейчас для кого-то удавку,
 Ведь кто-то сидит над предсмертным письмом,
 А мы о любви небывалой поем.
 О робких балконах, о каплях дождевых,
 О сладких мечтаньях, бессильно-безгневных.
 Довольно! Иду...
 Нет, стары мы духом и слабы мы телом,
 И людям не можем, ни словом, ни делом
 Помочь разорвать их проклятую сеть...
 Нам страшно во имя любви умереть.

1906 г.

ПЕРЕДАТЬ —

Игорю Северянину

Я вижу, Игорь Северянин
 Тремя морями сразу ранен.
 Зане —
 Он грезит Балтикой на Черном бреге
 И поэтические шлет побег
 Сюда, ко мне,
 На Mediterrannée
 Ну что ж, скажите — я благодарю,
 Хотя морями вовсе не горю.
 Когда над средиземной простынею

Жужжу, ветрюсь на гидроплане —
 И то я занят думою одною —
 О Ледовитом океане.
 Там шурится морская кошка,
 Сполохи яркие висят,
 А утром встать — немножко дрожко:
 На утро в юрте 50.
 Там вешний день криклив и хмурен,
 Там льдист апрель, июнь обурен,
 И наст бесталый, вековой
 Звенит под летнею травой.
 Голятся гуси в смертной сетке,
 Дощатые неверны ветки,
 Постель из хвой, сырой урас
 Средь мги, на шкурной растопырке,
 Ночного солнца белый глаз,
 Седые воды Индигирки...
 О, мокротяжкие плащи тумана
 О, стужное кипенье океана!

Апрель, 1913. Ментона

СОН (СОВЕТСКИЙ)

Комната, окна в какой-то сад.
 В комнате гости. А день так светел.
 Я улыбаюсь, гостям я рад.
 Странное в них не сразу заметил...
 Что это? Как? Они без лиц!
 Дрымза — плюмс — и цуц и цыц!

 Сверху у этих — вот тебе раз!
 Гладкое, тельное что-то круглится.
 Нету на гладком ни ртов, ни глаз.
 Это — что хочешь, только не лица!
 Ни единого лица!
 Дрынди — брынди — гоп — ца-ца!

Каждый телесным своим пятном
 Розовым, желтым, ворочал мило.
 Это казалось сначала смешно...
 Ну, а потом — меня затошнило.

Хоть кусочек бы лица!
 Дристи — брости, гоп ца-ца!

Вдруг я увидел, что черный кот
 Тихо скользит меж толпы, у двери,
 Щурит глаза, раскрывает рот...

О, как я жадно бросился к зверю
 И целую в уста —
 Есть лицо — хоть у кота!

1918 г.

З. Гиппиус

С Ж И Г А Я Ч Е Р Н О В И К И

Из перечеркнутых слов
 Я разобрал едва:
 «Истлеет пусть листок —
 Останутся слова».

Был стих позабыт совсем,
 И сколько ни вспоминал,
 Я вспомнить не мог, зачем
 И где я это сказал.

По-детски был честен слог
 И мысль была не нова:
 «Истлеет пусть листок —
 Останутся слова».

Но внял я строкам своим,
 Возникшим как бы извне,
 И вдруг подчинился им,
 Не дал им гореть в огне,

Покуда трижды не смог
 Зарифмовать сперва:
 «Истлеет пусть листок —
 Останутся слова».

**

Гроза прошла, и — хорошо в полях!
Цветет гречиха, колосится жито.
Две радуги стоят на небесах.
Но в чумаками вытоптанный шлях
Следы от танка вдавлены, как вбиты.

Сутулый дед из ближнего села
По ровному шагает словно в гору.
Намокла свитка, дума тяжела,
А передача в сверточке мала,
И двадцать верст еще до прокурора.

Сияют семицветные мосты,
Но тихо шепчет дед, глядя на поле,
На гулких пчел, на мокрые цветы:
«О, рідна земле, скільки туги й болю
Повинен мати хліб, що родиш ти!»

**

Звезда на небе. Сколько слез и слов,
И сколько клятв, и сколько междометий,
Сердец и чувств! В течение столетий!
И сколько рифм, и сколько строк и строф!

Но и к умам ей путь открыт и прост:
Волхвы за нею шли благоговейно,
Шли мореходы... Даже и Эйнштейну
Не обойтись без неподвижных звезд.

Да, выбрать тему так, что навсегда б
Пленен был всякий — цезарь или раб,
Герой иль трус, отшельник иль безбожник,

Свой замысел на полотне ночном
Осуществить единственным пятном —
Какой бы здесь не отступил художник!



По тревоге, на весну похожей,
По совсем охотничьему зренью,
По удачам, по гусиной коже
Я тебя узнаю, вдохновенье!

.....
.....

Дым клубился. Строчка остывала,
Покрываясь коркой. Из глубин —
Прежде звездных — небо рассветало.
Вечер был и утро: день один.

Николай Моршен

1

Дни считать напрасный труд:
Дни бегут.
Года летят.

Топят на пруду котят,
Глубока в пруду вода.
Хоть топиться не хотят,
Как уж не утонешь тут?

И кошачья беда,
Намяукавшись в эфире,
В милосердном этом мире
Исчезает без следа.

Разве что блеснет звезда
Шпагою, скользотой льда,
Узким лезвием секиры
Над безмолвием пруда.

Мне ж до Страшного Суда
(Если будет Страшный Суд)
Погрешить еще дадут.

2

Золотой Люксембургский сад,
Силлабически листья шуршат.
Мы идем и по нашему следу
Удлиняясь тени идут
И шуршащей листвой беседу
Шопотком золотистым ведут:

— Это ветра вчерашнего эхо,
Это эхо счастливого смеха —
Тем, что завтра ты будешь смеяться,
Не хочу я с тобой расставаться.
За мои непроглядные ночи...
За твои ненаглядные очи...
— У теней нет очей и ночей
Тень, как воздух, как дым, как ручей —
Тень отчаянья, тень свечей...
Я устала быть тенью ничьей,
Ах, устала, устала я очень,
Этот мир так порочно-непрочен...

Бьют часы с расстановкою — семь
Потемнело. Пусто совсем...

Золотой, золотой листопад...
Силлабически листья шуршат...
— До свиданья. Пора домой.
В светлый дом где пылают печки,
Где томительно-душный покой
Перемешан с гитарной тоской,
Ну, совсем как... (подать рукой)
На цыганской, на Черной речке.

3

В этом мире слезами воспетом
С каждым звуком и каждым предметом
Ощущаю я братство-сестричество,
Неразрывное с жизнью родство.
Но не знаю сама отчего
Мне роднее всего электричество —
Хоть и странно сознаться мне в этом.

Я одна по аллее иду
В черном, пышном, приморском саду.
Искрометно, как смех истерический
Рассыпается свет электрический,
Лиловея, как роза на льду...

Нет, пожалуй еще лиловей:
Как над розой поет соловей.

4

Еще один окончен день
Ненужный и неповторимый.
Магически, как в сказках Гримма,
Прозрачная ложится тень
На этой жизни дребедень.

И выплывая, как ладья,
Луна поет на низкой ноте:
— А вот и вечер. Вот и я
Вот будет ночь —
И вы уснете...

Ирина Одоевцева

Июль-октябрь 1953 г.

ЦВЕТАЕВА И ЕЕ ПРОЗА

«А в общем: простите, Христа ради,
за то, что я — поэт».

Марина Цветаева

«Проза» Марины Цветаевой¹ — событие не только эмигрантской, но русской литературы. Это не преувеличение. Ее книга действительно прекрасна и нужна в дни культурного оскудения русской литературы. Она оскудела по обе стороны рубежа. В своей блестящей статье «После Бунина» (в предыдущей книге «Нового Журнала») Н. Ульянов указал на наступление в советской литературе ледникового периода. Вероятно, того же мнения держится и М. Алданов. В его последней книге «Ульмская ночь» он обронил о советской литературе жесткую, но верную фразу: «Советская литература за редкими исключениями элементарна до отвращения». Но Ульянов обошел одно, на мой взгляд бесспорное и интересное доказательство пришествия этих ледников. Это — *уничтожение стиля*.

Вместе со всякими бесчисленными уничтожениями, — начиная с классических «помещиков и капиталистов, кулаков и подкулачников, троцкистов и бухаринцев» и т. д. — в СССР за последние годы как бы мимоходом уничтожен и индивидуальный стиль писателя. Это уничтожение произошло в расцвет так называемого социалистического реализма. Если взять литературу времен НЭП-а, вы найдете в ней органически присущую всякой литературе стилевую разнообразность произведений. Для того, чтобы узнать прозу Пильняка или Всеволода Иванова, Леонова или Олеси тогда вовсе не требовалось авторской подписи. Их проза сама — живая — говорила от их имени. Но с времен пресловутого соц-реализма, вместе с одинаковостью тем (и некоторой разностью их вариаций) личный

¹ Марина Цветаева. Проза. Предисловие Ф. Степуна. Изд-во Имени Чехова. Н. И. 1953 (410 стр.).

писательский стиль исчез. А это равносильно исчезновению писателя как такового и литературы как таковой. Соц-реализм ввел в советскую литературу некий «общафадеевский стиль» (вернее «штиль»). И для того, чтобы отличить Леонова от Фадеева и Фадеева от Леонова теперь действительно нужна жирным корпусом наоранная авторская подпись.

В такое время превращения русских писателей в неживые фигуры какого-то кремлевского паноптикума высокое наслаждение раскрыть «Прозу» Марины Цветаевой. И вместо неминуемого коммуниста, повышающего темпы строительства, гнилого интеллигента-предателя, вредящего этой стройке, и нескольких комсомольцев, бодро шагающих за гением сначала Сталина, а потом Маленкова, вместо всего этого, — прочесть хотя бы страницы Цветаевой о том, как она, девочка, учится музыке.

«Но клавиши я — любила: за черноту и белизну (чуть желтизну!) за черноту, такую явно — за белизну (чуть желтизну!), такую тайно-грустную, за то, что одни широкие, а другие узкие (обиженные!), за то, что по ним, не сдвигаясь с места, можно как по лестнице, что эта лестница — из под рук! — и что от этой лестницы сразу ледяные ручьи — ледяные лестницы ручьев вдоль спины — и жар в глазах — тот самый жар в долине Дагестана из Андриюшиной хрестоматии. И за то, что белые, при нажмие, явно веселые, а черные — сразу грустные *верно* — грустные, настолько *верно*, что если нажму — точно себе на глаза нажму, сразу выжму из глаз — слезы. И за самый нажим: за возможность, только нажав, сразу начать тонуть и пока не отпустишь, тонуть без конца, без дна — и даже когда отпустишь! За то, что с виду гладь, а под гладью — глубь, как в воде, как в Оке, но глаже и глубже Оки, за то, что под рукой — пропасть, за то, что эта пропасть — из-под рук, за то, что с места не сходя — падаешь вечно. За вероломство этой клавишной глади, готовой раздаться при первом прикосновении — и поглотить. За страсть — нажать, за страх — нажать: нажав разбудить — всё».

В выходе этой книги есть и посильное отмщение убийцам большого русского писателя. В 38-м году Марина Цветаева вернулась из Франции в Россию. В 41-м она — нищая, голодная, лишенная возможности писать — просила путёвку в дом отдыха для писателей. Путёвку ей дали. Но при условии, что она будет там работать как уборщица. Цветаева поехала, и в первые же дни в доме отдыха для писателей — повесилась.

«Гуль, я не люблю земной жизни, никогда ее не любила,

в особенности — людей. Я люблю небо и ангелов: там и с ними бы я умела». Так 31 год тому назад писала из Чехословакии Марина Цветаева. Я понимаю, что у матерого соц-реалиста это признание Цветаевой об ангелах может вызвать взрыв неудержимого смеха. Но этот «смех» и «суд» давно получили в русской поэзии свой ярлык: «смех толпы» и «суд глупца». Покойная Цветаева этот «смехо-суд» прекрасно знала и в своей книге отвечает на него: — «Судить о художнике могут — так по крайней мере принято думать и делать — все. Судить художника — утверждаю — только художникам... Только им да Богу известно, что это значит: творить мир тот в — мирах сих». И говоря о «затравленности» Андрея Белого (а Цветаеву тоже травили с самых неожиданных сторон и с самых разных политических берегов!), Цветаева пишет: — «...передо мной был затравленный человек. Затравленность и умученность ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас, если только перед нами — не свой: негр, дикий зверь, марсианин, поэт... Не свой рожден затравленным».

А поэт — такой поэт, каким была и есть Цветаева — конечно, не свой, потому что Цветаева была не только большим поэтом, но — *только поэтом!* Что в некотором переводе значит — не стихотворцем, не версификатором, не стихослагателем, а *поэтом*. Искусство вкладывалось во всю ее жизнь, без остатка, как скрипка в футляр.

Для Цветаевой искусство, как дело жизни поэта, было *свято*. Свято по-настоящему. «Поэт — эмигрант Царства Небесного». Жизни вне искусства у нее просто не было. Я слышал, что один известный философ умел в себе сочетать и удачного дельца и тонкого мыслителя. Часть дня он посвящал коммерческим операциям, а другую — Достоевскому, Ницше, христианству, язычеству, проблемам вечности и гроба. Я знал поэтов, т. е. не поэтов, а людей пишущих стихи, которые «в основном» занимались продажей картин, квартир и даже породистых собак, а между делом «отдавались музе». В этом нет ничего предосудительного. Но это просто не тот жизненный путь. Для Цветаевой всякое соединение «чего бы то ни было» с искусством было исключено. Этого *в ней* не могло быть. «Всё что я умею, это писать стихи и варить обед (плохой)», говаривала она. И вся ее жизнь — обреченная, роковая, трагическая — билась только в искусстве. При чем звание поэта она несла (здесь опять «судьи» могут прыснуть со смеха, но это именно так) как данное ей Богом.

«Искусство *свято*... — писала Цветаева. — О святости искусства у атеиста речи быть не может, он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого — Бог — грех — святость — есть». И с этой высокой высоты Цветаева как-то обронила об Эренбурге: «циник не может быть поэтом». Конечно, это формула не только для Эренбурга.

В вышедшей книге Цветаевой десять прозаических произведений. Три автобиографических отрывка — «Мой Пушкин», «Мать и музыка», «Открытие музея»; московские записи времен революции «Мои службы»; четыре портрета поэтов — Волошина, Брюсова, Кузмина, Белого; статья о поэзии Пастернака (вернее, апология этой поэзии); и одна теоретическая статья об искусстве. Сборник не увидел бы света, если бы не подвижническая работа друга М. И. Цветаевой — Ек. Еленевой. Еленева собрала почти всё, что было написано Цветаевой (и о Цветаевой) в эмиграции². Благодаря этому труду Цветаева, может быть, не пропадет для будущего русской литературы. А в русской современной и будущей литературе она нужна, как бы к Цветаевой ни относиться — любить ее или не любить.

Говоря о творчестве Цветаевой необходимо поставить ударение на его современности. Но, конечно, не на современности тем, в смысле животрепещущих событий дня. Наоборот. Цветаева была сравнительно далека от треволнений дня, от его хроники. «Газеты — нечисть, и вся моя ненависть к ним». Цветаева была современна в своем мастерстве, трудном, сложном и не для ширпотреба. Даже Бальмонт, не боявшийся никаких невозможностей, укоризненно-восхищенно говорил Цветаевой: — «Марина, ты требуешь от стихов того, что может дать только музыка». Но этой *всей* музыкальности Цветаева требовала не только от стихов, но и от прозы. Поэтому, читая

² Большим вкладом в русскую литературу было бы издание *всей* прозы М. Цветаевой, а также ее стихотворений. Последняя книга стихов Цветаевой, «После России», вышедшая в 1928 г., включает только стихи 1922-25 гг., тогда как лучшие вещи были написаны Цветаевой позднее. Неизданными остаются поэмы, драматические вещи, трагедии и множество прекрасных стихотворений. Хотелось бы надеяться, что изд-во имени Чехова не пройдет мимо этого исключительного мастера русского слова и в своей программе найдет место для М. Цветаевой. — Р. Г.

ее, читатель никогда не почувствует, что он вступил в душевный разговор с автором, что вполне закономерно и естественно в отношении множества великих и малых прозаиков. Он только может увидеть и услышать Цветаеву как изумительного композитора и дирижера с необычайным искусством ведущего симфонический оркестр своей прозы. Чтобы оценить и полюбить эту музыкальную прозу, к ней надо подходить не так, как подходят к прозе Чехова и Толстого.

Совершенно естественно, что у некоторой части читателей, любящих психологическую, описательную или натуралистическую литературу, проза (и стихи) Цветаевой вызовут раздраженное непонимание и отталкивание. Вспомним, что и от Пушкина у современников «сводило скулы». Я не равняю, конечно, Цветаеву и Пушкина, против чего первой восстала бы Цветаева, боготворившая Пушкина. Я говорю только о «заcone отталкивания» современников от современного искусства.

Только недавно в одном эмигрантском журнале я прочел именно такой «современный» отзыв о Цветаевой (я бы сказал, соц-реалистический навыворот). В нем автор для творчества большой русской поэтессы не нашел другой оценки, как «излом и вывих» и для вящей убедительности провел параллель с какой-то девицей по-матросски «крывшей» с эстрады. Разумеется, Цветаевой этот отзыв не коснется. Но о литературном уровне он говорит много.

Искусство прозы Цветаевой можно было бы назвать словесным ваянием. Цветаева необычайно чувствовала все элементы слова — и его звучание, и цвет, но в особенности весомость слова, как она любила говорить. Именно поэтому Цветаева так любила словесную архаику. В соединении этой весомости и звучания — вся оркестровка ее бурной ритмической прозы, иногда похожей на какие-то заклятья, проклятья, словословия. И в то же время — несмотря на крайнюю пристрастность именно к ритмам, принося им все великие жертвы — проза Цветаевой никогда не была ими убита, то-есть, превращена в оголенность механической ритмики, как это бывало у Андрея Белого, особенно в его поздней прозе. И цвет, и звук, и скульптурность, весомость слова, всё находит своеобразную меру даже в цветаевской безмерности, не уничтожая друг друга.

По своей «влюбленности в ритмы» Андрей Белый и Цветаева, конечно, родственны. Когда в Берлине Белый прочел книгу ее стихов «После разлуки», он отозвался так: «У меня от нее физическое сердцебиение». И в стихотворении, посвя-

шенном Цветаевой, писал о ее «малиновых мелодиях и непобедимых ритмах». Но при этой общей любви к ритму Цветаева и Белый глубоко различны. В Белом всегда, в корне, была дисгармония. Цветаева вне дисгармонии. Цветаева внутренне пушкински-гармонична. В ущерб другим элементам слова многие вещи Белого уходят в чистую звукопись. Как пример этой механически-мертвенной прозы, где ничего уже не осталось кроме ритмов и голой звукописи можно взять многие отрывки хотя бы из «Котика Летаева». Вот повторяющееся «р»: — «В нас миры морей: «Матерей» и бушуют они красноярными сворами бредов». Вот перебегающее «ж»: — «Может быть, еще ждет. Жутко и чутко: жужжат рукомытники; отжужжали: иду корридормом — туда: может быть она там»; есть построения для «м», для «к», для «л», почти для всего алфавита. Звуки и ритмы, ритмы и звуки; еще шаг и мы в гостях у заумников. Недаром, писатель совершенно иной литературной стихии, Бунин, неприязненно сравнивал Белого с испорченным телефоном, из которого во все стороны летят искры: трещит без конца, а ничего не понятно.

В отличие от Белого из прозы Цветаевой никогда не уходила ее природность, ее почва. В ней всегда зоркость глаза, порой ослепительная образность и всегда острый смысл. В прозе Цветаевой нет пустот. В цветаевской фразе нет ничего неоправданного, не только лишнего слова, но — лишнего слога. Всё оправдано образностью, лепкой, музыкальной выразительностью. В смысле сохранения равновесия всех элементов этой прозы очень хорош отрывок «Открытие музея». Дело тут идет о самом настоящем открытии русского музея скульптуры в Москве, директором которого был отец Цветаевой, профессор Цветаев, и о приезде государя на это открытие.

«Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвины, ни груди без звезды. Мой брат и муж здесь единственно-молодые. Группа великих князей не в счет, ибо это именно группа: мраморный барельеф. Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон вечной юности Греции...

Бодрым, ровным, скорым шагом, с добрым радостным выражением больших голубых глаз, вот-вот готовых рассмеяться и вдруг — взгляд — прямо на меня, в мои. В секунду я эти глаза увидела: не просто голубые, а совершенно прозрачные, чистые, льдистые, совершенно детские.

Глубокий *plongeon* дам, живое и плавное опускание волны. За Государем — ни Наследника, ни Государыни нет.

Сонм белых девочек... Раз... две... четыре...
Сонм белых девочек? Да нет — в эфире
Сонм белых бабочек? Прелестный сонм
Великих маленьких княжен».

Цветаеву чаще всего упрекали в отсутствии чувства меры, в ее «безмерности». Иногда эти упреки были вполне справедливы. «Марина, ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов и всех замечательных!», говорил Волошин. Но в то же время именно в этом и лежит прелесть дара Цветаевой. Ее безмерность, стихийность, никогда не превращали ее прозаическую речь в пустоту литературной болтливости. Потому что Цветаева не просто любит слово, оно для нее — священное орудие, ценность, которую нельзя рассыпать как попало. «Я пишу для самой вещи. Вещь, путем меня, сама себя пишет». И несмотря на частую преувеличенность, неправдоподобность, баснословность ее рисунка — то ли «струнного нутра» раскрытого рояля, то ли улыбки Брюсова, то ли живота Волошина, несмотря на безудержные словословия, как например, всем неграм за то, что «дали Пушкина» — везде и всегда знаток увидит в прозе Цветаевой ее поразительную речевую меткость. И будет одарен обилием неожиданных и радостных подарков. Чего стоит одна «хриstopляска» А. Белого.

Преувеличенность, баснословность рисунка — законные черты в изобразительном даре Цветаевой. Они естественно рождены, как из ее общего мироощущения, так и из исповедания ею некой заповеди мифотворчества. А так как искусство и жизнь у Цветаевой были неразрывно-слиты (она знала только «правду всего существа»), то и мифотворчество становилось не только литературным приемом, но приемом видения мира.

Когда во времена символизма Зинаида Гиппиус произнесла свое — «Хочу того, чего нет на свете» — и этим ошеломила русскую интеллигенцию, она в сущности не сказала ничего кроме банальности. Это могло быть вызовом и нелепостью для кого угодно, но не для людей искусства. Того, чего нет на свете, ищет, хочет всякий художник. Может быть, за исключением некоторых сталинских лауреатов, которые, как мне кажется, хотят как раз обратного: «всего, что есть на свете». «Хочу» Гиппиус — неотъемлемо от природы художника. Только это «хочу» — разной напряженности. У Цветаевой оно было безмерным. «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли».

«Мифотворчество: то, — пишет Цветаева, — что быть могло и быть должно, обратно чеховщине: тому что есть, а чего, по мне, вовсе и нет. Усиление основных черт в человеке вплоть до видения... В каждом из нас живет мерило правды, только перед коей прегрешив, человек является лжецом. Мистификаторство в иных устах уже начало правды, когда же оно дорастает до мифотворчества, оно — вся правда».

И чтоб было яснее, дадим пример самого незначительного мифотворчества Макса Волошина, приведенный Цветаевой из времен ее пребывания в Коктебеле. Как сестру с братом мифотворчество роднило Цветаеву и Волошина. Это был их общий путь и метод понимания (или непонимания) жизни. «Макс сам был мифом». «Тайновидчество поэта есть прежде всего очевидчество». И вот — мифотворчество:

«Один единственный пример на живой мне. В первый же день приезда в Коктебель — о драгоценных камнях его побережья всякий знает — есть даже бухта такая: Сердоликовая — в первый день приезда в Коктебель к Максy: — М. А. как вы думаете, вы могли бы отгадать какой мой самый любимый камень на всем побережье? — И уже час спустя сама о себе слышу: — Мама! ты знаешь ты мне сказала М. И.? Найти и принести ей ее любимый камень на всем побережье! — Ну, не лучше ли так и не больше ли? Я была тот черновик, который Макс мгновенно выправил».

До чего хороши сцены общения Марины и Макса с их первого знакомства (очень странного для уравновешенного гражданина) и до их дружбы в Коктебеле, где пожар в доме Макса Марина вполне естественно пытается залить водой, но Макс неожиданно... заговаривает пожар словом. «Пожар потух. Дым откуда пришел, туда и ушел». У Цветаевой Макс — миф. Макс — тайновидец. Прекрасно сделан Цветаевой и внешний облик: — «Кстати, особенность его толщины вошедшей в поговорку. Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда — избытком жизни, как оно и было, ибо он ее легко носил (хочется сказать: она то его и носила!) и со своими семью пудами не возбуждал смеха, всегда серьезные чувства, как в женщинах — любовь, в мужчинах — дружбу, в тех и других — некий священный трепет, никогда не дававший сходиться с ним окончательно, вплотную, великий барьер божественного уважения, то-есть, божественного происхождения, данный еще и физически в виде его чудного котового живота».

Волошин, Белый, Кузмин для Цветаевой в сущности и были теми «ангелами, с которыми она бы умела». И эти «ан-

гельские» портреты Цветаева мастерской рукой перебрасывает в историю русской литературы. Мне думается, что в сравнении с документальными, но малоинтересными фотографиями, именно у этих воображаемых портретов гораздо больше данных удержаться во времени.

Портреты писателей, может быть, лучшее в этой книге. Они все хороши. Рядом с баснословной фреской Макса гораздо меньший по размаху, но тоже интересный комнатный портрет Кузмина. Глаза Кузмина идут на Цветаеву сквозь всю петербургскую метель и вьюгу, из вьюги они врываются в желтую пустыню зала, по залу они движутся на Цветаеву как «две планеты». И в этом громадном зале наконец глаза неподвижно останавливаются перед ней. «Глаза были здесь. Передо мной стоял Кузмин». И дальше портрет всего в две строки: «Глаза — и больше ничего. Глаза — и всё остальное. Этого остального было мало: почти ничего». Такому портрету может позавидовать Пикассо.

И наконец портрет Белого. Декорации — Берлин, немцы, Германия. Этот портрет особенно хорош потому, что и модель и художник в обоюдном общении, оба — «потерянные дети», нужные Цветаевой «ангелы». На Белого все «смотрели, верней: его смотрели как спектакль, сразу после занавеса бросая его одного, как огромный Императорский Театр, где остаются одни мыши». Вот они залетели куда-то в Берлине, на какую-то большую высоту, на какую-то башню. «Стоим с ним на какой-то вышке, где — не помню, только очень, очень высоко. И он сразлёту беря меня за руку, точно открывая со мной мазурку:

— Вас тянет броситься? Вот так (младенческая улыбка...) кувырнуться?

Честно отвечаю, что не только не тянет, а от одной мысли мутит.

— Ах? Как странно! А я, я оторвать своих ног не могу от пустоты! Вот так, — сгибается под прямым углом, распластывая руки... Или еще лучше (обратный изгиб, отлив волос) вот так...»

И кончается портрет Белого тем, что когда по его спешному безумному крику-письму-мольбе Цветаева в Праге устраивает ему и квартиру и стипендию, он вместо того, чтобы ехать в эту квартиру и получать эту стипендию, внезапно для всех окружающих и для себя самого уезжает... в Москву, где гибнет.

А через 25 лет за ним туда же, в Москву едет и Цветаева, чтобы там покончить самоубийством. За мифотворчество, за

жизнь ведомую мифом действительность мстит поэту страшно и неминуемо. Это рок. Рок поэта, его судьба. «Поэту всегда пора и всегда рано умирать». Для поездки в Россию Цветаева создала себе миф, который ее туда и повел. Конечно, она уехала и от своей парижской нищеты, от вечного голода, от человеческого холода, от трагически сложившейся личной жизни. Всё это так. И этого всё-таки было недостаточно поэту Цветаевой, чтобы ехать туда. Чтобы было «достаточно», Цветаева родила миф, миф России ее, поэта, если не зовущей то ждущей. Там ее будет слушать вся Россия, там она будет писать для всей России, несмотря ни на что и там ее, так же как любимого ею Макса, будут читать...

«В России мне всё за поэта прощали. Здесь мне этого поэта прощают... И еще: мои *русские* вещи при всей моей уединенности и волей не моей, а своей, рассчитаны на множества. Здесь множеств — физически нет, есть группы. Как вместо арен и трибун России — зальца, вместо этического события выступления (пусть наступления!) — литературные вечера, вместо безмянного незаменимого слушателя России — слушатель именной и даже именитый. В порядке литературы, не в ходе жизни. Не тот масштаб, не тот ответ. В России, как в степи, как на море, есть откуда и куда сказать. Если б давали говорить.

А в общем просто: здесь *та* Россия, там — вся Россия. Здешнему в искусстве современно прошлое. Россия (о России говорю, не о властях), Россия, страна ведущих, от искусства требует, чтобы оно вело, эмиграция, страна оставшихся, чтобы вместе с ней оставались, то-есть неудержимо откатывались назад. В здешнем порядке вещей *я* непорядок вещей. Там бы меня печатали — и читали, здесь меня печатают — и *не* читают». И вслед за Белым Цветаева ушла за мифом, в Россию. Так она и шла в лунном свете по карнизу, пока луна не привела ее в дом отдыха, где ее неожиданно окрикнул какой-то (вероятно очень страшный) голос. Она очнулась. Упала с карниза и... повисла в петле. Это был последний расчет жизни с мифом.

Трагический, насильственный конец Марины Цветаевой мне неестественным не представляется. Я осмеливаюсь даже сказать, что он так же естественен как выстрел Клейста, как петля Есенина, как безумие ею любимого Гёльдерлина, как смерть Гаршина. Кажется, у Андре Жида в дневнике есть запись о молодом самоубийце, застрелившемся оттого, что в жизни «все играют нечестно», а он хотел честной игры. Мо-

лодой человек не был «жильцом». И не жилища была Цветаева. Свою искусство-жизнь Цветаева играла предельно честно. Она не играла в искусство, она не умела этого, она им только жила. Если можно так сказать (вероятно, Цветаевой это понравилось бы), искусство играло ею. Глубокий и умный человек, она остро чувствовала и понимала всю тяжесть и всю последнюю ложь искусства. Эстетизм как мироощущение («эти 'крайне-индивидуальные' зубочистки эстетства») она воспринимала с враждебностью. «Лже-поэт искусство почитает за Бога и этого Бога делает сам». Скепсис и ирония ее творчеству были чужеродны. Во взгляде на искусство она иногда неожиданно готова была перекликнуться с Львом Толстым. Только никогда не могла бы пойти за ним прочь от искусства, которое несла как свою нужную обреченность, беду, как свой рок. И ответственность за это знала.

«Художественный закон нравственному прямо обратен... Художественное творчество в иных случаях некая атрофия совести, больше скажу: необходимая атрофия совести, тот нравственный изъян, без которого искусству не быть... Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник нужнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы... За исключением дармоедов во всех их разновидностях — все важнее нас. И зная это, в полном разуме и твердой памяти расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой, утверждаю, что ни на какое дело своего не променяю... Искусство — искус, может быть самый последний, самый тонкий, самый неподлимый соблазн земли... Состояние творчества есть состояние сновидения, когда ты вдруг повинуюсь неизвестной необходимости поджигаясь дом или сталкиваешь с горы приятеля...»

С этих «чортовых качелей» сновиденности Цветаева сойти не могла и не хотела. Никого не обманывая, она сравнивает искусство поэта с игрой ребенка по примете только одной безответственности того и другого. «Безответственность во всем кроме игры». Так она и играла. Это была игра в миф. Последним мифом была — Россия. Этот миф был, но где-то ведь было и предчувствие, что миф погубит. Не даром тогда же Цветаева писала: — «Всё — точки зрения. В России меня лучше поймут. Но на том свете меня еще лучше поймут чем в России. Совсем *поймут*. Меня самоё научат меня совсем понимать. Россия только предел земной понимаемости. За пределами земной понимаемости России — беспредельная понимаемость не-земли. 'Есть такая страна — Бог, Россия граничит с

ней'. Так сказал Рильке, сам тосковавший везде вне России по России, всю жизнь. С этой страной Бог — Россия по сей день граничит...».

В эту страну Цветаева и перешла через границу России, оставив на земле след своего прекрасного дара. Ценить его будет будущее.

Роман Гуть

МОЛОДОМУ ВЕКУ

Тринадцать лет! Мы так недавно
Его приветили любя.
В тринадцать лет он своенравно
И дерзко показал себя.
Вновь наступает день рожденья...
Мальчишка злой! На этот раз
Ни празднества, ни поздравленья
Не требуй и не жди от нас.
И если раньше землю смели
Огнем сражений зажигать —
Тебе ли, юному, тебе ли
Отцам и дедам подражать?
Они — не ты. Ты больше знаешь.
Тебе иное суждено.
Но в старые мехи вливаешь
Ты наше новое вино!
Ты плачешь, каешься? Ну что же!
Мир говорит тебе: «я жду».
Сойди с кровавых бездорожий
Хоть на пятнадцатом году!

17 Дек. 14 г.

З. Гиппиус

ЕЩЕ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ РОМАНЕ

М. М. Карпович в своих «Комментариях»¹ предложил мне высказаться по вопросу о судьбе исторического романа в наши дни, в частности, ответить: «можно ли обнаружить наличие таких тенденций в современной культуре, которые делали бы вероятным восстановление исторического романа в прежнем его значении». Ответ на такой вопрос представляет немалую трудность. Мысль людей нашего времени занята не заменой одних видов литературы другими, не эволюцией или воскрешением стилей, а полным исчезновением всяких стилей и всякой литературы.

«Комментарии» М. М. Карповича отделены всего сотней страниц от «Выдержек из писем» Н. А. Бердяева напечатанных в том же выпуске «Нового Журнала». А там есть строки полные тревоги за судьбу искусства. Бердяев обеспокоен не «кризисом искусства», а возможностью полного его конца. Такие предчувствия тревожат с некоторых пор весь европейский артистический мир. Семнадцать лет тому назад, в Париже, вышла замечательная и, кажется, недостаточно еще оцененная книга В. В. Вейдле «Умирание искусства», ставящая диагноз и дающая клиническую картину болезни приведшей к «умиранию» лучшего, может быть, растения европейской культуры. Погибнет ли оно в самом деле или зловещие пророчества останутся памятниками нашего душевного смятения — мы не знаем, но несомненно, на все рассуждения об искусстве ложится отныне, надвигающаяся на него смертная сень. Множество прежних страстей и споров либо вовсе отпадает, либо претерпевает известное преобразование. Тоже в области занимающего нас исторического романа. Сейчас уже трудно гадать, способен ли он после векового господства реализма, натурализма, бытового и психологического романа возродиться, как явление первого плана. Слишком значительную и «серьезную» литературу породил XIX век и слишком заслонила эта литература прежние образцы исторического романа времен Вальтер Скотта. По справедливому замечанию М. М. Карповича, они попали в категорию «книг для юношества». Взоры «серьезных» и «зрелых» читателей воспитанных на Стендале,

¹ «Новый Журнал» кн. XXXV.

Бальзаке, Диккенсе, Флобере, Мопассане, на Толстом, Достоевском, на Чехове, Гамсуне, Анат. Франсе, Марселе Прусте — редко обращаются к историческому роману старого образца.

С каким презрением относился к историческому роману Чехов, например! Для него, как и для М. М. Карповича, самыми ценными страницами «Войны и Мира» были те, что посвящены «неисторическим» героям. «Не люблю тех мест, где Наполеон! Как Наполеон, так сейчас и натяжка и всякие фокусы, чтобы доказать, что он глупее, чем был на самом деле. Всё, что делают и говорят Пьер, князь Андрей или совершенно ничтожный Николай Ростов — всё это хорошо, умно, естественно и трогательно; всё же что думает и делает Наполеон — это не естественно, не умно, надуто и ничтожно по значению».

Здесь говорит, конечно, не один только автор «Степи» и «Капитанки», создатель импрессионизма в русской литературе, но также человек, стоящий на вершине горы произведений «серьезной» литературы накопленных девятнадцатым веком. Они как бы наглухо закрыли дверь для исторического рассказа. Правда, М. Цетлин лет тридцать тому назад полагал, что от Вальтер Скотта к Мережковскому исторический роман прошел длинный путь углубления и уточнения, тем не менее трудно возражать М. М. Карповичу, когда он констатирует: «Признаков подлинного возрождения исторического романа пока еще не заметно».

Этим и исчерпывался бы весь вопрос. Но речь идет не о «возрождении» жанра, а о путях спасения литературы. Не то ли самое творчество XIX века, что отодвинуло исторический роман в глубокую тень, привело литературу на край гибели? Не на его ли «серьезность» и «зрелость» указывают как на причину катастрофы? Литература сделалась слишком умна, слишком утонченна и слишком совершенна по технике. Авторы стали ценить за ум, за философские откровения, за поставленные в их произведениях «проблемы». Писатели от науки, от философии, вроде Ницше, отодвинули постепенно на второй план романистов. Книга В. В. Вейдле открывается как раз главой об ущербе вымысла — «самой неоспоримой, наглядной и едва ли не самой древней формы литературного творчества». Вымысел в наши дни — дело несерьезное, всё построенное на нем отходит постепенно к той же категории «книг для юношества». В русской литературе особенно не любят «вымышлять». Не любят и повествовать. В солидных наших романах редко что случается, отмирает самое чувство события. Роман перестает быть эпосом.

Но в высшей степени примечательно, что тот же В. В. Вейдле в конце книги с упованием обращает взор именно на детскую и юношескую книгу — на Андерсена, на Жюль Верна. Спасения ждут от «несерьезной» литературы. Пушкинское замечание о том, что искусство должно быть слегка глуповатым, начинает привлекать к себе внимание не на шутку. Мысль искусствоведов и художников занята с некоторых пор изысканием способа впасть в детство. Изобразительное искусство давно вступило на этот путь, обратившись к детскому рисунку, к примитивам дикарской живописи и скульптуры. Но именно опыт изобразительных искусств показал, что когда организм начинает выделять фермент старости, всякие усилия помолодеть и поглупеть становятся недостойными. Литературе, где смысловое начало занимает такое видное место, это особенно трудно сделать. Вряд ли Жюль Верн и Андерсен спасут ее.

Я взял смелость обратить внимание на исторический роман, как на такой вид творчества, где художнику не надо искусственно глупеть, но где таятся возможности юношеской свежести повествования и вымысла. Приходилось уже говорить о роли вымысла в этом жанре, но вопрос о нем надлежит понимать шире. Историю мы воспринимаем как эквивалент вымысла. Рассказ и история в некоторых языках до сих пор, кажется, обозначаются одним словом. Г-жа Простакова, уверявшая, что ее Митрофанушка был «сызмальства к историям охотник» — не так уж сильно погрешила смешав историю с побасенкой. Исторический материал лежащий в основе повествования, можно уподобить радиоактивной урановой руде. Он сам по себе обладает эстетическими свойствами. Не потому ли Флобер «до безумия» любил историю? Он был, конечно, неправ думая, что «эта любовь — нечто новое в человечестве», что историческое чувство существует со вчерашнего дня и может быть, это лучшее, что принес XIX век». Историческое чувство существует с незапамятной древности, только в ранние времена его трудно бывает отделить от легенды и мифа. О XIX веке, напротив, можно сказать, что это чувство у него притупилось несмотря на блестящее развитие исторической науки. Восторжествовало чувство «современности», «живой действительности». Можно ли, например, Чехова представить автором исторического романа? Б. К. Зайцев опубликовал интересный фрагмент своей работы о Чехове², Антон Павлович заграницей. В первый раз после грачей, чернозема, почтовых чи-

² «Опыты», Книга Вторая, 1953.

новников, извозчиков и Каштанок, он увидел готику, Сан Марко, дворец Дожей, Флоренцию, Рим, словом, историю. И оказалось, что «Рим похож, в общем, на Харьков». Правда, по словам Б. К. Зайцева, Италия произвела на Чехова сильное впечатление, но куда делись острые чеховские штрихи и мазки; меткие словечки и определения, что так поражают в его рассказах и письмах, когда речь идет о России, о родной жизни и природе? В приведенных отрывках из заграничных писем чувствуются либо робкие и неудачные попытки подсмеяться хваленую красоту исторических мест («А вечер! Боже ты мой Господи! Вечером можно с непривычки умереть»), либо искренняя, но совсем простецкая восторженность: «Здесь собор св. Марка — нечто такое, что описать нельзя, дворец дождей и здания, по которым я чувствую, подобно тому, как по нотам поют, чувствую изумительную красоту и наслаждаюсь». Разве этот плоский жеваный язык — Чеховский? Перед историей вежливо раскланялись, но слов для нее не нашли. Кому Рим, а кому — Харьков. Потому-то Антон Павлович и не любил «тех мест, где Наполеон». «Историческое чувство» у него, как у большинства писателей XIX века, атрофировано. Только немногие, вроде Флобера, которого еще Э. Золя определил, как романтика среди реалистов, — хранили его и теплили, как священный огонь.

Когда М. М. Карпович утверждает, что «в начале XIX века расцвет исторического романа был связан с подъемом национализма и с романтизмом», в этом слышится не столько констатация факта, сколько похоронный звон по историческому повествованию. Ему, де, так же трудно воскреснуть, как павшему его романтизму. Но ведь именно романтизм-то и неистребим в литературе; исчезновение его равносильно исчезновению самой поэзии. Он постоянно воскрешает в виде мощных литературных движений, вроде символизма, и постоянно обновляет поэзию. Сомнения в оправданности исторического романа, как особого рода литературы, порождены реалистическим девятнадцатым веком, захотевшим видеть в реализме «основной метод искусства и литературы».

У М. М. Карповича чувствуется слегка снисходительное отношение ко второй четверти XIX века, когда Вальтер Скоттом «мог интересоваться и восхищаться Пушкин». Выходит, что Пушкину такое увлечение, как будто, не к лицу. «Серьезная» литература второй половины XIX столетия, действительно, так думала и даже бранила поэта. Но в наше время позволительно отнестись к этому иначе. Имя всё-таки названо не

маленькое. Пушкин. А ведь к нему надо присоединить и имя Гоголя, и имя Жуковского, да едва ли не все дорогие нам имена первой половины прошлого века. Писал же Белинский, что Гоголь «вышел из Вальтер Скотта, из того Вальтер Скотта, который мог явиться сам собою, независимо от Гоголя, но без которого Гоголь никак не мог бы явиться». Нас сейчас коробит, когда тот же Белинский ставит Гоголя «не ниже» Вальтер Скотта, но сам Гоголь принимал это за великую честь. Что это означает, литературную незрелость эпохи или особое чувствование искусства, отличное от чувствования его во второй половине того же XIX века? Не будем впадать в соблазн разрешать этот вопрос. Если это, в самом деле, незрелость — она мила нам, как пора цветения, как детство, к которому обращают взор тем чаще, чем ближе к старости. Повидимому, пушкинская эпоха и соответствующие ей эпохи на Западе, стояли ближе к источникам поэзии, чем наше «серьезное» и «зрелое» время. И не остался ли единственным мостиком соединяющим нас с этой эпохой — исторический роман, заключающий в себе «серьезность», без которой мы уже не можем обходиться, и в тоже время — прелесть сочинений для юношества?

* * *

Не могу принять упрека в тенденции ограничить писательский размах в области исторического повествования путем устранения всего будничного и повседневного. Писатель не волен тут устранять или не устранять что бы то ни было; оно устранено самим жанром. В истории нет будней. Будни прошлого — праздник для нас. Когда мы стаптываем свои ботинки и выбрасываем в мусорный ящик — они ничего внимания не привлекают. Это — наши будни. Но перед такими же стоптанными, полуистлевшими сандалиями галло-римской эпохи, выставленными в витрине музея Клуни или в шато Сэн Жермен — мы стоим, как зачарованные. Будни третьего или десятого столетий полны поэзии. Это примерно то же, что у Блока:

Случайно на ноже карманном
Найдешь пылинку дальних стран
И снова мир предстанет странным
Закутанным в цветной туман.

На том же карманном ноже немало было пыли окружавшей поэта, но только пылинка дальних стран обладала способностью преобразать мир. Таким же волшебством наделяется всякий предмет, дошедший до нас от далекого прошлого — шпага Фридриха Великого, глиняный светильник из хижины римского колона.

Сколько бы ни открывала нам материала история, занимающаяся «повседневной жизнью обыкновенных людей, рассказывающая о том в каких домах они жили, как одевались, лечились, развлекались» — она не способна воскресить будничности ушедших времен. Каждый исторический факт, большой или малый — новость для нас, неповторяемость, иной мир. Не для сюжетных ограничений говорю я об «избранном мире полководцев, героев, королей, знаменитых битв и значительных событий», но беру его, как наиболее яркое проявление «инобытия», постигаемого через историю.

Н. Ульянов

РАЗДУМЬЕ

На расстояньи многодумных лет
 Родных следов не затеряла память.
 Заманчивее даль и возрастает пламя
 В огнях непотухающих бесед.
 И утро близится проникновенной встречи,
 Дух озарен видением лучей,
 Лучей чудесной силы!.. Вы далече,
 Далече вы, друзья, а зовы горячей
 И с верой жизнь на час не расставалась,
 Вязь мудрой памяти не оборву,
 И если для меня в котомке дум осталось
 Звено с ушедшим — я живу!

Николай Бернер

МЕЙЕРХОЛЬД И КОММИССАРЖЕВСКАЯ *

В помещении театра В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской улице шел ремонт и открытие сезона задерживалось. По решению дирекции, часть труппы выехала на гастроли в города Западного края, где должен был присоединиться к ней Мейерхольд с тем, чтобы начать репетиции ибсеновской «Гедды Габлер». Первая репетиция состоялась 7 сентября 1906 года в Ковно. В письмах Всеволода Эмильевича, написанных в эти дни, — радостный бодрый тон и, конечно, как всегда, чрезвычайно самоуверенный: «...насколько мне легче иметь дело с истинными актерами. Они понимают меня с полуслова... Дело вообще пойдет. Я так счастлив» (письмо от 14 сентября). И в письме от 19-го «...Я влеку всех за собой. А сам рвусь в облака!»

21 сентября он возвратился в Петербург и начал репетиции «В городе» Юшкевича и «Вечной сказки» Пшибышевского. Декорации для спектаклей писали блестящие молодые художники из группы «Мира искусства»: для «Гедды Габлер» — Сапунов, для «Вечной сказки» — В. И. Денисов, для «Сестры Беатрисы» — Судейкин. Бакст расписывал главный занавес, Сомов сделал виньетки для афиш и программ. Так как зрительный зал театра был всё еще не готов, то дирекция начала устраивать в репетиционном помещении камерные вечера сближений с петербургской артистической и литературной интеллигенцией. На одном из этих вечеров (они происходили по субботам) был поставлен «Дифирамб» Вячеслава Иванова, на следующих Блок читал своего «Короля на площади», Ф. Сологуб и В. Брюсов читали свои стихи.

Наконец, 10 ноября театр открылся премьерой «Гедда Габлер». Мейерхольд поставил спектакль в импрессионистическом стиле, не обращая никакого внимания на авторские ремарки по поводу декораций и обстановки. Образ самой Гедды он попытался сделать символическим олицетворением золотой осени. Фоном для действия служили панно голубого

* Глава из готовящейся к печати книги о Мейерхольде. *Ред.*

и золото-соломенного цветов. Белого цвета была мебель и вещи: меха, покрывавшие кресло Гедды, рояль, хризантемы в вазах... Костюмы были выполнены по эскизам Василия Милотти и каждое действующее лицо имело свой красочный лейтмотив. Платья Гедды были зеленых цветов, костюм Тесмана был свинцово-серый, Левборга — коричневый, Теи — розовый. Для основных действующих лиц были найдены символические позы — как-бы своеобразные пластические лейтмотивы: для Бракка — поза фавна у постамента, для Гедды — царицы на белом троне. Основной задачей актеров было ритмическое звучание речи и выявление внутреннего смысла текста — «подтекст».

Успеха спектакль не имел, ни у публики, ни у критиков. В газете «Товарищ» Г. Чулков писал: «Спектакль 10 ноября был не союзом зрителей и режиссера, а борьбой, и результат этой борьбы еще неясен. Очевидно нам придется быть свидетелями новых и новых фазисов этого странного спора». Кугель в «Петербургской Газете», конечно, был более резок: «Мейерхольд оторвал Гедду от реальной психологии и стилизовал ее обстановку не как шатер стилизованного мещанства, а как какую-то царскую оранжерею. Весь драматический конфликт пьесы оказался лишенным всякого смысла... В такой-то атмосфере, среди сомовских гобеленов и царских оранжерей Гедде жить-бы и поживать. Куда-же ей отсюда стремиться?» Этой рецензией Кугель начал свою долголетнюю войну против Мейерхольда-режиссера. Талантливый и темпераментный петербургский критик был верным рыцарем старого, домейнингенского театра актера. Кугель никогда не был принципиальным противником условного, импрессионистического театра. Он был принципиальным противником всякого «театра режиссера» вообще — Мейерхольда в той же мере как и Станиславского или Антуана: «актера одинаково донимают великий «конкретизатор» г. Станиславский и неудавшийся «символизатор» г. Мейерхольд», — писал он. В своей рецензии о второй работе Мейерхольда в театре Коммиссаржевской — о постановке пьесы Юшкевича «В городе» — Кугель дал волю своей ярости: «В рассказе Мопассана чудовище Норла за счет человека полнело и наливалось соками, а человек худел и истощался. Так и режиссер Мейерхольд полнел за счет актеров. Как только актер или актриса открывали рот — я сейчас узнавал Мейерхольда. Я узнавал его по когтям режиссера, вцепившимся в тело актера...» В конце рецензии Кугель призывал общественность выступить

пить в защиту свободного искусства актера, этой «изначальной способности человеческой души, седой, древней и первобытной, к которой крючком прицепилась, впоследствии, режиссерская шука».

В тоне острым и резким, в яркой форме, Кугель защищал, в сущности, безнадежные позиции безвозвратно ушедшего в прошлое «театра актера». В течение всего последующего двадцатилетия медленно но верно изменялись психология и вкус театральных зрителей в России и в Западной Европе. Отдельные актеры, даже самые блестящие, перестали интересовать значительную часть публики как индивидуальности, «сами по себе», изолированные от всего происходящего на сцене, оторванные от театрального коллектива. Зрителей стал интересовать, прежде всего, спектакль в целом, или даже, вообще, определенный театр в целом. И в этом смысле «театр режиссера» одержал бесспорную победу над «театром актера». Нельзя не признать, что победа эта была заслуженной. В течение недолговечной истории «театра режиссера» — театры Художественный и Вахтангова, Мейерхольда и Таирова, Рейнхарда и Гордона Крэга поставили, конечно, много экспериментальных и неудачных спектаклей. Но некоторые из спектаклей этих театров были совершенными и прекрасными произведениями искусства.

И «Гедда Габлер» и «В городе» шли при полупустом зале. Нападки критиков и несовершенство самих спектаклей оттолкнули петербургскую публику. Третьей постановкой Мейерхольда была драма Метерлинка «Сестра Беатриса». Эта небольшая сценическая поэма, названная автором «чудо», рассказывает трогательную историю о том, как ушла в мир из монастыря увлеченная принцем Белидором сестра Беатриса, и как замещала ее, все двадцать лет ее отсутствия, сошедшая с пьедестала дева Мария. Оформление «Сестры Беатрисы» было сделано по эскизам Судейкина. Музыка написал Лядов.

На этот раз Мейерхольд одержал большую победу. Спектакль имел совершенно исключительный успех. Дата премьеры «Сестры Беатрисы» — важная дата и в биографии Всеволода Эмильевича и вообще в истории современного русского театра. Это был первый настоящий успех Мейерхольда как режиссера. И это был первый успех условного театра у зрителей. Всеволоду Эмильевичу удалось, наконец, осуществить то к чему он стремился так долго и, казалось иногда, безуспешно. Спектакль «Сестра Беатриса» был законченным

произведением сценического искусства, осуществленным вполне в стиле условного театра. То, что казалось до того сомнительным — стало бесспорным. Оказалось, что импрессионизм мог создавать прекрасное не только в музыке, поэзии и живописи, но и на сцене драматического театра. И Мейерхольд был первым, кому выпала честь доказать это.

Мистическая пьеса Метерлинка была им поставлена в стиле и формах старинной религиозной живописи эпохи раннего Возрождения. Дошедшие до нас фотографии мизансцен спектакля, действительно походят на снимки с картин религиозного содержания работы старинных итальянских мастеров. И освещение, и позы, и выражение лиц, и складки одежды — превосходны. На всем лежит печать тонкого вкуса, законченности и художественной убедительности. И дошедшие до нас отзывы лиц, видевших этот спектакль, и высказывания прессы тех лет — всё говорит о подлинной творческой победе Мейерхольда. Даже беспощадный Кугель писал: «Были картины прямо прекрасные, к таковым я отношу картину раздачи пресвятою девою милостыни нищим, для чего сама декорация изображала раму. Эта неподвижная, что-то шепчущая группа была здесь очень хороша». Александр Блок писал: «...веяние чуда, волнение о любви, о крыльях, о радости будущего, наполняло театр Коммиссаржевской в вечер «Сестры Беатрисы».

Следующей постановкой шла «Вечная сказка» Шибышевского, премьера которой состоялась 14 декабря. В оценке этого спектакля мнение публики и критиков разделилось. Отзывы прессы были все без исключения отрицательные. У публики — особенно у молодежи — «Вечная сказка» имела успех. После каждого спектакля Коммиссаржескую, исполнявшую главную женскую роль, и Мейерхольда вызывали по много раз.

Примерно в эти дни появилась статья А. В. Луначарского «Об искусстве и революции», в которой необычайно много внимания было уделено последним работам Мейерхольда, с точки зрения их общественно-социальной значимости. В общем, социал-демократический искусствовед дал совершенно справедливую (с своей, конечно, точки зрения) оценку деятельности молодого строителя условного театра. По словам Луначарского, театральное искусство Мейерхольда было искусством «скисших интеллигентов». «...С глубоким убеждением скажу, что г-жа Коммиссаржевская служит дурному делу, что с искренним энтузиазмом отдавшись служению про-

гресса театра, она на самом деле безвинно способствует его декадансу... Мейерхольд, при помощи стилизации, создает театр уводящий от жизни, а не зовущий к борьбе». Но разве не было всё искусство русского «серебряного века» искусством «уводящим от жизни»? Для нас статья Луначарского интересна тем, что в ней еще в те давние времена, в конце 1906 года, с большой четкостью была проведена грань между идеей социальной и политической революции и революционными формами в искусстве, как между категориями несовместимыми и даже враждебными друг другу. Многие ли и сейчас, в наши дни, представляют себе очевидность и неоспоримость этой истины, столько раз доказанной опытом нашего жестокого века?

Под самый новый 1907 год — 30 декабря — увидела свет мейерхольдовская постановка «Балаганчика» Блока, с декорациями Сапунова и музыкой Кузмина. Эта маленькая лирическая драма написана автором в законченном стиле символического искусства. И содержание, и форма «Балаганчика» туманны и хрупки. Вместо реальных событий — впечатления и символы, вместо действительной жизни — сказочный, игрушечный мир, вместо живых людей — кукольные маски... и в конце пьесы Арлекин умирает, истекая клюквенным соком... В постановке «Балаганчика» Мейерхольду удалось разрешить задачу исключительной сложности, требовавшую большой артистической чуткости, тонкого вкуса, безупречного ощущения стиля нового искусства. Форма мейерхольдовского спектакля была совершенной театральной формой для пьесы Блока. И вместе с тем «Балаганчик» был законченным воплощением символизма в формах сценического искусства.

Реакция зрительного зала на первом представлении «Балаганчика» была необыкновенно бурной. Разразился настоящий театральный скандал. Свист, шум, крики, казалось, готовы, были перейти в рукопашную. Часть публики ревела от ярости и возмущения. Другая бешено аплодировала, орала изо всех сил «Браво Блок — Мейерхольд!» — стараясь перекричать иступленные вопли противной стороны. Был момент когда, казалось, возмущенные хлынут на сцену, готовые разорвать на части и Блока и Мейерхольда, разнести на куски и сцену, и декорации, и весь театр. Но авторы «Балаганчика» не ушли со сцены. Они смело предстали перед бушующей публикой, приняв на себя и ее возмущение и ее восторги. Как описывал этот момент в своих воспоминаниях Сергей Ауслендер: «...пе-

ред смятенной залой стоял лучезарный, как-бы прекрасный монумент, в своем строгом черном сюртуке, с белыми лилиями в руках, гость неведомой страны, страж заповедной двери, Александр Александрович Блок, и в посиневших глазах его были грусть и усмешка, а рядом белый Пьеро — Мейерхольд извивался, сгибался, будто бескостный, бестелесный, будто призрак, всплескивающий длинными рукавами своего балахона».

Критики во главе с Кугелем обрушились на «Балаганчик», но их возмущенные рецензии на этот раз не убеждали петербургских театралов, стремившихся увидеть сенсационный спектакль. Зал на «Балаганчике» бывал всегда полон. Да и в тоне критических статей чувствовалось на этот раз что-то необычайное, казалось Мейерхольд не только возмутил рецензентов, но и испугал их, показав нечто хотя и чуждое им, но значительное, над чем не следовало уж больше шутить.

В постановке «Балаганчика» Мейерхольд применил впервые много приемов, впоследствии ставших обычными в его режиссерской практике. Его биограф Волков так описывает оформление сценической площадки в этом спектакле: — «...После «Гедды Габлер», «Сестры Беатрисы», «Вечной сказки» с легкой руки критики установилось убеждение, что каждая новая постановка Мейерхольда неминуемо будет демонстрировать ту или иную живописную плоскостную декорацию, неглубокую полосу сцены, статуарную игру. На этот раз всё было не так. Сцена была открыта в глубину, ее стены были увешаны синими холстами, и посреди этого синего пространства возвышалось легкое зданье маленького театра, перед которым была оставлена свободная площадка. Так как верхняя часть театра не была прикрыта, то публика видела, как взвивались вверх декорации, уходя под настоящие колосники театра. Отказ от сценической иллюзии здесь был продемонстрирован с исключительной силой. Когда впоследствии, уже в 20-х годах, Мейерхольд стал безжалостно обнажать сценическую коробку, он в сущности только более резко и жестоко использовал тот прием, который впервые показал в «Балаганчике», правда, в смягченном сапуновскими декорациями виде».

Советский театровед М. Гус был, вероятно, прав обвиняя Мейерхольда в упорном применении приемов, найденных когда-то в работе над «Балаганчиком»: «..нашумевшая сцена клеветы из «Горе уму» (все гости Фамусова сидят за огромным столом параллельно рампе и в статично-размеренном рит-

ме, с повторами, читают стихи)... эта мизансцена не нова, она воспроизводит сцену с мистиками в «Балаганчике» Блока». («Театр», 1938 г., № 5). Сам Всеволод Эмильевич писал впоследствии в предисловии к своей книге «О театре»: «Первый толчок к определению путей моего искусства дан был, однако, счастливой выдумкой планов к чудесному «Балаганчику» Блока. Это были: использование идеи просцениума, как главного места сценической игры, и переплетение форм марионеточного театра с театром живых актеров».

Главную роль «Балаганчика» — роль Пьеро — играл Мейерхольд вполне в стиле блоковской драмы. Еще в период репетиций, Блок писал ему (письмо от 21 декабря) «О Пьеро мне вам нечего говорить, вы и так очень поняли его и знаю, что хорошо сыграете». Сергей Ауслендер описал Пьеро Мейерхольда «...он несколько не похож на тех знакомых, притворно слащавых, плаксивых Пьеро. Весь в острых углах, сдавленным голосом шепчущий слова нездешней печали, он какой-то колючий, пронзающий душу, нежный и вместе с тем дерзкий... Это Мейерхольд играл блоковского Пьеро и играл его необычайно». Можно представить, что характерные органические особенности актерской природы Мейерхольда, так часто ранее ограничивавшие его возможности, оказались вполне уместны в символической пьесе Блока. Прекрасен портрет его в роли Пьеро работы Н. П. Ульянова (1908 г.). Закинутый назад острый профиль окружен пышными кружевами широкого клоунского воротника. Сидит задумчивый, слегка сутулый, в белом балахоне, руки в длинных шутовских рукавах скрещены на коленях...

После «Балаганчика» престиж Мейерхольда, как вождя нового театрального направления, сильно вырос и в кругах его единомышленников и друзей, и среди многочисленных его противников. Не только его деятельность, но и личность его стала в некотором смысле сенсационной, приняла ореол загадочный, таинственный, столь привлекающий интерес и любопытство широкой театральной публики.

Сергей Ауслендер так описал свою первую личную встречу с ним на маленьком балу, устроенном на квартире одной из актрис после премьеры «Балаганчика»: «...то задумывается, потухнет, будто уйдет куда-то далеко от всех нас, от музыки, звенящей в гостиной, от веселого щебетанья актрис, от дружеских слов. Тонкое лицо станет еще острее, как-то посереет, станет совсем неживым, будто неведомая тоска и грезы владеют душой, а потом встрепенется, вспыхнет, уже

смеется, кружится, что-то изображает, дурачится, молодой и задорный».

После «Балаганчика» театр Коммиссаржевской поставил в том сезоне еще четыре спектакля: «Трагедию любви» Гейборга, «Комедию любви» Ибсена, «Свадьбу Зобенды» Гофманстала и «Жизнь человека» Леонида Андреева. Первые три постановки были неинтересными и незначительными в художественном отношении. Выступление Мейерхольда в роли Гартвига Гадельна в «Трагедии любви» вызвало такие же резкие нападки критиков, как и его исполнение роли Иоганнеса Фокерата в «Одиноких» пять лет тому назад. Зато последняя постановка сезона, «Жизнь человека» Леонида Андреева, прошла снова с сенсационным успехом. А. П. Зонов писал, что это «постановка не только подрывала основы старого театра, но и укрепляла то ценное, что являлось совершенно новым в сценическом искусстве. Символический прием в пьесе облекся в плоть и кровь, схематичность не замечалась, а постановка третьего акта — это шедевр... в технике световых эффектов было достаточно много нового. Пьеса имела исключительный успех. Шла при переполненных сборах до конца сезона подряд...»

Ф. Ф. Коммиссаржевский считал, что представление «Жизни человека» «было лучшим по цельности за первые два сезона на Офицерской». Сам Всеволод Эмильевич в «режиссерских примечаниях» так пишет о своем методе постановки андреевской пьесы, в основу которой он положил авторскую ремарку «далекой и призрачной пройдет перед вами жизнь человека»: — «Пьеса поставлена мною без декораций, как их обыкновенно принято понимать. Вся сцена была завешена холстами. ...Убраны были совсем: рампа, софпиты... Получилось серое, дымчатое, одноцветное пространство». По словам Волкова: «Главным источником сценических эффектов в этой постановке был свет. Источник света всегда был один и он освещал лишь какую-нибудь одну часть сцены (лампа за диваном и лампа над круглым столом в первой картине, люстра на балу, лампы над столами в сцене пьяниц). До стен свет не достигал и оттого рождалось у зрителя представление, будто стены комнат на сцене построены. Для мебели и аксессуаров были взяты преувеличенные масштабы. Мебели было мало. Лишь характерная. Облики людей были по скульптурному четки, гримы резки».

Успех «Жизни человека» у петербургской публики был снова успехом Мейерхольда. Коммиссаржевская в этом спек-

такле не участвовала, так же как не участвовала она и в «Балаганчике». И именно в этом факте было заложено семя их будущего разрыва. Получилось так, что две лучшие постановки второй половины сезона, имевшие наибольший финансовый и художественный успех, прошли без участия знаменитой актрисы, имя которой носил театр.

Что вообще заставило Коммиссаржевскую пригласить Мейерхольда — молодого театрального экспериментатора, с репутацией едва только установившейся — главным режиссером в свой театр? Как могла она вручить ему свою артистическую судьбу и свое большое имя?

Вера Федоровна Коммиссаржевская была не только великой актрисой, но и великой идеалисткой. Впрочем, не связаны ли эти два качества между собой неразрывными узами? В 1902 году Коммиссаржевская ушла из Александринского императорского театра, где занимала положение ведущей актрисы — ушла, повинувшись лишь внутреннему голосу творческой неудовлетворенности. В одном из своих писем она сама так объяснила причины своего ухода. «Без удовлетворения своего артистического «я», которого я не видела впереди, служить на казенной сцене я не могла». Но и ее собственный театр, который вначале вела она в натуралистических традициях, не принес ей удовлетворения. Ее гастроли по провинции дали ей славу, признание и любовь всей России, но не успокоили творческую тревогу в ее душе, не привели ее к тому искусству, которого всё искала она со страстной настойчивостью. Один из театральных деятелей в своих мемуарах назвал ее «болью нашего времени», — это тонкое определение характера ее гения! Вновь и вновь мучили ее сомнения, неудовлетворенность, желание перемен. В одном из своих писем она писала «...В прошлом сезоне (1905-1906 г. Ю. Е.) я страдала, чувствуя, что делаю не то, что требует от меня моя артистическая индивидуальность. Теперь реальное воспроизведение быта стало уже неинтересным, ненужным. Быт использован исчерпывающе... Быт должен теперь исчезнуть со сцены... Я окончательно решила отряхнуть с себя «ветхого Адама», отжившую, старую сценическую рутину». (Сборник памяти В. Ф. Коммиссаржевской, под ред. Карпова).

Приглашение Мейерхольда в ее театр было естественным выражением ее артистической индивидуальности, новым этапом в ее неустанных творческих поисках совершенного искусства. Мейерхольд не обманул ее надежд. Он много сделал в ее театре уже в течение первого сезона. Он не только

«искал», но и «нашел». Впервые в театре Коммиссаржевской перестал он быть экспериментатором и стал художником — был им в «Сестре Беатрисе», в «Балаганчике» и в «Жизни человека». Но Коммиссаржевскую он удовлетворить не мог. Во-первых, потому что чувство удовлетворения было вообще чуждо ее тревожному дарованию. Во-вторых, потому что ее инстинкт большой актрисы, привыкшей к творческой независимости, протестовал против порабощения режиссерским деспотизмом. А Мейерхольду было в высшей степени свойственно это качество, так же, впрочем, как и всему искусству условного театра в целом. К этим двум «объективным» причинам прибавлялась еще одна личная — ущемленное самолюбие знаменитой актрисы, любимицы русской публики. Из всех ролей сыгранных ею в течение первого сезона в постановках Мейерхольда только в роли Сестры Беатрисы имела она беспорный успех. Это было слишком тяжело и невыгодно для нее...

Сейчас же после окончания первого сезона Мейерхольд и Ф. Ф. Коммиссаржевский уехали на несколько дней в Берлин со специальной целью познакомиться с немецкими театрами и в первую очередь с театром Рейнхарда. Им удалось посмотреть два рейнхардовских спектакля: «Аглавен и Селизетта» Метерлинка, и «Рождение весны» Ведекинда. И его письма, и его статья о Рейнхарде, помещенная в июньском номере журнала «Весы», говорят о том, что творчество немецкого театрального новатора произвело на Мейерхольда двойственное впечатление. Он высоко оценил постановочные приемы Рейнхарда и очень критически отнесся к художественно-эстетической стороне его деятельности. В письме к жене от 4 апреля он писал: «Reinhard, в противоположность Станиславскому, ясно чувствует, что такое сценическая условность. Reinhard очень смел в своих попытках создать условный театр. Только, конечно, надо прежде всего установить, что метод, по которому он обновляет сценические приемы, принадлежит Gordon Craig'у. Попытки, достойные всяческих приветствий по адресу Reinhard'a. Но только попытки. Осуществление обнаруживает высочайшую безвкусицу. Всё в стиле «modern». Вторая декорация: снова интересная инициатива... Замысел интересный — изобразить лес целым рядом свешивающихся цветных тюлей... Интересна очень третья декорация — башня, вернее верхушка башни... И опять

не использован удачный замысел и выполнение декораций, так как фигурами режиссер не владеет. В смысле исполнения полный ужас. Совсем не усвоен метерлинковский стиль. Нет простоты, нет внутреннего диалога, нет солнца, нет надвигающегося трагизма, незаметного для самих действующих лиц, нет наивности, нет детской любви. Исполнение ужасное».

В статье озаглавленной «Max Reinhard» Мейерхольд впервые в России четко определил принцип «условного театра», как особый метод постановки спектакля, вне зависимости от репертуара: «условный театр» следует говорить совсем не так, как говорят: «античный театр», «театр средневековых мистерий», «театр эпохи возрождения», «театр Шекспира»... Все эти наименования, начиная с античного театра и кончая театром Ибсена, заключают в себе понятия, обнимающие собою литературный стиль драматических произведений... Название же «условный театр» определяет собою лишь технику сценических постановок. Любой из перечисленных театров может быть построен по законам условной техники и тогда такой театр будет «условным театром». Если же любой из этих театров будет строиться по законам натуралистической техники, такой театр будет превращен в натуралистический театр».

Анализируя творческий опыт немецкого режиссера-новатора, Мейерхольд пришел к мысли о размежевании импрессионистического репертуара и форм условного театрального зрелища — это был его серьезный шаг на пути к творческой зрелости, на пути к мастерству.

Первыми постановками следующего сезона 1907-1908 г. предполагались: пьеса Ведекинда «Пробуждение весны» (виденная Мейерхольдом в Берлине у Рейнхарда) и «Пелеас и Мелисанда» Метерлинка.

В течение второй половины лета 1907 года он вел интенсивную переписку с Ф. Ф. Коммиссаржевским, подробно обсуждая многочисленные проблемы будущего сезона. Тон этой переписки корректный, даже дружеский. Но нота несогласия звучит всё ярственнее с каждым письмом. В конце июля получил он большое письмо и от самой В. Ф., в котором, между прочим, выражено недовольство Коммиссаржевской его вольным обращением с авторскими замыслами — «...Помните, при постановке «Гедды Габлер» я говорила, что

ее ремарки всегда должны точно выполняться. Теперь я совершенно определенно говорю, что правды в моих словах было тогда больше, чем я сама это предполагала...».

Перед самым началом сезона произошел у него небольшой конфликт с В. Ф., сразу обостривший положение. Коммиссаржевская хотела играть главную роль в «Пробуждении весны» — роль девочки-подростка Вендлы, Мейерхольд же прочил на эту роль сестру своей жены Е. М. Мунт, считая (возможно, не без основания), что Коммиссаржевская вышла из того возраста, когда она могла играть пятнадцатилетнюю девочку (ей исполнилось в ту осень 43 года). В. Ф. больно задело это недоразумение, связанное с самым чувствительным вопросом для каждой женщины в ее возрасте. В записке, посланной ею Мейерхольду по этому поводу, явно чувствуются раздражение и обида: «Вчера, Всеволод Эмильевич, у меня был разговор с г-жей Мунт, после которого у меня совершенно пропало то любовное отношение к «Пробуждению весны», с которым я должна была подойти к пьесе, чтобы создать роль Вендлы. Благодаря этому роль придется передать. Передать ее придется г-же Мунт. Сознаю вполне, что ее чисто лирическое дарование мало подходит для сложного и, в основе своего творчества трагического Ведекинда, но выбора в данном случае нет, так как в труппе у нас вообще нет подходящей исполнительницы на эту роль. Жму вашу руку В. Коммиссаржевская».

Перед открытием сезона в Петербурге театр выехал в Москву на двухнедельные осенние гастроли. В репертуаре были: «Вечная сказка», «Сестра Беатриса», «Балаганчик» и шедшее с ним в один вечер «Чудо святого Антония» Метерлинка. Спектакли начались 31 августа (1907) в помещении театра «Эрмитаж» и сразу же вызвали большой интерес и среди московской театральной публики, и в московской прессе. Отзывов, статей, рецензий было много, но в большинстве своем были они неблагоприятны и для театра, и для Мейерхольда, и для Коммиссаржевской. Рецензенту «Русского Слова» не понравилась постановка «Вечной сказки» — «...Пьеса Пшибышевского была разыграна в достаточной степени манерно, надуманно». О «Балаганчике» та же газета писала, что «это уже из области посрамления искусства». После первого представления часть публики, так же как и в Петербурге, громко выражала свое возмущение, кричала «Безобразие! Долой балаган!» Стучала и свистела в ключи. Отзывы писателей и критиков, близко стоявших к московской группе

символистов, были серьезны, благожелательны, но не восторженны. Два больших подвала в газете «Столичное Утро» поместил Андрей Белый. В этих статьях, озаглавленных «Символический театр», проводилась мысль, что Мейерхольд сделал из театра Коммиссаржевской театр марионеток и в этом и была «незабываемая заслуга театра» потому, что «символическая драма, возможная в жизни людей, возможна и в театре, если этот театр будет театром марионеток». Развивая это положение, Андрей Белый приходил в конце статьи к логическому выводу. «Самой Коммиссаржевской в этом театре нечего делать — писал он, — было бы жаль губить ее талант». Так в корректной форме, видный московский символист, по сути дела, присоединял свой голос к многочисленному хору театральных критиков, заявлявших об «изуродовании таланта Коммиссаржевской Мейерхольдом», о «преступных экспериментах театрального алхимика» над искусством большой актрисы и т. д.

Нашлись у Всеволода Эмильевича в Москве и поклонники — правда, немногочисленные. Три статьи с положительными отзывами о его режиссерских работах были помещены в первом номере журнала «Литературно-художественная Неделя», вышедшем 17 сентября. Статья П. Муратова написана в восторженном тоне «...какая тонкость, какой ум *mis-en-scene* талантливейшего В. Э. Мейерхольда...». Но в другой статье автор ее П. М. Ярцев, отдавая должное постановочной части, считал, что «в новом театре нет до сих пор и не может быть нового актера... Театр ищет технически выразить на сцене формы, которые театру будущего предстоит наполнить содержанием». Можно себе представить, какое впечатление произвело на В. Ф. Коммиссаржевскую заявление, что в ее театре нет «и не может быть» актера!

Для открытия сезона в Петербурге шло «Пробуждение весны». Спектакль этот в целом не принадлежал к большим достижениям Мейерхольда, но один интересный постановочный прием он впервые применил в этой работе. То был принцип использования света «пятнами», когда ярко освещалась попеременно то одна, то другая часть сцены. Но, конечно, этой удачной находки было недостаточно для успеха спектакля. Всё остальное, если судить по дошедшим до нас печатным отзывам, было, выражаясь мягко, «не выше среднего уровня». Даже обычный доброжелатель театра Г. Чулков, отмечая оригинальность и новизну освещения, писал, что

«всё остальное было очень плохо. Не стану даже называть фамилий актрис и актеров. Бог с ними!..»

Второй постановкой сезона шла трагедия Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» с Коммиссаржевской в роли Мелисанды. Это был полный и абсолютный провал и в публике и в прессе — провал по мнению друзей и провал по мнению врагов. Верный друг Мейерхольда А. П. Зонов впоследствии писал в своей «Летописи» об этом спектакле: «...все труды, затраты, всё пошло прахом. Пьеса вызвала неудовлетворение, успеха не имела, осуждались вычурные декорации, в которых потерялись великолепные костюмы 12-го века, не нравилась музыка, жалели актеров, порицали увлечение режиссера неподвижностью и монотонностью в конец обесцветившими исполнение действующих лиц. Было скучно. Пресса была беспощадна».

Ночью, после первого представления «Пелеаса», Коммиссаржевская созвала у себя заседание дирекции* и официально заявила о своем недовольстве работой Мейерхольда: — «...театр должен признать весь пройденный путь ошибок, а режиссер должен или отказаться от своего метода постановки пьесы, или же должен покинуть театр». Ф. Ф. Коммиссаржевский занося эти слова своей сестры в протокол заседания, прибавил от себя: «Сегодняшний спектакль показал, что у нас декорации, пластика и ритм не вытекают из внутреннего содержания драмы и актера, а убивают его».

В чем же были истинные причины провала «Пелеаса и Мелисанды»? Биограф и друг Мейерхольда Н. Д. Волков так объясняет их: «Выбор пьесы был неудачен и режиссерски и актерски. Актерски потому, что роль юной Мелисанды была опять-таки не в средствах Коммиссаржевской, режиссерски потому, что Мейерхольд в это время начал отходить от Метерлинка. ...Неудачен был и выбор художника. Денисов так же не подходил к этой задаче, как не подходил ранее Судейкин».

Без сомнения, прав не Волков (выражая, вероятно, мнение самого Всеволода Эмильевича), а правы В. Ф. и Ф. Ф. Коммиссаржевские. Мейерхольд в работе над постановкой «Пелеаса» не только не начал отходить от Метерлинка, но впервые «подошел» к нему вплотную, и при том как раз с той стороны, с которой упорно желал, уже в течение долгого времени, подойти к творчеству бельгийского драматурга. Еще

* Членами дирекции были, кроме самой В. Ф., К. В. Бравич и Ф. Ф. Коммиссаржевский.

в Тифлисе, в письме от 20 марта 1906 года, описывая свою постановку метерлинковской «Смерти Тентажиля» он говорит: «...Пьеса может быть поставлена в двух редакциях совершенно различных: первая — беклиновский пейзаж и позы Боттичелли, или вторая — примитивы марионеток... И вот этот последний спектакль будет идеальным». Два года стремился он к этому «примитиву марионеток», по его мнению, бывшему идеальной формой для театра Метерлинка, пока в «Пелеасе и Мелисанде» не осуществил полностью свой ложный замысел и не потерпел жестокий крах.

То был первый серьезный творческий тупик, в который уже зашел он, едва коснувшись великих тайн подлинного искусства. Эти творческие тупики были у него и в дальнейшем, чаще чем у других больших художников, потому что у него они были следствием его сложного и противоречивого артистического характера. Радости легкого, беззаботного творчества были не для него. Он никогда не принадлежал к художникам, которые создают прекрасное, сами не ведая как, повинаясь лишь голосу собственного таланта, вкуса и артистической совести. Он слишком много привык анализировать и рассуждать там, где м. б. следовало лишь чувствовать. Его рассудочные измышления и неудержимый страстный дух противоречия, его «fighting spirit», мешали гармонической работе художника, потому и были так часты в его жизни творческие неудачи, тупики, иногда катастрофы.

Его ум, энергия и инстинкт артиста впоследствии подсказали ему средство от этих неудач. То было жестокое средство и только очень большой художник мог решиться применять его. Он стал менять стиль и формы своих работ так часто, как меняют перчатки. Он беспощадно отбрасывал найденное, даже если это найденное было великолепно, и шел к другому, иногда совершенно противоположному. Но эта мудрая эластичность мастера пришла позднее. В молодости же своей, режиссером в театре Коммиссаржевской, он долго и упрямо шел по пути безжизненного, выхолощенного театра марионеток, пока не подошел к самому краю пропасти. Потом, через много лет, он имел мужество это признать открыто. В своем докладе «Мейерхольд против мейерхольдовщины» в ленинградской лектории 14 марта 1936 года он сказал: «В искусстве главное человек. И я был грешен когда-то (вспомним период моей работы) у В. Ф. Коммиссаржевской 1906-07 г.г.) в том, что стремясь восстановить традиции подлинной театральности на сцене, я часто забывал о чело-

веке. И я тогда отрывал форму от содержания. Актер должен быть на сцене человеком, а не марионеткой».

Через два дня после провала «Пелеаса и Мелисанды» состоялось еще одно заседание дирекции, на которое были приглашены также Мейерхольд и второй режиссер театра Р. А. Унгерн. Всеволод Эмильевич приготовился огласить обширный доклад с подробнейшим анализом постановок обоих сезонов. Недостатки и неуспех некоторых спектаклей он объяснял многочисленными «объективными причинами». Винаваты были скверные декорации, плохая музыка и «неудачное распределение ролей», т. е. актеры, словом — кто угодно только не режиссер. В общем, он предлагал и в будущем проводить ту же самую линию и в репертуаре, и в методе постановок спектаклей. Но доклад ему огласить так и не пришлось. В. Ф. Коммиссаржевская открыла заседание вступительным словом, после которого все выступления приняли весьма конкретный характер. «...Театр, продолжая идти тем путем, которым он шел до настоящей минуты, должен притти к неминуемой гибели» — начала В. Ф. и предложила всем — «совершенно откровенно высказать свой взгляд на существующее положение, не считаясь с тем, что высказанное мнение может обидеть или задеть кого-либо из присутствующих».

Следующим выступил Мейерхольд и в краткой речи заявил, что для опасения за будущее театра нет никаких оснований. Свой театр марионеток он считал «исторически необходимой стадией театра, которая взяла свое начало в московской студии («Смерть Тентажиля») и теперь в «Пелеасе и Мелисанде» получила свое последнее звено». В будущем он предполагал отказаться от метода «панно», т. е. метода движения в двух измерениях, и перейти к методу скульптурной постановки. Последующие выступления Ф. Ф. Коммиссаржевского, Унгерна и Бравича содержали уже прямые нападки на Мейерхольда за театр марионеток и откровенные опасения за будущий «метод скульптурной постановки». В. Ф. задала ему вопрос, не будет ли он и при этом методе так же давить на актера, как при методе панно? В ответ Мейерхольд обиженно и резко сказал, что всегда будет оказывать давление на актеров непонимающих его замысла... «А от того, что я здесь слышу, мне становится страшно и я желаю

уйти из театра и уехать за границу». Заседание окончилось без определенных результатов. Никакие решения на нем приняты не были. Но отношение Коммиссаржевской и ее брата к деятельности и замыслам Мейерхольда делали разрыв только вопросом времени.

6 ноября прошла премьера — трагедия Федора Сологуба «Победа смерти», которая оказалась последней работой Мейерхольда в театре Коммиссаржевской. Неожиданно этот спектакль имел большой успех, особенно у критиков. Пожалуй, ни одна из его постановок в театре на Офицерской не имела такой отличной прессы как «Победа смерти». Даже журнал Кугеля поместил умеренно благожелательную рецензию. Но всё это было уже напрасно. Через три дня, утром 9 ноября, Мейерхольд получил письмо Коммиссаржевской с извещением об увольнении.

«За последние дни, Всеволод Эмильевич, я много думала и пришла к убеждению, что мы с вами разное смотрим на театр и того, что ищете вы, не ищу я. Путь, ведущий к театру кукол, это путь к которому вы шли всё время... путь этот ваш, но не мой, и на вашу фразу, сказанную в последнем заседании нашего художественного совета: может быть мне уйти из театра — я говорю теперь — да, уйти вам необходимо...»

На этот раз свое крушение он пережил очень тяжело. К оскорбленному самолюбию прибавлялось еще и тяжелое положение — он оказался выброшенным из театра среди сезона, когда не было никаких шансов устроиться на работу. В газете «Русь» он поместил открытое письмо, в котором излагал свое отношение к конфликту и говорил о недопустимости его увольнения с профессиональной точки зрения. В этом же письме он приглашал Коммиссаржевскую на суд чести, причем судьями с его стороны должны были быть Ф. К. Сологуб и О. В. Фридли. В. Ф. приняла вызов и выставила судьями А. К. Вольфсон и А. В. Тыркову. Суд состоялся 20 декабря 1907 года и вынес решение в пользу Коммиссаржевской. В приговоре признавались неосновательными претензии Мейерхольда, ввиду того, что увольнение его было вызвано принципиальными соображениями и произошло в форме для него совершенно неоскорбительной. К тому же годовичное жалование было ему уплачено сполна и о финансовых недоразумениях не могло быть никакой речи. Конечно, другого решения суда и нельзя было ожидать. Вообще, передавая всё это дело на суд чести, Всеволод Эмиль-

евич показал, что чувство объективности и способность к самокритике никак не являлись чертами его характера. Вокруг этой тяжбы с Коммиссаржевской был поднят великий шум. Большинство общественного мнения столицы было против Мейерхольда. Судебный процесс он проиграл. Коммиссаржевская с своим театром уехала в Америку. Даже в полемике вступить ему было теперь не с кем. Работы не было. Куда вообще мог он теперь итти? Он сам сжег все свои мосты в Художественный театр. В провинцию? Это было бы сейчас особенно тяжело для него. И вот в эти дни тяжелого кризиса, когда, казалось, всё его будущее висело на волоске, он получил приглашение явиться для переговоров к директору императорских театров В. А. Теляковскому.

О своем свидании с Мейерхольдом Теляковский так написал в своих мемуарах: «Когда художник Головин пришел ко мне в кабинет и сообщил, что Мейерхольд в театре Коммиссаржевской рассчитан, ибо там чуть всех не перестрелял, до того увлекся новаторством, — то я, не посоветовавшись даже со специалистами, с которыми всегда в художественных вопросах советовался, попросил Головина вызвать ко мне Мейерхольда, а когда он спросил зачем, я ответил, что должно быть человек интересный, если все ругают. На следующий день Мейерхольд, очень удивленный моему вызову, пришел и был, вероятно, еще более удивлен, когда выходил из моего кабинета, как уже принятый на службу в казенный, правительственный театр».

В творческой биографии Всеволода Эмильевича неожиданно открылась новая страница. Экспериментатор, строитель условного театра — стал «режиссером его императорского величества». Именно так любил он сам себя называть в советские времена в кругу своих близких друзей, в пору его увлечения идеей «театрального октября».

Ю. Елагин

В РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ*

(1912-1914 гг.)

В Нижний я приезжал обыкновенно очень рано, если не ошибаюсь, около шести утра. Зимними месяцами в этот час на предвокзальной площади бывало еще совсем темно. Лошадиные морды, дуги, извозчицьи шапки лишь смутно чернели в туманной мгле. Даже широкая лента Оки, по которой в ветреной стуже неслись легкие новгородские саночки с передками, в виде лебединых шей, еле белела перед глазами. Над низовьем Канавина призрачно дрожало зеленовато-желтое марево далеких фабричных огней. На высоком берегу, по которому санки шагом взбирались к кремлю, кое-где за занавешенными окнами светились огни. Здесь, в душных, натопленных комнатах, просыпалось, вставало, крестилось и садилось за чай торговое население Нижнего. Кремль с его древними стенами, башнями, соборами, присутственными местами еще спал праведным сном. Только вороны тяжело и неторопливо перелетали с места на место по его чистым, белоснежным площадям. Спали еще и главные улицы торгового центра, по которым я резво подкатывал к Ермолаевским номерам, где останавливались все знатоки Нижнего Новгорода, несмотря на то, что недалеко от этих неказистых номеров красовалось большое, желтое здание «Гостиницы России». Предпочитались Ермолаевские номера, в которых было всего только 14-16 комнат, из-за тишины и замечательной кухни. Раза два со мной на лекции ездила мать. Она с вечера вызывала в номер повара и заказывала ему обед: он ценил ее интерес к своему кулинарному искусству и за небольшой «начай» готовил нам с особым художеством.

Впервые приехав в Нижний, я остановился, как сейчас помню, в номере первом, в небольшой комнате с громадной печкой-лежанкой. Велев разбудить себя в 10 часов, я быстро разделся и лег досыпать короткую вагонную ночь. Ровно в десять в дверь постучались. Я весело вскочил и отдернул шторы. За окном сиял синий снежный, солнечный день. Под окном у подъезда, в ожидании тароватых седоков, попыхи-вали папиросами веселые, мордатые лихачи, дядя и племян-

* См. кн. 36 «Нов. Журн.».

ник Шныревы, с которыми я впоследствии крепко сдружился. По другой стороне улицы проходили какие-то удивительные фигуры: купец-ли, интеллигент-ли, барыня-ли с попугаем на барашковой шапочке, малый-ли из погребка — всё здесь не то на самом деле было, не то, казалось мне каким-то особенным, по провинциальному милым и занятым.

Когда пожилой, опрятный «человек» приветливо внесший громадный самовар, французскую булку, масло и свежий номер «Нижегородского листка» с объявлением о моих лекциях, поговорив сколько полагается, почтительно удалился переваливающейся, утиною походкой многих половых, я налил себе стакан крепкого чаю, достал свои расчерченные цветными карандашами конспекты и в радостном, молодом чувстве полноты и подъема жизни, сел их просматривать.

К двум часам меня ждал к себе председатель нижегородской «Секции гигиены, воспитания и образования», доктор Грацианов. Поднявшись по чисто вымытой и устланной пестрою дорожкой, но всё же слегка папахивающей отсутствием канализации, небольшой, отлогой лестнице, я оказался в памятной мне интеллигентски-поповской квартире доктора: фикусы, ломберные столы между окнами, по крашенному полу половички, обитый коричневой клеенкой «гигиенический» диван, обеденный стол в углу, вокруг него простые венские стулья, но зато на нем — разгул хлебосоля. В противоположность Германии, которая нарядно живет, но скромно питается, в России и в убогой обстановке ели талантливо. Волга с ее рыбными богатствами особенно способствовала развитию этого таланта.

Длинноруко вымахавший себя мне навстречу Грацианов оказался типичным врачом-естественником, либералом земской складки, неугомонным местным деятелем «с идеей и направлением». Представив меня своей жене, преподавательнице женской гимназии, круглолицей, мякотелой Мелании Павловне и ее коллеге, выдающемуся математику Мурашову, мясистому, кудрявому паучку с очками-лупами на почти совсем слепых глазах, Грацианов шумно и весело подвел нас к столу. Потрясывая чуть седеющею, козлиною бородкою над неустанно катающимся кадыком, Грацианов с плутоватым видом рассказывал мне, что раздул секцию чуть ли не в народный университет на основании «малюсенькой запятой». «Как врач, — посмеивался он, — я получил разрешение на устройство лекций по вопросам гигиены воспитания и образования, только и всего. Но согласитесь, что гигиеной, хотя бы

и гигиеной воспитания, нашей русской жажды образования не утолишь. Вот я и рискнул потихонечку вставить после гигиены малюсенькую запятую. Так оно и получилось: секция по вопросам гигиены — раз, по вопросам воспитания — два, по вопросам образования — три. По таким трем рубрикам всё, что угодно, провести можно и кого угодно выписать. Препятствий со стороны местных властей, слава Богу, пока не встречаю, смотрят сквозь пальцы. Рад, очень рад вас послушать, в «бюро» очень хвалят, говорят «из молодых, да ранний»...

Похвала, что греха таить, была мне в те времена весьма приятна. Хотелось не ударить лицом в грязь. Подготовлен я был тщательно, но меня беспокоила невозможность хотя бы приблизительно представить себе какая вечером соберется публика. Я никак не мог решить, надо ли читать так, как я читал в Москве, в открытом заседании «Религиозно-философского общества», или скорее на уровне «Пречистенских рабочих курсов».

За послеобеденным чаем я попросил Грацианова рассказать мне, что за народ ходит на лекции. Его рассказ не облегчил моего положения, скорее наоборот — усилил мое волнение. Оказалось, что на всякого нового лектора поначалу из любопытства собираются все, со временем же у каждого создается своя аудитория, у одних — большая, у других — малая.

Вернувшись в номер, я надел сюртук, еще раз просмотрел свой конспект, отложил его в сторону и повернувшись лицом к стульям, окружавшим овальный столик, начал громко и внятно свою лекцию. Я решил читать как можно более просто, но по существу ничего не упрощать. Начал я свою лекционную деятельность в Нижнем с небольшого четырехлекционного курса на тему «Россия и Европа, как проблема русской философии истории».

Могу сказать, что в Нижнем я пришелся ко двору. У меня быстро создалась своя, довольно большая и верная аудитория. Её отличительной чертой была, как социологическая, так и психологическая пестрота. Сразу же утратив некоторых слушателей разных лагерей из-за трудности моих лекций, я не утратил ни одного лагеря. На все мои лекции до конца ходили как народники, так и марксисты, как представители свободных профессий, так и сормовские рабочие, как весьма пожилые люди, так и учащаяся молодежь.

Дожив незаметно до пятидесяти пяти лет, я ясно сознаю, что будучи человеком определенно волевым и не лишенным практических способностей, благодаря своей исключительной

многосторонности и емкости сознания, остался в жизни как-то не у дел. В глубине души я об этом не жалею: лучше без внешнего дела пребывать в истине бытия, чем одностороннею волею громоздить так называемые великие события. Но иногда, когда душа мелеет, становится всё же грустно при мысли, что вот Владимир Петрович Потемкин, так же как и я объезжавший провинцию по поручению «Бюро провинциальных лекторов», вертит в качестве заместителя Молотова судьбами России, а я сижу не у дел и пишу свои воспоминания.

Читая в Нижнем в продолжение трех сезонов, я мало-помалу перезнакомился со всеми более или менее интересными людьми среди своих слушателей. Как всюду, так и в Нижнем русская интеллигенция жила тесными идеологическими кланами. Отношение между кланами носило своеобразно-мистический характер нераздельности, но и неслиянности. Основною формою этого общения был нескончаемый идейный спор. Большой веры в возможность переубедить друг друга ни у кого не замечалось, тем не менее никому не приходила в голову мысль о прекращении бездельных словопрений. Вспоминая («Мои университеты») о П. Н. Скворцове, гордившемся тем, что он не читал никаких книг кроме «Капитала» Маркса, Горький не в шутку, а вполне серьезно называет его одним из лучших знатоков марксизма. Не странно ли, что ставшему к концу своей жизни всё же весьма начитанным человеком, Горькому не приходит в голову, что ученый, не читавший ничего кроме Маркса, не может быть хорошим знатоком марксизма, а может быть только узким марксистским начетчиком. Не зная ничего о Скворцове, я не могу сказать, мог ли этот глава марксистского кружка, в котором в 89-90-х годах вращался Алексей Максимович, еще жить в Нижнем во время моих наездов в него. Дух его был во всяком случае жив. Помню, что меня не раз возили на какие-то чаи, где уже исчезнувшие из моей памяти люди, гордые тем, что они никогда не читали романтиков, мистиков, церковных и других «обскурантов», с сектантской страстностью и начетнической эрудицией хором доказывали мне вредность моих эклектически-беспринципных лекций. Представительницей марксизма в нижегородской легальной прессе была женщина-врач Бродская, иронически называвшая меня в своих рецензиях «сладкоголосою сиреною» и всячески старавшаяся скомпрометировать мое «левизною приправленное, реакционно-славянофильское мирозерцание» в глазах передового нижегородского общества.

Совершенно иначе относились ко мне в народнических кругах,

где еще жили воспоминаниями об эпохе Короленко и недолюбливали Горького. С особою благодарностью и даже нежностью вспоминаю Настасью Петровну Ульянову, у которой был дважды в гостях: бедно обставленная комната, чайный стол со скромной закуской, за столом хозяйка, уже седеющая женщина с очень умным и очень русским лицом толстовского склада и еще несколько тихих, симпатичных гостей. Ото всей дружной «идейной» семьи веяло теплотой и грустью: один из сыновей Ульяновой только что ушел в ссылку. Не думаю, чтобы Настасья Петровна разделяла все те религиозно-философские взгляды, которые я тогда проповедывал. Не думаю также, чтобы её очень интересовал мой курс об основных проблемах эстетики Возрождения, концепцию которого я вывез из своего пребывания в Италии. Мною, как оратором, она тоже вряд ли увлекалась, принадлежа, как мне кажется, к тем духовно целомудренным русским женщинам, которым всякая эффектность не по душе. Я же в молодости был безусловно весьма эффективным оратором, т. е. лектором не совсем хорошего вкуса. Тем не менее Настасья Петровна меня не только сразу же оценила, но даже и полюбила. До сих пор у меня хранятся подаренные ею мне «Исторические письма» Лаврова, с трогательною подписью: «Да хранит Господь Бог вашу светлую голову от тины житейской». Как у всякого писателя, на моих книжных полках стоит много книг с автографами, но ни одна из них меня почему-то так не радует, как потрепанная серенькая книжечка с этими умирительно старомодными словами, начертанными четким, крупным почерком.

Кроме широкого слоя лево-партийной интеллигенции в Нижнем существовала и небольшая группа людей по-разному близких тому духовно-общественному течению, которое кем-то было весьма неудачно названо безвкусным словом «неоправославие». Из них наиболее интересным был А. С. Волжский-Глинка, к которому я как-то зашел знойным летним днем, чтобы поговорить о его статье «Около чуда», только-что появившейся в сборнике о Толстом, который я рецензировал в «Логосе». Жил Волжский, как мне помнится, в деревянном сереньком домике, стоявшем в негустом саду. Не застав его дома, я решил подождать пока он вернется с купанья. С купанья философ вернулся в таком виде, что хоть опять в воду: красный, обливающийся потом, с расстегнутым воротом парусиновой толстовки. Подали квас, Волжский пил, всё время утирая свое потное, бородатое, обрамленное поповскими волосами лицо мохнатым купальным полотенцем.

Настоящего разговора о религиозно-философских вопросах не вышло, помешала жара. Всё, что осталось в душе от посещения Волжского, до конца слилось с тем благодатным ощущением жизни, о котором главным образом и шла речь в статье Волжского о Толстом: глубоко, глубоко врос этот огромный гений корнями своими в родную почву, в самое сердце земли. Он весь почвенный, землистый, душистый, корневой, красочный, зеленый и развесистый. Влажный чернозем на ласково пригревающем солнышке. В вышине лазурные дали, в глубине, в пахучей божьей земле божьи семена и для божьих же человеков.

Увидав впоследствии Волжского за зеленым столом Религиозно-философского общества в Москве (длинное желтое лицо, закинутые за уши прямые волосы и строгие очки) я не сразу узнал его, до того его постный городской вид оказался непохожим на тот роскошный летний день, которым я был у него. Этот день сливается в моей памяти с другим длинным летним днем, проведенным на дачке у молодого учителя Мишенькина. Мишенькина я заметил на первой же лекции и, заметив, сразу же прилепился к нему.

Люди публичных выступлений, артисты, ораторы, лекторы хорошо знают, до чего важно иметь среди публики твердые опорные пункты. Как бы выступающий ни был уверен в себе, в минуты утомления им неизбежно овладевает ощущение, что аудитория начинает скучать и уходить от него. Вот в такие минуты и бывает ему необходимо почувствовать связь с аудиторией, хотя бы только в лице двух, трех внимательных слушателей. Таким офицером для связи я и прикомандировал к себе в свое первое же выступление Мишенькина. Очень красивый брнет спасительской внешности, со страдальческой складкой на лбу, бесценно одетый в черный, двухбортный пиджак, он положила ногу на ногу, скромно и неподвижно сидел всегда с краю, неподалеку от кафедры.

Приехал я к Мишенькиным к раннему обеду. Приняли они меня так просто и радушно, как малознакомых людей умеют принимать, кажется, только в России. Накормили чудесною, янтарною ухой и крупною душистою клубничкой. После обеда пили мы чай с вкуснейшим сладким пирогом. Спасибо Мишенькиным за привет и старание. За чаем душевно разговаривали о том, о сем. Потом гуляли над Волгою, дышали необъятными земными и небесными далями, под вечер сидели на крылечке, любовались закатом, жгли костры от ко-

маров и уже по-настоящему, вплотную беседовали о христианстве и просвещенстве, о России и революции, о Москве и провинции, об учительском призвании и о трудностях провинциального учительствования.

Уехал я очень поздно, с последним пароходом, в радостном ощущении что познакомился с настоящими людьми, интеллигентами новой формации, которые и Бога не отрицают, и культуру любят, и социальной справедливости жаждут. Смущало меня только некоторое уныние Мишенькина, какая-то грустная сумеречность его образа. Думаю, что он был очень одинок и что ему было непосильно пробивать себе дорогу среди старых сил России клерикального черносотенства и атеистически-революционной интеллигентщины.

Одним из видных православных реакционеров был в Нижнем доктор Н., который меня долго мучил своими письмами. Репутация у моего корреспондента была неважная: ханжа, черносотенец, карьерист. Мишенькины с ним не были знакомы и удивлялись тому, что я вожусь с ним.

Ханжой и черносотенцем доктор Н., человек, судя по письмам, тяжелый, одинокий и очень самолюбивый, из породы русских самоистязателей, думается, не был, но казаться таковым он мог. Трагедия доктора заключалась в том, что не нуждаясь в молодости в Боге, чтобы любить людей и помогать им, он придя к своим пятидесяти годам к Богу и церкви, потерял всякий интерес к людям: «Объясните, — писал он мне, — почему я, некогда народник-идеалист, горевший жаждою помощи ближнему, теперь свидетельство о смерти ловчусь не выдать, пока не зажму трешницы в кулаке, а в церковь хожу и даже практики не могу начать не перекрестившись». Что я отвечал доктору — не помню, помню только мучение, которое я испытывал, отвечая ему. Для настоящего ответа у меня в 27 лет еще не было ни жизненного опыта, ни духовной зрелости. В живом разговоре я, быть может, и нашел бы какое-нибудь нужное доктору слово, но разговора утрюмый, бледный, рыжий доктор очевидно боялся. После лекции он каждый раз быстро здоровался со мною и уходил не позвав к себе.

Описывая своих нижегородских слушателей, я невольно спрашиваю себя для кого пишу, кому могут быть интересны быстрые зарисовки почти мимолетных встреч, кроме меня самого? Но потом утешаю себя мыслью, что господствующий не только в математике, но и в жизни закон бесконечно большого значения бесконечно малых величин быть может поможет моим читателям выяснить себе духовный облик дореволюцион-

ной провинции и то, чего она ждала и даже требовала от лектора.

Мое отношение к философии заставило когда-то профессора Виндельбанда указать мне на то, что его личные метафизические убеждения не являются предметом университетских занятий. Россия, в особенности провинциальная, такого разграничения личной и общественной метафизики не признавала. От философа, как впрочем и от всякого человека, говорящего с кафедры, она требовала личных убеждений, почему и завязывала с ним личные отношения. Глубоко личные вопросы ставил мне не только очерстневший в Боге доктор, ставили их и приходившие в ермолаевские номера поговорить со мною о воспитании детей матери, и жены, запутавшиеся в брачной жизни, и молодые люди, ищущие смысла жизни.

Смешно подумать, но даже на каком-то гимназическом балу, куда меня затащили мои слушатели, какая-то весьма энергичная ученица старшего класса, «ярая и убежденная индивидуалистка», взволнованно доказывала мне, что я, защищающий начала личности и свободы, обязан пойти к её отцу и убедить его в том, что он не смеет препятствовать ей строить свою жизнь по собственному разумению. Требование было предъявлено с такою юною, нравственною серьезностью, что мне пришлось познакомиться с родителями моей клиентки и сделать всё возможное, чтобы добиться у отца разрешения отпустить дочь в Москву на Высшие курсы.

Как ни много давали мне лекции устраиваемые грациановской запятой, большее нравственное удовлетворение я получал от своего преподавания на губернских и уездных учительских курсах. Слушателями были почти исключительно учителя и учительницы, большинство которых съезжалось в Нижний из разных берложьих углов. Настроение (у молодых, в большей степени, чем у старых, и у женщин в большей степени, чем у мужчин) было праздничное: в «храм науки» трудовая интеллигенция верила с такою же страстностью, с которою отрицала церковь. Татьянин день, день основания Московского университета, был её любимым престольным праздником. Читал я на учительских курсах в радостном ощущении того, что воля и вера моих слов действительно доходят до внимательной и благодарной аудитории, чувствующей мою любовь к ней. По окончании лекций «благодарные слушатели» поднесли мне адрес, составленный в очень теплых выражениях

и серебряный бокал с изображением оленьей головы и выгравированною под нею трогательною надписью.

Идейные нижегородцы, вроде Настасьи Петровны и Мишенькиных, не раз давали мне деликатно понять, что я напрасно отдаю часть своего времени недостойным меня, по их мнению, людям: всяким разбогатевшим на купеческих хлебах юрисконсультам, околачивающимся около нервных барынек, врачам, снобистическим купчикам с артистическою жилкою, актерам, служившим у Медведева, одним словом тому буржуазному гнезду, главными представителями которого считались дружившие друг с другом дома присяжного поверенного Пунина и женского врача Струнского. К доктору Струнскому, человеку эффектнейшей внешности — высокий рост, благородное лицо, победоносные глаза, серебряные волосы до плеч, эспаньолка и гордый постав головы на широких плечах — относились почему-то особенно подозрительно; злые языки из марксистского кружка нащепывали мне, что источником материального благополучия Струнского являются его крымские каникулы. В Крыму он будто бы завязывал многочисленные романы, а в своей нижегородской лечебнице развязывал их за очень большие деньги. Не думаю, чтобы в этом была хотя бы небольшая доля правды; русский человек любит позлословить ради красного словца, ради удовлетворения своего артистического зуда. Всё же не могу не согласиться, что в недовольстве мною моих лучших слушателей была некоторая доля правды; не обедай я у Пуниных, не ужинай я у Струнских, не ездь я вместе с Вовкой Блюменталь-Тамариным, талантливейшим актером и талантливейшим кутилой, за город, я безусловно смог бы сделать для дела просвещения, которому собирался серьезно служить, гораздо больше того, что я сделал. Но во-первых, я был молод и жаден до всех впечатлений жизни, а во-вторых, я ни в какой мере и степени не был идейным русским интеллигентом. Органически чуждый как всякому фанатизму, так и всякому фарисейству, я с большим удовольствием проводил вечера после лекций то у одних, то у других знакомых; рассказывал о загранице, спорил о постановках Художественного театра, слушал цыганские романсы, читал стихи и наслаждался тем оживлением, которое я вносил в общество. Как-то на войне, во время веселой пирушки, один из товарищей по бригаде, в мирной жизни ученый-экономист, до слез смеясь над каким-то моим рассказом и утирая глаза, сказал мне: «Ах, Федор, Федор, какой бы из тебя вышел ученый, если бы ты родился заикой»!

Помню свой последний отъезд из Нижнего. Приехав за долго до отхода поезда на вокзал, я стоял у открытого окна своего вагона и разговаривал с провожавшими меня слушателями, среди которых был и доктор Грацианов с женой и Муравьевым. Вдруг в дверях буфета первого и второго классов появилась веселая компания Пуниных. Впереди, откинув назад свою красивую голову, не без торжественности выступал доктор Струнский с большим покрытым салфеткой подносом в руках; на подносе пенились бокалы с шампанским. Около доктора суетились два лакея с запасными бутылками в руках и под мышками. Шествие направлялось к моему вагону. Я вопросительно и смущенно взглянул на Грацианова: такой «паратовский», волжский, апофеоз моей просветительной деятельности был бы всё же почти неприличен. Грацианов спросил кого-то в чем дело и, приподнявшись на цыпочках к моему окну, успокоенно произнес: «В этом же вагоне едет Плевацкая; пела она вчера, говорят, замечательно: стулья ломали. Вот наши жеребцы и пришли провожать».

Раздались бурные аплодисменты. Голова Плевацкой появилась к моему удивлению в окне соседнего купэ. Струнский, уже издали заметивший меня, поднес первый стакан Плевацкой, второй мне и, представив меня Надежде Васильевне, попросил у неё разрешения перейти «философу» в её купэ. «В одной раме удобнее чувствовать наших знаменитостей». Вставив меня с Плевацкой «в одну раму», Струнский, слава Богу, забыл обо мне.

К веселой компании за те четверть часа, которые оставались до отхода поезда, вероятно пристало довольно много никому неизвестных, случайно находившихся на вокзале людей. Во всяком случае, количество поднятых после третьего звонка бокалов показалось мне что-то уж очень большим.

Свисток. Поезд трогается, раздаются возгласы: «Спасибо, спасибо, никогда не забудем, приезжайте скорее опять!»

Таких близких отношений с аудиторией, как в Нижнем, у меня в других городах не создалось, да по редкости моих выступлений в них и не могло создаться. По два раза я выезжал только в Астрахань и Царицын, читая каждый раз по 2-3 лекции. В остальных же городах я читал по одному разу.

Народ на лекции всегда собирался охотно, слушали во всех городах внимательно, читалось легко. Наиболее живо во мне впечатление от Астрахани. Поначалу ужасное, к концу приятное.

Приехал я в Астрахань под вечер. Снял номер в мрачно-

ватой гостиннице и, поужинав, только что сел за просмотр своего конспекта, как ко мне постучался жирный, грязный швейцар и нагло подмигнув спросил, не привести ли мне «гимназисточку», есть «охочие». Получив отказ и не получив на чай за усердие, он вышел явно разочарованный и недовольный.

Встав на следующее утро довольно рано, я решил пойти осмотреть город и первым делом направился к гавани: грязь, толчея, крик, запах рыбы, керосина и всякой тухлятины; оборванные русские крючники, плосколицы, скуластые монголы (калмыки, киргизы, татары), быстрые черные евреи, потные нечесанные вихры, заломанные картузы, тибетейки на бритых головах, китайские косы, ушастые шапки и котелки в муке, живописные восточные халаты, рубахи, пиджаки — во всем дикий, пестрый перепуск Европы и Азии, размашистой торговли и голой нищеты.

«Что мне делать и как тут читать?», — думал я на обратном пути, остановившись перед громадною афишей, оповещающей астраханцев о моей лекции.

За день мои сомнения, однако, рассеялись. По дороге к присяжному поверенному Сацу, брату известного композитора Московского Художественного театра, к которому я был приглашен обедать, я убедился, что не все кварталы Астрахани этнографически столь пестры и живописны, как гавань. Так как Сац жил недалеко от музея, в котором я должен был читать (центральное место было в нем отведено экспонатам по рыбоводчеству и рыболовству и городской библиотеке), я решил зайти в оба учреждения и хорошо сделал, так как меня там уже поджидали. Здесь Астрахань повернулась ко мне своею другою стороною. Музейный зал оказался весьма приличным помещением, библиотека — хорошо составленным идейным учреждением. Выходя из библиотеки, я уже знал, что в городе есть живая, интеллигентная публика и что лекции охотно посещаются не только служащими, но и передовыми рабочими Нобелевских котельных заводов.

Милая, радушная, многими нитями тесно связанная с Москвой семья Сацов, подтвердила мне полученные в музее сведения. После славного обеда, начавшегося с пресной, крупной седой икры, которую здесь ели не чайными ложками, а десертными, я ушел в гостинницу и обласканным и обнадеженным.

Собравшаяся вечером в большом количестве публика вполне оправдала вызванные во мне надежды. В ней не было той социально-политической напряженности, того интеллигент-

ского нерва, которые в связи с борьбою короленковцев и горьковцев определяли собою психологию нижегородской аудитории, но всё же в ней чувствовалась живая тяга полуазиатской провинции к далекой Москве с её концертами, театрами и лекциями.

Кто собственно устраивал астраханские лекции, я не знаю; помню только, что я всё время был окружен семьею Сац, двумя рыбопромышленниками, из которых один был весьма православным, старозаветным русаком, а другой весьма светским, щегольски одетым красивым армянином и еще «пресным моряком», т. е. начальником водной дистанции, веселым человеком, типично русско-офицерской выправки, но балтийски-немецкого происхождения. Думаю, что эти весьма разносортные люди и были членами астраханского лекционного комитета. Если это предположение верно, то роли распределялись ясно. Сац был идейным руководителем всего дела, рыбопромышленники — довольно прижимистыми финансистами, а начальник водной дистанции — прекрасным администратором, способности которого я оценил на веселом вечере, устроенном им после лекции.

Как всё в довоенной России, так и провинциально-лекционные организации были всюду разными, мало похожими друг на друга. Всё зависело от случайного подбора общественных работников, от характера местной полицейской власти, от наличия подходящего помещения и от целого ряда других, неуловимых причин. В Царицыне могла бы развернуться настоящая работа, но что-то тому мешало. Уже почти достроенный «Народный дом» осиротело замер в лесах. Кто-то, помнится, мне его показывал, что-то мне о нем рассказывал, но так безучастно, что у меня в памяти ничего не осталось.

Хотя я ездил в Царицын два раза и оба раза читал по несколько лекций, я не помню не только устроителей, но даже и слушателей. От обеих поездок осталось лишь неприятное чувство безлюбо ведомого дела, безличной публики и моей личной неприкаянности в городе.

В Казани я читал в университетской аудитории; в первом ряду сидели профессора: отец и сын Васильевы и молодой историк, фамилию которого я забыл. Было много студентов и курсисток — уровень аудитории был выше, чем в Нижнем, не говоря уже о других городах. Читая я жалел, что не учел того, что Казань университетский город, в котором можно было бы читать глубже и строже, чем в других городах Поволжья. После лекции в Казани во мне снова усилилась мечта

об университетской карьере. Философ Васильев, представитель «логистики» в философии, вскоре после лекции был у меня в Москве и начал сотрудничать в «Логосе».

Прощаясь с Волгой, не могу, грешный человек, не вспомнить моих частых обедов на пристани: белые пароходы, белые чайки, перламутровые стерляди с зеленой петрушкой во рту, желтые ломтики лимона, золотистый Haut Sauterne в стакане, солнечные полуденные блики по всей шири реки — ах, как хорошо было. И не потому только, что у меня вся жизнь была впереди, а потому, что в жизни было меньше зла и безумия, чем ныне.

Очень отрадное впечатление осталось у меня от Пензы. На вокзале меня и мою мать встретил весьма франтоватый гимназист восьмого класса. В легком крене фуражки, в белых замшевых перчатках в левой руке, в офицерском растопыре пальцев у козырька головного убора было нечто подчеркнуто военное. «Откуда это?» — подумал я, здороваясь со шеголем. Проводив нас в гостиницу, Николай Димитриевич Волков, впоследствии дельный театральный критик, автор интересной монографии о Мейерхольде и сценария «Анны Карениной», показ которой Московским Художественным театром на Всемирной Парижской выставке произвел на меня, несмотря на явные недостатки спектакля, громадное впечатление, учтивейше пригласил нас обедать у его родителей. Идя к Волковым я думал, что попаду в какой-нибудь реакционно-чиновничий дом. Предположение это оказалось ошибочным. Недалекий путь от гостиницы к Волковым привел нас в типично интеллигентский дом зажиточного частного поверенного, где кроме хозяев нас уже ждали — скучно в провинции — административно высланный экономист Громан, занимавший впоследствии крупный пост в Советской России, и философ Богданов, близкий немецким эмпириокритицистам, социал-демократ. Наружность Волкова-сына оказалась таким образом не наследственной, а скорее полемической: протестом юноши 20-го века, новые люди которого всё равно — коммунисты ли они, фашисты ли, спортсмены ли, или спецы, все одинаково отчетливы, — против внешней и внутренней ватности людей 19-го века. Дельные, четкие и самодовольные юноши и девушки типа молодого Волкова стали мне впоследствии всё чаще и чаще попадаться на глаза. То, что тебя поразит, всегда снова выплывает перед тобою.

Уже первая лекция прошла с большим успехом. *Рапа* Волков говорил, что на вторую придет больше народу и прием

будет еще теплее. Он не ошибся. Аудитория психологически была ближе к нижегородской, чем к астраханской. Думаю, что если бы не война, у меня с пензяками сложились бы такие же сердечные отношения, как с нижегородцами.

Думая о Пензе, я с удовольствием вспоминаю свои беседы с горячим, остроумным и пленительным Громаном и мое утреннее посещение Богданова: его благородную, красивую голову и его совсем не социал-демократическую, мягкую и толерантную манеру спорить. Вспоминаю я, наконец, и чистенькую, кругленькую старушку в деревянном домике дикого цвета, у которой мы с матерью покупали знаменитые пензенские платки. Боже, каким миром веяло от её маленькой комнатки со множеством темных, старых икон в углу и большим шкафом, доверху набитым белоснежными, пушистыми платками, от её живых глаз, добрых морщинок и быстрых пухлых рук, которыми она любовно развешивала перед нами свои изделия, цену которых она однако очень хорошо знала и цепко отстаивала. «Богу богово, кесарю — кесарево, а мамоне — мамоново», так оно было спокон веков, так оно и будет до окончания мира, сколько против этого ни спорили бы административно-ссылные социалисты!

Поездка в Николаев-Херсонский была моею первою поездкой на юг России. До поездки этот юг был для меня лишь отвлеченным географическим понятием. Живого представления об Украине, как об особом лице России, я не имел. Гоголь был для меня таким же русским писателем, как и Тургенев. Ничего существенного в том, что один родился в Сорочинцах, а другой в Орле, я не видел. Ясно, что у каждого писателя своя родина — над чем же тут задумываться.

Однако в Харькове, где я остановился, чтобы переговорить с Лезиным, предлагавшим мне сотрудничество в его журнале «Вопросы психологии и философии», мне почувствовалась какая-то особая украинская атмосфера.

Когда же я, после многочасовой езды в затхло, прокуренном вагоне, с грязными, сбитыми парусиновыми чехлами, вышел в Полтаве на тишайшую вечернюю прохладу и глубоко затянулся густым и благоуханным, как липовый мед, воздухом, я с восторгом почувствовал, что въехал в мир гоголевской «Диканьки», в тот

«Край, где нивы золотые
Испещрены лазурью васильков,
Среди степей — курган времен Батыя,

Вдали стада пасущихся волов,
Обозов скрип, ковры цветущей гречи
И вы, чубы, остатки славной Сечи».

Как жаль, что мы в свое время мало путешествовали по России.

В третьем томе своей «Истории моего современника» Короленко рассказывает об одной «определяющей минуте жизни», пережитой им в северной России: «Когда он, студент, ушел, меня вдруг охватило какое-то особое ощущение глубокой нежности... ко всей деревне с растрепанными под снегом крышами, ко всей этой северной, бедной природе с её белыми полями и темными лесами, с сумрачным холодом зимы, с живою весеннею капелью, с замаенною душой её необъятных просторов... Судьба моя сложилась так, что захватывающее чувство мне пришлось пережить на севере. Случись такая же минута на моей родине, Волыни, или на Украине, может быть я почувствовал бы себя более украинцем».

Какое было бы счастье, если бы украинцы чаще переживали «определяющие минуты жизни» на севере России, а великороссы, северяне — на Украине. Без такого переселения душ, населяющим Россию народам никогда не устроиться на своей великой и обильной земле: ненависти везде тесно. Возможно, конечно, такое «переселение душ» и без путешествий. Достаточно путешествий по далям русской литературы, не оставившей не воспетым ни одного медвежьего угла России.

В Воронеже я познакомился с замечательным стариком, который, годами сидя в своем стареньком, кожаном кресле, исколесил за книгой все «дали и веси» шестой части света. Проживал он в здании кадетского корпуса, но был не учителем, а всего только чиновником военного ведомства. О том, что для этого одинокого человека значила русская литература, современное поколение вряд ли может себе даже и представить. Для него было ясно, что глубина и полнота русской жизни целиком заключается в русской литературе. Реальная же жизнь представляет собою только сырой материал и бледный отсвет творчества. Жить — значило для него читать и разговаривать о прочтенном. Боже, до чего же он был счастлив, когда мы сидели с ним в его казенной комнате и разговаривали о современных писателях и поэтах, из которых он особенно чтит Сологуба. В выпущенном впоследствии Сологубом томе «Письма современников» помещено и письмо этого словолюба.

Ясно, что такие читатели, а их было немало в довоенной России, порождались убожеством нашей общественной и политической жизни, как ею же порождались и русские театралы. Но совсем еще неясно, какая жизнь более убога: та ли, что бедна большими политическими событиями, но богата творчеством, или та, которая, громоздя политические события, убивает искусство. Тезис Шпенглера, что главенство политики является типичным признаком вырождения культуры, как будто бы подтверждается происходящими на наших глазах событиями.

Думаю, что я был единственным московским лектором, который читал в Туркестане. Объясняется это тем, что мой отец одно время служил в Коканде: вводил там столовое хлопковое масло, которое вырабатывалось на принадлежащей его родственнику фабрике на Кавказе.

Гордый моими лекторскими успехами и очень скупавший по своим, он решил устроить мне ряд лекций в Туркестане. Оплату дороги он брал на себя, так что культурно-просветительным ячейкам Коканда и Ташкента осталось всего только заплатить мне небольшой гонорар. Читал я «О драмах Леонида Андреева» и «О смысле жизни». Публики было немного, охрипший в дороге, я читал с трудом, отец был несколько разочарован. В Ташкенте лекция не состоялась.

Как все колониальные города, Коканд распадается на старый, сартский, и на новый, европейский город. В европейском даже и менее состоятельные дельцы жили на широкую ногу; в азиатском и богатеи, на европейский взгляд — весьма убого.

Отец жил в небольшой, очень светлой, застланной коврами квартире в лучшей части европейского города. При нем в качестве повара и лакея состоял татарин Махмед, соединявший в себе все лучшие качества старорежимного денщика: он ухаживал за своим барином с трогательною преданностью, пронюхивая и добывая в городе всё, что только можно было добыть. В саду, в ветвях развесистого дерева он соорудил деревянную площадку с шатром, где очень страдавший от жары отец спал в особо жаркие ночи. Впоследствии, когда отец открыл новое дело в Москве, он привез с собою и своего верного Махмеда, который однако с матерью не ужился и, к величайшему прискорбию отца, решил вернуться на родину.

Старый Коканд представлял собою сплошной базар, **про-**резанный прикритою от солнца брезентами и устланною перед некоторыми лавками прекрасными восточными коврами, тем-

новатой улицей. Жизнь и торговля этого базара совершалась у всех на глазах, так как в отличие от Станиславского, боровшегося за «четвертую стену» в театре, сартские купцы и ремесленники прекрасно обходились без неё даже и в жизни. Лавочки и мастерские лепились одна рядом с другой, как открытые сцены, на которых в пестрых халатах и тюбетейках, не обращая ни малейшего внимания на уличную жизнь, занимались своими делами живописные сарты. Поначалу мне было очень странно проезжать старым городом. Казалось, что едешь не по улице, а по какому-то большому квартирному корридору.

Однажды я зашел побриться к сартскому парикмахеру. Натерев мне щеки каким-то едким порошком и побрив их с быстротою молнии, он, перед тем как подняться с табуретки, внезапно схватил мою правую руку и с такою силою завел её за спину, что я невольно подумал, как бы он мне её не вывихнул; проделав то же самое с левой рукой, он дружески потрепал меня по плечам, что очевидно означало, что всё кончилось, как нельзя лучше и что я должен быть им весьма доволен. Что означал этот неожиданный массаж, я до сих пор не знаю.

Хуже парикмахерской операции был обед у старого сарта, с которым отец вел какие-то дела. На этом обильном и чинном обеде мне пришлось впервые руками есть невероятно жирный, приторно-сладкий плов с большими кусками вонючего, курдючного сала. Впрочем не могу жаловаться, так как за перенесенные за обедом муки я был вознагражден подаренными мне шелковым халатом и тюбетейкою, которые впоследствии имели большой успех на маскараде в доме Маргариты Кирилловны Морозовой.

Уже по дороге в Коканд, стоя у открытого окна спального вагона и с удивлением смотря на молящихся восходящему солнцу сартов в белых халатах, с воздетыми к небу руками, на нагруженные пестрою кладью арбы, на очаровательных серых осликов у белой станционной стены, на вытянувшихся в караванную цепь верблюдов, мерно колыхавших вдали сви трудовые горбы, я чувствовал до чего необъятна Россия, до чего разнообразна и живописна она и до чего мы её в сущности мало знаем. За время почти что месячного пребывания в Туркестане моя зачарованность отнюдь не колониально-чужеродной, а вполне естественно-органической экзотикой России еще усилилась во мне. Лишь набравшись воздуха наших экзотических окраин, я реально восчувствовал имперскую великодержавность России, которая до тех пор

была для меня пустым звуком в громком титуле государя императора. Как это важно воочию увидеть: всё не виданное своими глазами неизбежно остается и недопознанным для нашего ума. Не даром «теория» в исконном греческом смысле этого слова значит — созерцание.

Сейчас, когда явно колеблется, а многие думают, что уже и рушится великая Британская Империя, становится невольно страшно и за Россию. Сумеет ли она после падения большевицкой власти так мудро сочетать твердость государственной воли с вдумчивым отношением к духовным и бытовым особенностям ведомых ею народов, чтобы оказаться достойной владеть просторами, в которых не заходит солнце? Представить себе только: на севере — несутся запряженные оленями или лайками легкие саночки, на востоке — медленно, но споро несут тяжелые клады переваливающиеся верблюды; на юге, в ярме, на человека работают черные буйволы. И всё это не в колониях и доминионах, а лишь в разных частях единого, материкового океана.

Какое счастье дышать такими далями. «Мы русские — какой восторг» (Суворов) — но и какой соблазн.

Федор Степун

А М А Л И И

Люблю тебя ясную, несмелую,
 Чистую, как ромашка в поле.
 Душу твою люблю я белую,
 Покорную Господней воле.

И радуюсь радостью бесконечною,
 Что дороги наши скрестились.
 Что люблю тебя любовью вечною,
 Как будто мы вместе — уже молились.

26 марта 1911, Париж

З. Гиппиус

З. Н. ГИППИУС В ПИСЬМАХ

Поэт, драматург, романист, литературный критик, публицист, если хотите политик, — таков послужной список Зинаиды Николаевны Гиппиус-Мережковской. Он сделал бы честь не одному человеку, тем более женщине, начавшей писать в 80-х годах прошлого столетия.

В иерархии литературного творчества вершиной — даже выше драматургии — принято считать поэзию. За последние, примерно, четыре десятилетия Гиппиус странным образом отдавала предпочтение политике и публицистике перед поэзией. Несмотря на все политические неудачи постигавшие и лично З. Н. и ее окружение, политика неизменно влекла ее к себе. И до самой своей кончины не переставала она политически метаться из стороны в сторону, меняя, иногда на протяжении месяцев, героев своих политических увлечений, но неустанно возвращаясь к своей неистребимой «страсти».

В вопросах общего или «миросозерцательного» порядка Гиппиус светила отраженным светом, падавшим на нее от Д. С. Мережковского, тоже поэта, литературоведа и мыслителя-эрудита. Многолетний секретарь Мережковских, В. А. Злобин утверждает, что Гиппиус была и зачинательницей идей и планов, которые с изумительной чуткостью воспринимал и разрабатывал Мережковский. Кто бы ни был инициатором и творцом связанной с именем Мережковского религиозной мистики, — Гиппиус сводила эту мистику с заоблачных высот на землю, связывая отвлеченные размышления со злобами дня и популяризируя их в периодической печати.

З. Н. Гиппиус пользовалась всероссийской известностью. У нее бывало множество поклонников ее таланта, в разное время разных, и, как оказалось, — до невероятия мало верных друзей. Одним она изменила. Другие, как она была убеждена, изменили ей. По своенравной своей натуре З. Н. неспособна была подчиняться или следовать чьему-либо руководству. Но и за собой она не умела вести. Почти все единомышленники в философской, литературной, политической областях отошли от Мережковских раньше или позже. Редко кто просто от-

странялся. Чаще отходили с возмущением, а то и с проклятиями. Достаточно вспомнить Блока, Белого, Ходасевича.

За ум и острое, жальщее перо Гиппиус сравнивали со змием и даже с вульгарной «змеей подколенной». Гумилев называл ее «больной жемчужиной». Ремизов — «вся в костях и пружинах, устройство сложное, но к живому человеку никак». Петербургские иерархи называли «белой дьяволицей». Даже друзья, сохранившие верность, по свидетельству Злобина, — «ведьмой». А Белый живописал ее, как «епископессу, благословлявшую собравшихся лорнеткой и миропомазывавшую перчаткой».

На замечательном портрете Льва Бакста молодая Гиппиус — в мужском костюме с заложенными в карманы руками, рукава окаймлены кружевными манжетами, а ноги, изящные, тонкие, длинные перекинуты одна на другую. Полуоткинувшись и склонив голову, с кокетливым задором взирает она на мир прищуренными близоручими глазами. Это Гиппиус первых десятилетий своей деятельности, «вяще изломившаяся» символика и декадентка, приятельница Брюсова, Минского и Воынского, жрица чистого искусства, не считающаяся ни с какими предрассудками и ни с чьим самолюбием. Это эпоха крайнего самоутверждения: «Люблю себя как Бога» и «Хочу того, чего нет на свете».

О Гиппиус этого периода написано уже немало и будет написано, конечно, еще больше. Моя тема более ограничена и специальна. При всей бесспорности Гиппиус-поэта, который останется в истории русской поэзии, имеется еще жанр литературы, который, по мнению многих, в том числе поэтов и литературных критиков, является высшим достижением в многообразном и разнохарактерном творчестве Гиппиус. Это — ее эпистолярное творчество. Г. Адамович утверждает: «рано или поздно станет общепризнанной истиной, что отчетливее, сильнее всего талант З. Гиппиус, «единственность» ее личности, — как выразился в дневнике своем Блок, — запечатлены не в стихах, не в рассказах, не в статьях, а в частных ее письмах».

Так случилось, что в течение 15 лет, с 1923-го по 37-ой год, я оказался в числе адресатов и корреспондентов З. Н. Наша переписка — деловая, политическая и личная — связана с сотрудничеством Гиппиус в «Современных Записках» и моим положением в журнале: одного из редакторов, выполнявшего и обязанности секретаря редакции. Ничего сенсационного письма З. Н. в себе не заключают. Но они характеризуют эпи-

столярный стиль и вкус Гиппиус и, тем самым, характеризуют ее как человека и «политика» со всеми капризными переходами от серьезного и глубокого к по-женски мелочным, раздраженным и даже оскорбительным нападкам и уверткам. Кое-что в этих письмах представляет интерес и для общего познания эпохи и литературного быта русской эмиграции в Париже 1920-х и 30-х годов. Нелишним будет предпослать краткое описание знакомства с З. Н. Гиппиус и общей обстановки, в которой переписка возникла и протекала.

**
*

В первый раз я встретил З. Н. Гиппиус, в сопровождении Д. С. Мережковского и Д. В. Filosofova, в конце 1911-го года у моих близких друзей Фондаминских, когда я попал из Нарымского края в Париж. Знаменитое трио показалось мне не слишком привлекательным. Один только Filosofov — эффектной внешности, большой культуры и отличного воспитания — держал себя просто. Но он был на положении «второй скрипки». Первую роль играли Мережковские, которые не говорили, а вещали, не беседовали, а громили и пророчествовали, ни с кем не соглашаясь и оспаривая даже друг друга. Явственно звучало, что они не как все прочие, а особенные — из другого мира, если не вне сего мира. К окружавшим они снисходили, нисколько того не маскируя и как бы только жалея о потерянном зря времени.

Это не значит, что Мережковских другие не интересовали. Они интересовались многим и разным. Мне пришлось быть свидетелем живейшего интереса, проявленного Гиппиус к только что бежавшей с каторги террористке Мане Школьник. Она бросила бомбу в черниговского губернатора Хвостова и была приговорена к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Пять лет спустя Школьник удалось бежать и по пути из Сибири в Америку она очутилась в парижской гостиниой Фондаминских.

Вскинув лорнетку на черной ленточке и наводя на Школьник близорукий глаз, З. Н. томно вопрошала:

— Скажите, а как теперь вы за террор или против него?

Это был интерес небожителя к антропиду или к существу с другой планеты. Непривыкшая к дискурсивному мышлению террористка оробела и пыталась уклониться от ответа на мучительный вопрос. Не тут-то было: изысканная поэтесса

продолжала насаждать на экзотическую для нее разновидность тоже-человека. Впечатление осталось тягостное.

Вернувшись из заграницы в Петербург, Мережковские стали всё активнее интересоваться политикой, особенно когда началась война. Ближе к 17-ому году они стали неким «центром», вокруг которого скоплялись и вращались люди, вести, слухи, сплетни, которыми жил предреволюционный Петроград. Здесь обменивались мнениями и спорили, ставили прогнозы и строили планы, — и всё это с большей или меньшей точностью заносила в свой дневник¹ любезная хозяйка. Если судить по опубликованным Гиппиус «Черной» и «Синей» книгам, автор считал, что, влияя на своих собеседников, он тоже делал политику. При мимолетном моем посещении «салона» Гиппиус, весной 17-го года превратившегося в своего рода проходной пассаж для всех, я такого впечатления не вынес, — ни от самой хозяйки, ни от ее посетителей.

Когда началась первая мировая война, Гиппиус была против нее: против «православного патриотизма» и «аксаковской славянофильщины», за — «анти-национализм». Не прошло, однако, и полугода, и в первой половине 15-го года Гиппиус была уже за успешное продолжение и окончание войны — на свой лад. Она ни с «правыми», ни с «средними», ни с «левыми» — «ни Дурново, ни Милюков, ни Чхеидзе»; она за «революционно-творческое начало» в отличие от эволюционно-творческого и революционно-разрушительного. В будущем она назовет это «Честным центром» или «Третьим путем».

До конца дней своих Гиппиус оставалась при убеждении, что не она изменяла своим политическим идеям и друзьям, а эти последние изменяли своим взглядам и, тем самым, ей.

«Пусть это мне и не в заслугу,
Но я Любви не предавал,
Ни Ей, — ни женщине, ни другу
Я никогда не изменял».

В действительности же Гиппиус политически изменяла Струве ради Милюкова с Философовым, им ради Керенского и «предавала» Керенского Савинкову и Корнилову, чтобы несколько лет спустя проделать тот же путь в обратном направ-

¹ Дружившая с Гиппиус в последние годы жизни Тэффи утверждала, что «предсказания» записывались Гиппиус в дневник задним числом. («Нов. Р. Слово» от 12 марта 1950 г.).

лении: от Савинкова к Милюкову и Керенскому. Об одном и том же политическом деятеле на страницах дневника Гиппиус можно встретить: он — «единственный», «гениальный интуит», «я в него верю; лишь бы ему не мешали», а 50 страницами дальше: он — «вагон, сошедший с рельс, вихляет, качается, болезненно и без красоты малейшей».

Вновь встретил я З. Н. Гиппиус в эмиграции, в начале 20-ых годов. Мережковские появились на парижском горизонте уже потрепанными — с опаленными политическими крыльями. На пути из советской России первым их этапом была Варшава. И в правителе Польши Пилсудском Мережковские узрели тройственный лик совершенства, воплощенную мудрость, подвиг и красоту, и даже — «дух Божий». К этому времени Гиппиус опубликовала в «Русской Мысли» П. Б. Струве и свою «Черную книгу». В ней совершенно отчетливо проступали юдофобство и проклятия тому, что автор сам благословлял раньше — в пятом и семнадцатом годах. Писания Гиппиус были исполнены жгучей ненавистью «ко всяким евреям и еврейкам», а не только к «Бронштейнам и Нахамкесам». И не только большевики, но и правые эс-эры или левые кадеты, — все одинаково вызывали негодование Гиппиус, продолжавшей себя одну считать правой и в прошлом и в настоящем.

Естественно, что от Мережковских отвернулись многие даже из бывших друзей. Либеральные круги эмиграции встретили Мережковских с опаской. Радикальный Париж отнесся к ним недружелюбно, даже враждебно. Одно время они были почти изолированы от всех кроме немногочисленных друзей. Милюков не сразу согласился дать место бывлой сотруднице «Речи» на столбцах редактируемых им «Последних Новостей». И когда Гиппиус начала там печататься, она недолго удержалась и вынуждена была из «Последних Новостей» перейти в гукасовское «Возрождение».

И в «Современные Записки» Мережковские попали не сразу. Им помогло настойчивое предстательство их давнего и верного друга И. И. Бунакова-Фондаминского, одного из редакторов журнала. И, главное, — обязательство, взятое на себя «Совр. Записками» и напечатанное в первом же номере журнала. «От редакции» заявлялось, что журнал открывает свои страницы «для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры». Мы подчеркивали, что «границы суждения авторов должны быть особо широки (именно) теперь,

когда нет ни одной идеологии, которая не нуждалась бы в критической проверке при свете совершающихся грозных мировых событий».

Началось с «чистой поэзии»: в 10-ой и последующих 15 книжках «Совр. Зап.» напечатаны были политически «невинные» стихи Гиппиус. В 15-ой книжке появилось в «Совр. Зап.» и имя Мережковского. И с того времени редкая книга журнала не включала произведений Гиппиус или Мережковского, а то и их обоих. Почти всё литературно-философское творчество Мережковского тех лет, не целиком, конечно, прошло через наш журнал. В 18 книжках журнала появились: «Тайная мудрость Востока» (Вавилон), «Рождение Богов» (Тутанкамон на Крите), «Мессия», «Наполеон-человек», «Атлантида», «Отчего погибла Атлантида», «Назаретские будни», «Царство Божие», «Коммунизм Божественный». По мнению некоторых критиков и почитателей Мережковского эти произведения являются вершиной его творчества. Большинство членов редакции «Совр. Зап.», и я в их числе, держались обратного мнения. Тем не менее мы его печатали — и в гораздо больших размерах, чем того хотели. Дорожа сотрудничеством Гиппиус, мы были вынуждены брать и Мережковского, как и в другом случае, — чтобы не оттолкнуть ценного для журнала сотрудника, приходилось принимать к напечатанию не всегда полноценные произведения его супруги. Это был один из многих компромиссов, на которые приходилось идти. Редакция обзывала своего сочлена Фондаминского, напярь всё его дипломатическое искусство и личный шарм, чтобы, по возможности не задевая самолюбия Мережковского, свести всё же к минимуму публикацию его бесконечных, всё тех же религиозно-философских аналогий и мнимо-исторических параллелей.

Иначе обстояло дело с Гиппиус. Ее сотрудничество представляло несравненно более живой интерес и ценность. Темы, которые она брала, были почти всегда актуальны. Даже говоря о прошлом, она связывала его с современным. И писала она отличным, образным языком. Острие ее пера обыкновенно направлялось не только против оспариваемых ею отвлеченных идей, но и против тех, кто олицетворял или защищал эти идеи. Помимо стихотворений и рецензий, Гиппиус дала журналу ряд литературных, публицистических и философских статей. Были напечатаны и две ее «Литературные Записи» за подписью Антона Крайнего.

Одновременно Мережковские печатались в «Последних

Новостях», «Возрождении», «Новой России» (под редакцией А. Ф. Керенского), в журнале «Числа» и в собственном журнальчике «Новый Корабль». Изредка выпускали и отдельные книги. Справедлива ли после этого жалоба, которую заявляет З. Н. Гиппиус в своей посмертной книге «Д. С. Мережковский»: «мы были так же нежелательны и неприемлемы для эмигрантской прессы, как юный Мережковский для тогдашней прессы русской. Д. С. почти ничего (!? — М. В.) не печатал в эмигрантских журналах и газетах, а писал очень много... Я тоже издала две книги в Праге, одну в Берлине, одну в Белграде, а как журналист — давно перестала существовать (!? — М. В.)». В этой тираде верно лишь то что не всё, написанное Мережковским в 20-х и 30-х гг., увидело свет. Главная причина лежала в общей скудости литературных возможностей и средств эмиграции. Но, конечно, играло роль и то, что не всё, что Мережковские писали, было приемлемо для тех изданий, для которых они предназначали свои писания.

В публикуемых ниже письмах читатель найдет отражение эпизода, доставившего много огорчений и осложнений руководителям «Соврем. Записок», равно как и самой Гиппиус. В первой же «Литературной Записи» Антон Крайний крайне резко и неудачно отозвался о Максиме Горьком, как «изъятеле» всяческих ценностей. Это был конец 23-го года, когда Горький, вместе с нами и Гиппиус, находился еще в эмиграции и был далек — во времени и в мыслях — от «триумфального» посещения Беломорского канала с восхвалением чекистов-палачей, как якобы мучеников, «осужденных историей убивать одних для свободы других». На Антона Крайнего и редакцию журнала посыпались с разных сторон нападки по двоякого рода основаниям: за контрабандный провоз политики под флагом культуры, как доказывал Милюков, и за то, что в «Соврем. Записках» создан «Ноев литературный ковчег». В прежние времена «где печатался Горький или Бунин, там невозможен был Антон Крайний и обратно», — заявлял в газете Милюкова Семен Юшкевич, упуская из виду, что кое-что с тех «блаженных» времен всё же изменилось и, в частности, — уже давно «невозможен был» Бунин, где печатался Горький, и обратно.

Пройти мимо этих нападок «Соврем. Записки» не могли и, по поручению редакции, появилось в «Последних Новостях» за моей подписью объяснение-самооправдание-сожаление по поводу допущенного недосмотра. В том же номере газеты были напечатаны и небходимые поправки Антона Крайнего и более или менее примирительное послесловие П. Н. Милюкова. Ин-

цидент этим был исчерпан. В очередной книге «Совр. Зап.» была напечатана вторая «Запись» Антона Крайнего — о послереволюционных советских писателях. Она была и последней. Имя Антона Крайнего отныне появлялось лишь под рецензиями, и то всего трижды.

«Современным Запискам» бывало нелегко с З. Н. Гиппиус. Она была очень мнительна, подозрительна, иногда мелочна и придирчива, капризна и язвительна, постоянно обижалась — и нередко без всяких оснований. У меня сохранился ряд черновиков, в которых редакторы журнала, каждый на свой лад, набрасывали проект письма к Гиппиус, в котором готовность дать удовлетворение даже неосновательной претензии сочеталась с желанием отстоять права и достоинство редакции.

Но и Гиппиус было нелегко сотрудничать в журнале, руководимом, по ее убеждению, пристрастными и недостаточно компетентными «партийцами». Ее затаенной мечтой было, конечно, постепенно «выпрямить» курс «Совр. Записок» и направить их по желательному для нее руслу. В редакции у нее был постоянный заступник и друг Фондаминский, и Гиппиус не раз пыталась «разыграть» его против редакции. Но это ей редко удавалось, так как Фондаминский не мог не считаться с «волей» редакции, т. е. большинства редакторов. С другой стороны для Фондаминского этих лет «Современные Записки» были превыше всего: их интересам он подчинял не только личные отношения, но и справедливость в отношении к сотрудникам. Незаслуженно пострадала от этого и З. Н. Гиппиус.

Когда Бунин передал нам рукопись своей «Митиной любви», Гиппиус предложила написать о ней — не рецензию, а в общем виде, — очерк, посвященный «Искусству и любви». Это предложение было принято редакцией с полным сочувствием и Гиппиус написала содержательную и интересную статью на предложенную ею тему. Она отдавала должное Бунину, как «воистину королю изобразительности». Сравнивала «Митину любовь» со «Страданиями молодого Вертера» Гёте, но наряду с этим она отказывала Бунинскому герою в праве называть свое чувство любовью, или «Эросом с его веянием нездешней радости». Гиппиус сближала чувство Мити в изображении Бунина с «гримасничающим Вождением с белыми глазами».

Это было в общей линии оценки Мережковскими литературного творчества Бунина. Они считали его непровзойденным мастером в описании природы, людей и вещей, «описателем»

— в отличие от писателей, которые, как Мережковские, о чем бы ни писали, не могут не касаться миров иных, смысла человеческого существования, мироздания, Бога. Очерк Гиппиус вызвал в Фондаминском опасение, как бы Бунин, с его повышенной чувствительностью ко всем отзывам о нем и, в особенности, к отзыву Мережковских, не ощутил себя задетым и не порвал с «Соврем. Записками», которые лишились бы тем самым красоты и гордости своего беллетристического отдела.

С Гиппиус Фондаминский был очень близок и дружен, даже на ты, и, мастер на выдумки, он придумал ad hoc «теорию» о том, что будто бы «элементарная вежливость» требует, чтобы очерк Гиппиус был показан Бунину до того, как появится в печати. Гиппиус имела все основания возмутиться и отвергнуть эту «теорию». Но дальновидность Фондаминского была оправдана: не долюбливавший «мережковщины» как «декадентщины» и «чертовщины», Бунин вышел из себя и фактически наложил запрет на появление очерка Гиппиус. И этому запрету — теперь бы сказали «вето», — увя, подчинилась и редакция журнала, и сама Гиппиус, — давшая выход своим чувствам в частных разговорах и письмах.

В письмах ко мне, с которым Гиппиус приходилось чаще всего иметь дело, эти трудности — ее и наши — проступали постоянно. В деловую переписку вклиниваются политические разногласия и то и дело «выяснение личных отношений». На страницах «Соврем. Записок» мы не спорили. Но это происходило попутно и параллельно — в письмах и газетах. З. Н. опровергала и обличала на столбцах «Возрождения» коллективного или «символического Вишняка», а тот воздавал ей по делам ее на столбцах парижских «Дней». Poleмика шла корректная, но не без яду. У меня сохранился один из фельетонов против Гиппиус, для которого был взят эпитафия из забытого стихотворения (1889 г.) Федора Соллогуба:

«Тогда последнего удара
Я равнодушно ожидал,
Но мой противник, злая мара,
Вдруг побледнел и задрожал.
Холодным тягостным туманом
Обоих нас он окружил,
И трепеща, скользким станом,
Он, как змея, меня обвил.

Глаза туманит, грудь мне давит,
 По капле кровь мою сосет,
 Мне душно. Кто меня избавит?
 Кто этот призрак рассечет?» (Дни от 4 мая 28 г.)

Несмотря на все трудности, неприятности и обиды, которые З. Н. претерпевала от «Совр. Записок», журнал, видимо, оставил длительный и глубокий след в ее сознании. Присутствовавший при том, как З. Н. умирала, свидетельствует, что и через пять лет после того, как журнал приказал долго жить, и после всего пережитого Гиппиус — и миром — за время войны, она не раз перечитывала книги журнала. «Толстый том «Современных Записок», который она, лежа после обеда на кушетке, читает, вываливается из рук» — в тот самый момент, когда у нее отнимаются правая рука и нога...

**
 *

Сказанным можно было бы и ограничиться, если бы не упоминавшаяся уже посмертная книга З. Н. Гиппиус о Д. С. Мережковском. Гиппиус писала о покойном, с которым прожила 52 года, не разлучаясь ни на один день, в 1943-44 гг., — незадолго до собственной смерти (9 сентября 45 г.). Она писала, конечно, со всей доступной ей искренностью и предельным приближением к своей правде. И в таком случае многое из того *что* и *как* она писала в публикуемых ниже письмах, приобретает иной смысл и освещение, нежели те, которые они имели 17-30 лет тому назад.

Написанная в естественных думках о конце своего жизненного пути, посмертная книга Гиппиус производит гнетущее впечатление: в ней нет почти ни одного доброжелательного слова ни по чьему адресу, если не считать, конечно, Мережковского и самого автора, хотя говорить «о себе в высшей степени неприятно — было и есть». Булгаков, Андрей Белый, Караташев, Дягилев, Керенский, даже Философов и Фондаминский, не исключая самого Владимира Соловьева, — все помянуты недобрым словом. И кем? Многолетней проповедницей «охристианизации земной плоти мира», религии «третьего завета» и «вселенского братства», автором стихотворения «Верность», посвященного И. И. Ф-му (Фондаминскому), где говорилось:

«Но сердцем бедным, горько-равнодушным
 Тебя — люблю, мой верный, навсегда».

В. Злобин свидетельствует, что «в кругу Мережковских» фраза — «когда однажды погибала Помпея, я завивала лапильотки» — стала «классической». По прочтении посмертного произведения Гиппиус, можно придти к заключению, что эта фраза точно соответствовала внутреннему отношению Гиппиус к миру и людям. В предельной гордыне, без самого отдаленного намека на собственные грехи и заблуждения — а сколько их было, тех и других, политических и иных — Гиппиус кичится своей непримиримостью к большевизму, отталкиваясь от *всей* политической эмиграции: «Интеллигенты-эмигранты, войдя или не входя в Церковь, будучи или не будучи масонами и евреями, всё равно не могли с полной непримиримостью к советской власти относиться...».

Конечно, З. Н. Гиппиус писала свою книгу в состоянии некоторого аффекта, в одиночестве, может быть, еще более для нее нестерпимом, чем нищета. Она озлобилась на весь мир. Это не меняет, однако, положения. Перечитывая сейчас письма Гиппиус в свете — или тени — отброшенным заключительным этапом ее жизни и творчества, я не могу отрешиться от вывода, что мысли и чувства, нашедшие выражение в письмах, мало соответствуют подлинному ее отношению к адресату и предмету, к которым она обращается. Я не слишком обольщался и обманывался и прежде, при первом чтении этих писем. Посмертная же книга убеждает, что и худшие опасения, увы, оправдались. Сейчас письма Гиппиус представляются мне разновидностью «прелестных писем», которые распространялись в смутное время с целью обольстить и склонить к переходу на свою сторону противника. Гиппиус была убеждена, что своими письмами она «делала политику» так же, как «делала» ее в 17-ом году, влияя на собеседников. Чем другим объяснить ту затрату времени и духовной энергии, которых потребовала даже от скоро пишущей З. Н. Гиппиус ее переписка с автором этих строк?

М. Вишняк

Знаки препинания, словоначертания и многоточия — самой З. Н. Гиппиус. Многоточием в скобках помечено опущение оскорбительных слов; невозможность разобрать текст отмечена словом «неразборчиво».

ПИСЬМА З. Н. ГИППИУС*

31 Дек. 23. Париж.

Дорогой Марк Вениаминович,

Боюсь, что вы не расположены принести мне корректуру моей «Записи», между тем там есть фатальные описки! Например — о расцветшем *Моисеевом* жезле, когда я внезапно вспомнила, что с ним этого никогда не случилось, а расцвел *Ааронов!* Нормальные люди будут упрекать меня в невежестве, а ненормальные, пожалуй, в антисемитизме: я не хочу ни того, ни другого.

Поэтому — нельзя ли мне всё-таки корректуру?

Искренно ваша З. Гиппиус.

Благодарю за «Коня»¹, которого мы взнуздаем. Всего приятного к Новому Году: демократической республики, например... только, извините, без Керенского с его бабушкой и дедушкой.

¹ «Конь Вороной» Ропшина-Савинкова.

Дорогой Марк Вениаминович,

Посылаю вам очень загадочное письмо¹. Сколько лет живу, а такого не получала! Прочтите его до *последнего полуслова*. Не знаете ли, от кого оно (ведь и на конверте не указано). Меня страшно интересует окончание! Каково бы оно было?.. если б было?

Я не верю в очень большие способности Бунина и Арцыбашева к устройению демократической республики; но очень боюсь, чтобы автор прилагаемого письма, если начнет ее устраивать, не ограничился бы лишь вступлением... отложив окончание по таинственным причинам...

Ваша З. Гиппиус

3 янв. 24. Париж.

¹ Незаконченное письмо было отослано без подписи.

1/14 янв. 24. Париж

По примеру Степуна, дорогой Марк Вениаминович, пошли теперь все «романы в письмах»: у нас с Милюковым уже было три (каждый раз с печальным концом), теперь, явно, с вами да параллельно с Илюшей¹... К счастью, все эти романы и литературнее, и осмысленнее Степуновского, а потому и не для печати... Через сто лет — посмотрим..

* За недостатком места мы вынуждены ограничиться опубликованием всего 13-ти писем З. Н. Гиппиус из сохранившихся у М. В. Вишняка 55-ти. Ред.

Не для того, чтобы убедить вас (я заметила, что редкие люди сознаются в своих ошибках, даже если их видят), но лишь ревнуя о логике и здравом смысле, я хочу вам заметить следующее: если б я была влюблена и не могла бы вам назвать имя моего «предмета» — вы, конечно, могли бы назвать меня «беспредметной». Но почему я погибла, если нейдю ни с Гучковым, ни с Черновым, и откуда ваше торжество? Больше: я, действительно, не могу идти даже с Милюковым, не говоря об Осоргине и Пешехонове с одной стороны, Шульгине и Струве с другой. Моя немецкая кровь причила меня к точности, самоотчетности и мужеству. Я писала Илюше и бесстрашно повторяю вам: с тех пор, как эмиграция треснула на две части — я сознательно сижу в трещине. Очень неудобно сидеть там, да еще одной, но как быть? Ни очарование Кусковой со Степуном, ни таланты Бунина и Шульгина не заставят меня изменить «предмету» (в смысле моей «правды», а не в смысле человека). Илюша поощряет мое сидение, уверяя меня, «из этой трещины вырастет гора, которая спасет Россию». Я об этом не думаю, сижу просто, ибо не могу иначе... А в дальнейшем выяснилось, что Илюша сам сидит в трещине, только, ввиду разности наших биографий и крови, — он эту трещину сделал физической, прикрыл ее конкретностью Грасса²; я же сижу в ней неприкрыто, тем более, что это никому не вредит и никому неинтересно. Через сто лет — посмотрим...

Что касается Александра Феодоровича³, то я не скрываю, что ошибалась в нем — вплоть до июня 17 г. Очень стыжусь своих ошибок в людях, но хочу верить, что это не самые важные ошибки. Вот если б теперь, после всего, что я видела, после ночных бесед с Илюшей(...), если б я теперь еще называла его «суженым февральской революции...» я бы, пожалуй, именно несчастной невесте-то этой изменила. Но...

Пожалуйста, не сердитесь, всё, что я сказала — я сказала с лучшими чувствами к вам. Во имя справедливости, любви к точности и т. д. — прибавлю, что как только выяснилось (см. последнюю статью), что Арцыбашев не в трещине, а на одном из отломленных кусков, — я не считаю себя с ним и думаю, что он также неправ, как часто вы... с другой стороны.

Пожалуйста, не носите мне Маяковского, я и в руки его не возьму.

Всего хорошего для русского Нового Года.

З. Гиппиус

¹ Илья Исидорович Фондаминский-Бунаков, ² Грасс на юге Франции, где Фондаминские проводили лето, ³ А. Ф. Керенский.

Дорогой Марк Вениаминович,

7 янв., 24. Париж

Я не могу изменить никакой своей «любви» уже потому, что, как я писала сто лет тому назад и как доселе печатается на отрывных календарях, — «я никогда не изменяю, любовь одна, как смерть одна...» Именно верность моя «февральской невесте» и заставляет меня известным образом относиться к г-ну Керенскому, при благо-склонном участии которого этой «Невесте солдатский штык проткнул глаза». (...) Уж не досталось ли, кстати, и вашим глазам от этого солдатского штыка? Уж не оттого ли вы миндальничаете с Черновыми, Осоргинами, флиртуете с Милюковым (профессиональным изменителем), не знаете твердо, надо или не надо «признавать» большевиков, и давно перестроили ваш лозунг на «в ожидании обретешь ты право свое»?

Впрочем, это всё бесполезно. Я хотела поблагодарить вас за корректуру и заметить: вы никогда не снисходите до корректур стихов, — и *никогда* (мои, по крайней мере) не появлялись у вас без опечаток. А уж вы сами знаете, что такое опечатки в стихах. В общих, значит, интересах наших будет, если вы за корректурой последите внимательно.

При случае отдайте мне ваше замечательное письмо: буду хранить его, как символ с.-ровского рассеяния.

Сердечно ваша З. Гиппиус

Ллойд-Джорджу.

«Сэр, прошу вас, помогите,

«Напишите Джиолитте¹,

«Что пора кончать роман:

«Надоела. Мильеран».

23 Янв. 24.

Дорогой Марк Вениаминович, что это, как вы строги ко мне, да еще взыскиваете за письмо в «испанке» и уж сейчас-же грозите «концом» и всячески «опровергаете». Но повинную голову меч не сечет, а я винюсь, ей-Богу винюсь: я слишком хорошо знаю, что *моя* вина, если вы кое-что не так поняли: моя, ибо я плохо написала.. Не поскучайте этими строками — постараюсь написать лучше (яснее).

Я и не принимала ваше «к нам» в смысле «партии». И когда Илюша писал: «к нам тебя не зову. Нужны и такие «непримиримые», как ты», — вряд ли тоже говорил о партии. Говорил об **оттенке** «революционности» и «непримиримости» — у меня больше, чем в вашем лагере. Но помилуйте! Если вы лишь надеетесь

(или надеялись), что я «рано или поздно *вернусь* к феврализму, демократии, республике, свободе и равенству»... то где-же вы мнили и мните меня *теперь??* Очевидно, с реакционерами, — вот когда это выяснилось. Ведь я «даже не зная — повторяю Струве»... хоть убей Бог — если я понимаю, в чем я его повторяю; и если писала вам, что с. р. — старый режим, то, очевидно, в бессознательном состоянии... о чем жалею, ибо такие остроумия считаю низкого сорта.

Чтобы не спорить больше ни о чем — я вам в двух словах скажу, что исповедую для данного момента: разум, меру и центральность. Имею *пафос* меры и центра, в то время, как, например, пафос Милюкова, по его собственному слову, «лежит у него сейчас в борьбе с монархистами». Соединяются же люди именно в *пафосе*, хотя бы то и отрицали. У меня нет пафоса в борьбе с монархистами: я о них держусь вполне вашего мнения, весьма четко выраженного в вашей статье² (с которой я вообще вполне согласна и нахожу ее очень убедительной и интересной): самодержавие кончено *из себя*; монархизм России не опасен, ибо в ней невозможен; для «конституц.» монархии нет сейчас (да и вообще мало) исторических оснований, поэтому и монархисты (да еще какие жалкие) не опасны, и нечего над ними надрывать, тратя время. Еще цезаризм, пожалуй, возможен, но цезари сами вскакивают, с ними заранее не поборешься, да и зачем? Цезари не навек. Да, может, их и не будет... Гришкой Зиновьевым I кончится, новым данным цезарем — за исчезновением Ленина и Троцкого...

Я нахожу, что книга³ очень интересна, что вы со мной поступили очень благородно и либерально (пришла к этому, просмотрев свою статью). Даже в стихах опечатка только одна — «реки» вместо «тени». За этот либерализм я чувствую такую признательность (видите, сколь я справедлива!), что следующую «Запись» постараюсь совсем без споров вам дать.

Вот только вы лично очень строги ко мне в письмах и всё «христианством» меня хотите уязвить. Есть христианство Макса Волошина: «Божий бич, приветствую тебя!» (о большевиках). Ну, так это не мое.

Сердечно ваша З. Гиппиус

Заметьте мою кровожадность: радуюсь, что сдох Ленин, и жалею, что поздно.

А где же обещанная литература?

¹ Джиолитти (*Giulitti*) — премьер Италии, занимавший «нейтральную» позицию в отношении к большевикам, ² «Падение русского абсолютизма», ³ 18-ая книга «Совр. Записок».

Дорогой Марк Вениаминович.

20 Фев. 24

Поздравляю вас со званием поэта. Вижу, что около меня нельзя не писать стихи: Амалия, Ропшин, Вишняк... и сколько еще других!

Я в grippe, а то бы раньше прислала статью. И так как поздно получила разрешение на «Коня» от вас и от Ил., то оставила его до последних страниц.

На этот раз

Чтоб вновь не стало небу жарко
От скучных покаяний Марка —
Писал я каждую строку
Во угожденье Вишняку.
Ну, и была, ей Богу, мука!
А если вышла только скука —
Скажу, ни мало ни смущен,
Что в ней виновен не Антон¹.

Жду de vos nouvelles. Некогда писать больше. Если хотите, чтобы я что-нибудь выпустила, изменила, подписала, — скажите, будет выполнено, и без всякой остроты. Перец мы прибережем для след. раза, если вы найдете, что я «исправился». Тут-то и можно будет немного подпустить.

Да, не бойтесь размера, там куча выпусков и страницы сведены в одну.

Искренно ваша З. Гиппиус

¹ Антон Крайний — псевдоним З. Н. Гиппиус-критика.

24-2-24. Париж.

«Ах, лучше во время расстаться,
Чем до последнего ругаться!»

Старинная песенка.

Дорогой коллега!

Во-первых, я вижу, что ошиблась: вы — un poète fait¹, и мое влияние ни при чем. Вы уж давно, очевидно, принадлежите к известной «школе» — и не моей.

Во-вторых, поскольку я Пушкин, постольку есть у меня и Николай I, который сказал мне: «Я сам буду твоим цензором». Поэтому пошлите, прошу вас, мою статью Илюше, пусть он скажет, есть-ли там утверждение, что «вся Россия — хам и вор». Если он скажет — я раздиру ризы и удалюсь в пустыню, а если скажет, что нет — я привлеку вас к суду... вашей совести.

Напоминаю вам, что появление моей Записи в след. книжке

— столько же в моих, сколько в *ваших* интересах, по многим причинам, кои долго объяснять. Прибавлю, что вы можете предложить мне все поправки, которые могли бы вас успокоить.

И заключаю: вы неизлечимо страдаете персональным недоверием к А. Крайнему. Ничто не удовлетворит вас, сказанное его «черными» устами. С этим болезненным подозрением я готова считаться. Но в открытую. Идет? Ваша З. Гиппиус

Илюше пишу о том же.

¹ Звание было заслужено рифмованными репликами в ответ на письма З. Н. Гиппиус. Одна из них была в ответ на эпиграф, взятый Гиппиус у Корнея Чуковского: «Не бойтесь этого звонка: — Я лишь Ка-Че, а не Че-Ка...». Она звучала:

«О, нет, милейший мой А. К.
Не испугать вам Вишняка!»

17 1-2

Другая была более пространна:

«Святое звание поэта
Изъяло чувство пиэтета
Ко всем великим именам,
Заслугам, полу и годам.
В своих оценках дерзновея,
Скажу ни мало не краснея,
Что в новой «Записи» Антон
Опять наносит нам урон.
И ни Есенин, ни Пильняк, —
Вас уверяет в том Вишняк, —
Не осужденье этих двух —
Смущает нашу совесть слух.
Смущает о б щ и й приговор,
Что вся Россия хам и вор,
Что вне Парижа света нет,
И так пребудет много лет.
Пока пишу лишь от себя
Открыто всё, не лебезя,
А там — в течение недели —
Вопрос решим без канители».

Дорогой Марк Вениаминович.

20-25

Так как вы сказали, что вам, главное, что нибудь да изменить у меня, а как — всё равно, то не поставите ли заглавием моей статьи не «Жизнь молодая» (похоже на романс какой-то), а —

«Новь?» Гораздо лучше; кстати же у меня и начинается прямо с Тургенева.

Я забыла отметить, что каждое стихотворенье требует отдельной страницы; но это вы, конечно, сделали сами.

Илюша в большом оптимизме относительно всего, а главное — С. З.

С полусоциалистическим приветом З. Гиппиус

Р. С. Объективно решала вопрос: почему вам Степуна исправлять в голову не приходит, даже напротив, тогда как я... Чем он, в литературе, заслуженнее и лучше меня? Положим, жена Фофанова говорила: «уж мужчина всегда лучше...» Но ведь то жена Фофанова, а вы социалисты. Это разница.

Меня очень мучает мой долг, но, право, не нарочно; надеюсь, вы мне пришлете конец набора Любви при первой возможности.

2 Мая 25. Париж

Хорошо, давайте. С чего же мы начнем?

Да, оговорка: обращение — налево в углу, маленькое; специально для вас, т. к. вы еще не знаете, что иногда бывает «переписка», а иногда «диалог»: и в последнем случае — вообразите, что было-бы, если б разговаривающие каждую реплику начинали с «глубокоуважаемого такого-то» (и пауза). Даже генералы чувствуют, что было бы нехудожественно разговаривать так: Ваше превосходительство! сегодня недурная погода! — Ваше превосходительство! очень недурная. — Ваше превосходительство! а если пойдет дождь? — Ваше превосходительство! тогда мы намокнем... и т. д. Наша последняя переброска записками была именно «диалогом», чему доказательство, что я начала одну из них, именно ту, которую помню «без обращения», словом «тогда». Где же видано, чтоб *письмо* начиналось с «тогда»?

Значит ладно, давайте мириться. *Je n'en demande pas mieux.* Беда в том, что я при моей объективности и терпении, ни с кем не ссорюсь, и только огорчаюсь, когда ссорятся со мной. Впрочем — нет: иногда я, в первую минуту, могу тоже рассердиться; но это продолжается до второй минуты. С ее наступлением я уже не «сержусь»: уступаю, если объективно не права; уступаю, если я права, но противник мой недорос до объективности; не уступаю, когда дело не личное; но во всех случаях — остаюсь при — улыбке.

Так было сейчас, при получении, вместе с вашим, письма от Илюши, где он просит послать рукопись по той (кроме всех прочих) причине, что «элементарная вежливость требует, чтобы редакция показала эту статью раньше Бунину». Я рассердилась, потому что

в совершенно аналогичном случае рецензия Шлецера *не была показана* Дм. С-чу; аналогия не полная только потому, что моя статья в-первых *не* о Бунине, который там лишь в конце, рядом с Гёте и Деренном; во-вторых — она *не* критика художественная (что я подчеркиваю); в-третьих — это вовсе не критика, а лишь экспозиция точки зрения Вл. Соловьева, которую я никому не навязываю, только о ней рассказываю, и думаю, что этот рассказ может быть интересен; в-четвертых — это не рецензия, а *серьезная* статья, которая именно Бунину не может быть интересна, т. к. именно этими вещами он не занимается, заниматься не хочет (или не может).

Поэтому я и рассердилась. Но затем, с объективной точки зрения, рассудила: если редакция поняла, что в первый раз поступила против правил «элементарной вежливости» и теперь «дует на воду», то это она в процессе самовоспитания, и никто не виноват, что попались мы с Вл. Соловьевым, точку зрения которого, конечно, Ив. Ал.¹ пропустить не сможет. Как ни далеки его взгляды от взглядов редакции вообще, но и за Вл. С-ва редакция горой не стоит; вы, ведь, и сами, в лучшие ваши минуты, «полу-соловьевец»... Ну, а от запрещения Ив. А-м Соловьева ни он, ни я особенно не пострадают. В другом месте² расскажем, кому интересно. И я предоставила Илюше всю свободу действий на время нахождения рукописи у него.

Видите, как я покладиста. Из-за чего же со мной ссориться?

С самым приятным....

Искренно ваша...

Посылаю всех найденных «дочерей».

¹ И. А. Бунин, ² «Другим местом» для статьи З. Гиппиус «Искусство и любовь» оказался сборник «Опыты» № 2, вышедший в Нью Йорке под редакцией Р. Н. Гринберга и В. Л. Пастухова в 1953 г. — через 10 лет после смерти автора.

4-9-26

Дорогой Марк Вениаминович.

Я не знаю, как мотивировал вам Илюша мой отказ. Но это не секрет: из желания сохранить остатки своего языка, стиля и возможности выражать прямо свои собственные мысли — я хочу дать себе передышку. А то я заметила, что когда пишу — думаю уже не столько о теме, сколько о вас, или еще о какомнибудь лице, которое властно мою мысль урезать. Это утрудняет работу, понижает ее качество (в моих-же собственных глазах), и вообще, войдя в привычку, может сделаться опасным.

Говорю это без тени какого-либо вам упрёка. У каждого писателя своя психология. Я прекрасно понимаю вашу. И мне только жаль, что никогда вы не хотели понять моей. Я это отношу исключительно к недостатку внимания к вашей покорной слуге. При малейшем внимании вы бы, конечно, увидели, что меня нужно взвесить (или подвергнуть цензуре) целиком; или целиком годится, или целиком не годится. Потому что я нахожусь в большом внутреннем *порядке*, и каждое мое слово, о чем бы ни было, исходит из него и ему соответствует. Сколько бы вы ни зачеркивали одни — останутся другие... (вот, чтобы эти другие от зачеркнутых не теряли смысла, мне и приходилось заранее гадать, изощряться, думать не о теме и не о читателе, а о вас). Именно внутренний мой порядок подлежит или принятию, или отвержению. Говорю не в смысле «соглашения» совпадения в «порядках», говорю очень узко: годится для вашего воза такая-то лошадь, со всеми *ее* четырьмя ногами, или нет. Годится — так дайте ей везти по *ее* фасону; не годятся передние ноги — так, значит, вся не годится, их не изменишь.

Я не анархистка, да и не так глупа, чтобы претендовать на какую-то «абсолютную» свободу. Как раз потому, что я понимаю «свободу» — я понимаю, что свободен лишь тот, кто *ее*, свою, ограничивает. Но *самоограничение* — одно, а сознание, что рядом стоящий имеет власть механически тебя ограничить — это другое. Но, конечно, для вас может быть еще вопрос, заслужила ли свободу до *самоограничения*? Этого вопроса вы и не можете решить, пока не удостоите большего внимания меня и мой внутренний «порядок». Я, например, давно уже решила его, чисто теоретически, относительно вас: если б мы поменялись ролями (вообразим на секунду!) я бы, конечно, представила вам полную свободу *самоограничения*. У вас тоже «порядок», не мой, но который я признаю. Впрочем, уверена (и это тоже дает повод к размышлению), что случись такая мена местами — вы просто никак не стали бы писать в «моем» журнале, ни без свободы, ни со свободой.

Простите за эти отвлеченности. Ограничимся фактом моей усталости и желанием передышки. Я ни откуда не дезертирую а лишь временно сдаю позиции, сделавшиеся для меня неудобными.

Кстати, и тема Шмидт¹-Сазонов², в той трактовке, которая пришла бы вам по душе, — мне кажется не актуальной. Вот актуальная тема — «дела» Горького и весьма лакейское письмо берлинцев; но не бойтесь, я вам *ее* не предлагаю. Много воды утекло под мостами с тех пор, как вы, не «досмотрев» за мной, извинялись перед Юшкевичем³ в Посл. Новостях; и хотя много этой воды попало на мою мельницу, а всё-таки... лучше не трогать этого «чтимого всей

Россией гения» — не правда-ли? К писателю должен быть «подход» литературный. Вот как Степун подошел к Святополку⁴) и к «Благонамеренному»⁵. А правда-ли, что вы Ходасевичу дали «свободу» насчет «Верст»? Положим, Ходасевичу вы более доверяете, он, по-вашему, более заслужил свободу, чем Ант. Крайний, но посмотрим, какой он выберет «подход».

Милюков мне позволил «человеческий», и за то спасибо.

Хочу верить, что вас ничто не затронет в этом моем, очень искреннем, письме. Мне было больно огорчать Илюшу, но я его старалась уверить, что без меня ваша очередная книжка ничего не потеряет, а будет, пожалуй, еще гармоничнее, для вас-же — без лишних хлопот.

Крепко жму вашу руку, ДС. шлет искренний привет. Хорошо-ли отдохнули?

Ваша З. Гиппиус

¹ *Лейтенант флота, казненный в Севастополе в 1906 г.*, ² *Террорист, бросивший бомбу в министра внутренних дел Плеве*, ³ *Писатель: см. выше в статье М. Вишняка*, ⁴ *Кн. Д. С. Святополк-Мирский, литературовед и редактор «Верст»*, ⁵ *Литературно-художественный журнал, издававшийся в Брюсселе кн. Шаховским до его пострижения в монашество.*

27-2-31

Дорогой Марк Вениаминович.

Мне, как видите, достаточно было двух дней, чтобы прочесть вашу книгу¹ (и не «просмотреть», а прочесть, с карандашом). Не могу не сказать вам о ней двух-трех слов, и не хочу этого откладывать.

Я представляю себе, что никто лучше меня не сумел бы написать об этой книге; однако я, вероятно, не стала-бы писать о ней, даже если б имелось у меня для того место. Одно и то-же «потому что»: потому, что слишком ваша правда, и в главном, и в деталях, — моя-же правда. Слишком они совпадают, иной раз до удивления, до моей улыбки; и если б я принялась вашу книгу утверждать так, как только и могла-бы — мне стало-бы казаться, что это я с жаром утверждаю свое и себя. Я не желаю ни «осмысливать», ни «пересмысливать» это наше совпадение. Я просто канстатирую факт, добросовестно проверенный. Я, перевертывая страницы, начала, признаться, уж искать чегонибудь, какогонибудь вашего (в моих глазах) срыва или срывика (помимо прочего — критик всегда так

смотрит) — но вот: говорите ли вы о центральном в вашей книге — Февраль, Октябрь, или о самодержавии, или о Маклакове, о Милюкове, о Степуне и т. д., нигде не могла я найти слова и мысли, которые не были бы и моими о данном явлении. Доходит порою до мелочей, до одних и тех же цитат, хотя бы у Степуна, на которые мы оба обратили одинаковое внимание, и т. п.

Одно единственное место показалось мне у вас смутным, т. е. смутно выраженным. Вы говорите (о Феврале): «В жизни часты положения, для кот. благополучного исхода не дано». И далее: «Объективная безысходность положения... в начале, а потом уж явились субъективные ошибки, грехи и трагедии». Ошибка-же, говорите вы в другом месте, является иногда преступлением. (С чем и я давно согласна). Но не в том дело. Я написала сбоку «фатализм», и как иначе, если исход был всё равно предрешен? И зачем тогда говорить (тем менее судить) ошибки и грехи людей? Их «личная трагедия» остается, но и она была предрешена, исхода, ведь, не было? Через несколько страниц, вы однако, отмечаете «чрезмерный» фатализм Милюкова. Бывает ли фатализм (безысходность положения), может ли быть, то умеренным, то чрезмерным? Он или есть, или его нет. Опасно утверждать существование, да еще «частоту» положений безысходных, т. е. когда оба пути делаются «путями зла», сливаются как бы в один, и приходится покоряться неизбежному. Делать, волей-неволей, «ошибки»... в которых и каяться нечего, ибо кто виновен перед лицом Рока? Выбора, ведь не было...

Может быть, к этому-же относится и слово ваше, что при «выступлении» Корнилова Вр. Прав. «вынуждено» было опереться на большевиков. Вы несколько обходите объяснения, почему «вынуждено», оставляя возможность поместить это вынуждение в порядок Рока, где уж нет свободы человеческим действиям (и нет, следовательно, за них ответа).

В вашей книге много умолчаний, — о них вы предупреждаете в предисловии. Я, по правде сказать, не знаю, имели-ли вы на них право, или нет. Если принять во внимание некоторые ваши-же слова (такие верные!) о необходимости смотреть в прошлое, помнить себя в нем и сознательно относиться к собственным ошибкам, если взять факт ваших судов (таких сугубо верных!) над чужими, — то, пожалуй, права на определенные умолчания вы не имели. Но, с другой стороны, я понимаю, — как и вы, — что всякий захват этой стороны в данное время опасен, трудно справиться и найти меру, когда начинает пахнуть субъективизмом. Таким образом, возможно, что ваша книга, с какой-то точки зрения, от умолчаний выигрывает.

Я, во всяком случае, радуюсь ей такой, как она есть. В расширенном виде — кто знает! — совпадение наших «правд» и не было бы, пожалуй, таким полным. Конечно, разногласия всё-таки были-бы частными, главное осталось-бы. Но я (простите мой субъективизм!) не могу не быть довольной, что существует книга, где от первой до последней строчки все рассматриваемые явления рассматриваются как бы под моим-же углом зрения. Мне это тем ценнее, что книга написана человеком, совершенно иного общего склада, иной, в известных областях, идеологии; а в данной области гораздо больших, чем мои, знаний и опыта. Это — личная сторона отношения к книге (ее внутренняя полезность для меня и т. д.). Но — ведь каждый верит в объективность того, что считает правдой; а потому я вашу книгу утверждаю *и объективно*.

Возвратимся, впрочем, на минуту к субъективизму и психологии. Написав все эти строки о моей правде, как отнеслась я к вашей книге и к нашим совпадениям, — я вдруг вспомнила, что у вас-то была всегда, — по отношению ко мне, во всяком случае, — совершенно другая психология, и для меня непонятная. Вы, как будто, относитесь к «правде» так: если, положим, лягушка ее проквакала, то она уж не «правда». Будто-бы «что» не важнее, в первую голову, и «кто», и даже «как»! Это два, — кто и как — важны тоже, но потом. «Что» (правда) остается, всё-таки, правдой. Лягушка может быть сама плоха, голос может не нравиться; если она скверна и лживо сама к своему кваканью относится — ее можно убить; но всё это последующее и особый суд над ней; прокваканная-же правда таковой остается.

Это я говорю насчет общего отношения вашего ко мне (не личного) и, в частности, к «Синей Книге». Я понимаю негодование Милюкова (и еще отчетливее поняла после вашего очерка). Я поняла бы и Маклакова, если б (...) способен был на негодование и стал-бы серьезно с «дамой» разговаривать. Но ваше — честное слово, не понимаю. Допустим, я сказала плохо, неумело, наивно: это не моя специальность. Но ведь сказано-то совсем то же, что вы говорите (по существу), и я не вижу, на что могли бы вы возразить. Или и вы, подсознательно, тоже не разговариваете серьезно с «дамой»? Или... последнее предположение: разгадка в некоторых моих «неумолчаниях». Но — знаете? как от лягушки правда не перестает быть правдой, так не судится она и тем, хорошо-ли отнеслась лягушка «ко мне». Даже если неверно, но верно к «моему» (к моей правде) — и то лягушке прощается... в известном плане.

Но это — попутно и, хотя как будто личной психологии касается, — ничего личного я сюда не замешиваю, а просто наблюдаю.

Пора кончить. Кончу я тем, чем начала: написали вы книгу, в которой, по-моему, всякая страница — правда, что есть редчайший случай; (о «случае», однако спорно: есть-ли он?). Жаль, что такая книга — одна, а несчастных соблазнительей, путаников с комичной антиэстетикой языка и выкрутасов, вроде Степуна, и других, вами пригретых в С. З. — куча.

Не последняя драгоценность в книге — ваша настоящая, ясная, «непримиримость».

Спасибо, крепко жму вашу руку. З. Гиппиус

‡ «Два Пути — Февраль и Октябрь». Париж 1931 г.

3 Марта 31

О! О! Два места в вашем письме, дорогой Марк Вениаминович, столь изумили меня, даже поразили, что я поняла: надо дать два ответа, но отнюдь не полемических, в другом порядке. Одну вещь надо проверить, и, если вы окажетесь правы, признать свою «безответственность» или что еще похуже (это было-бы нелегко мне и по стечению обстоятельств, сегодня особенно нелегко... Скажу потом отчего).

Относительно другого — надо поразмышлять, как ухитриться найти слова наиболее точные и ясные, такие, чтобы мысли мои стали вам понятны. Приемлемы или неприемлемы для вас — второй вопрос, независимый.

Начну с узкого, наиболее личного, с «камня», который вы «затаили». У меня было ощущение, что камень этот грозит мне (если же так, проверка была необходима для меня самой).

Я откомандировала Злобина¹ в наши недра, найти все мои старые статьи в «Совр. Зап.». Статей этих оказалось такое количество, что я чуть не целый день их читала! Находила много любопытного (между прочим — и о Степуне, и цитаты, с вашими совпадающие), но долго ничего не видела, кроме «сдержанно деловитого» Вишняка, его «обычной честности» и т. д. Наконец — набрела на «Камень»: фельетон, который вам посылаю (с просьбой возврата) и с очень небольшими комментариями. Подчеркнутое красным и синим карандашом — и этого было-бы достаточно. Как вы видите — я дважды повторяю, что не касаюсь спора «по существу», а лишь с точки зрения «внешней логики». Если как я думаю, вы любите логику, как я, — вы не станете отрицать, что мои рассуждения не вне ее находятся. А почему на вашем споре с М.² я тогда очень остановилась — это имеет свои объяснения. Центр не в Милюкове (я его не читала), центр был в вас и — еще точнее — в ваших умолчаниях. Ваши «да», ваша правда, как была моей, так и оста-

лась, т. е. и тогда была той же моей, как и теперь. Я не помню тогдашнего моего к вам письма; но не сомневаюсь, что оно было (*неразборчиво*). И слава Богу, не сомневаюсь, (*неразборчиво*) внутреннее право и написать его, и написать о вас, о (*неразборчиво*) умолчаниях ваших (только) что (*неразборчиво*). Ниже к этим умолчаниям еще вернусь (более принципиально), а здесь добавлю еще следующее: данная тема и «умолчания» особенно больно и остро стояли тогда передо мной — это был момент (вижу и по дате), когда я только что получила, через американцев, рукопись Дневника, в первый раз, не веря своим глазам и в полусумасшествии (чему Амалия³ свидетельница) перечла его. В фельетоне даже есть, как вы увидите, отдаленный намек на это, на «запись не — политика», «сырой материал» и т. д. Мне тогда особенно казалось, что наш общий долг говорить *всю* правду, не щадя никого ради нее и в первую голову не щадя себя, конечно.

Я не так, ведь, глупа, чтобы не сознавать, что, печатая Дневник, я не слишком много окажу себе пощады, всё же это останавливало меня в продолжении известного времени, и всё-таки сомнения (*неразборчиво*). Я пыталась найти совет у Илюши, но ему некогда было прочесть рукопись. Я написала было Керенскому, но не отправила письмо. Я даже думала о Милюкове (раньше получения, положим). ДС. читал Дневник. Только уже в книге. Таким образом мне пришлось решать дело самой, на свою совесть, ничего не поделаешь. Должна-ли я в решении этом перед нею каяться, я еще не знаю. Знаю одно: что *для себя* ничего, кроме проигрыша, не ожидала, на него сознательно шла и этим, в известной мере, оправдана (перед собой).

Вот тут мы и подошли к второму пункту — к «верности». Вы говорите: «верность в политике». А я говорю: верность везде. Вы говорите: «верность правде и людям». А я говорю: верность правде сначала, а *в ней* верность людям. Ради верности человеку *нельзя* допустить измену правде. Такие положения бывают, такие выходы предносятся. Я приведу грубый пример, очень грубый. Азеф был уже обличен, и Савинков, по его словам, «всё еще любил его как брата». Но и Савинков, в конце концов, перестал быть ему верен, да и нужно-ли было верным ему «пробыть» до конца?

Возьмите этот острый пример в других, легких оттенках — пример не меняется. Если вы увидите, что человек изменяет правде не внутренне, а по каким-либо причинам: слабости, недомыслию, страху, усталости и т. п. — внешне, в поступках и действиях, — вы этого не скажете? Умолчите? Этим вы в какой-то мере свою верность человеку поставите выше верности правде.

В конце концов, и вы, я думаю, не решитесь сказать, что для вас, между каким нибудь близким человеком, Керенским, Илюшей, даже всей партией эсеров, и объективной правдой стоит знак равенства. Потому что я думаю, что для вас вот это условное понятие «правды» значит то же, что для меня. Со всякой стороны, в всякой частности взятая, она одна, и если ей изменить — можно перестать существовать. Она в самом человеке; в нем может расти (и тем, только тем изменяться). Даже должна расти...

Милюков — совсем другое. И опять кажется мне — насчет М. мы с вами кое в чем согласны. И потому так поразили меня некоторые строки вашего письма — почти дословное повторение, и по тому же поводу, слов Милюкова.

Это было прошлой весной. Обвиняя меня за Синюю Книгу (ожидаемый камень), он, главным образом, упирал на то, что я — «сожгла то, чему поклонялась». Смысл был ясен. Я хотела ответить мирно (я к нему, ведь, отношусь, как к нему, очень... благоволительно), но в процессе письма всё-таки немножко рассердилась и напрасно: ведь он не мог бы доказать, по Книге, что я такое то и сжигаю, чему поклонялась, — чему поклонилась что сжигала в Самодержавии (*неразборчиво*). Милюков-то, может быть, и не понимает, может быть разумел сжигание Керенского, поклонение Савинкову, ведь он не разбирается. Впрочем, когда мы с ним теперь встретились, он уже о сжиганиях не говорил, а о том, что у меня там неверно и несправедливо, так как я далеко стояла, а видеть и знать настоящее положение дел, и судить о нем могут только «участники» (ср. хотя с его словами, которые вы приводите!).

Не надо обманываться. Наше с вами схождение в общем — верно, даяо бы много расхождений в частных линиях, если бы вы их продолжили, стали чертить определенно. Например, вашу боязнь «правизны», выражающуюся, главным образом, в боязни правых, я бы не поместила в те моменты времени, в какие помещали и помещаете их вы. Неужели, например (есть и другие примеры, и даже сейчас), вы серьезно и до сих пор, думаете, что после Февраля (*неразборчиво*) эти правые сейчас же и привезли бы опять царя? Или вы сами в этот момент только боялись «показаться» правым. Кому?

Ну, в это последнее я просто не верю.

Впрочем, довольно. Я старалась быть ясной, сколько могла. А почему я так испугалась сегодня «камня» и начала «разведку» — это благодаря тому, что лишь вчера так сурово, при всех, судили Адамовича⁴ (кот. я очень люблю). Его статья о Мил. в Посл. Нов. — какой-то добровольный «социальный заказ». Важно то, что *он*

так не думает, я это знаю наверно. Есть предел угодливости, измены своей правде (правда, ведь, всех областей касается). Есть ответственность, наконец!

Видели-ли вы «Утверженья»?⁵ Что скажете? Думаю, что и я. Обратите, однако, внимание на «пореволюционного» младенца Баранецкого. Мы видали его Вавилонскую башню. (*Неразборчиво*).

Ваша З. Гиппиус

¹ В. А. Злобин, ² П. Н. Милуков, ³ А. О. Фондаминская, ⁴ Г. В. Адамович, ⁵ Сборник евразийцев.

8-3-31

Дорогой Марк Вениаминович,

Относительно статьи Ил. мне вчера тоже написал. Хорошо. Может быть, выйдет скорее заметка, но не беда.

Относительно Син. Книги не будем дальше спорить. М. б. вы и правы, — следовало, кое где больше выкинуть, чем я выкинула. О людях. Вот только что я *очень* прошу вас заметить: 1) дело шло, — и речь — не о людях, как таковых, но о людях *по отношению к России* в данный головокружительный момент. Она, а не они были центральным предметом. И затем, менее важное, 2) что вы называете сменой «идолов» или «воплощений правды». Это, прежде всего, не может быть точными выражениями, если люди рассматриваются не как таковые, а скорее в смысле «личной годности» или непригодности в данный момент для данного, важного, подлежащего дела. Затем, (*неразборчиво*) всем в частности: вы, говоря, что я сменила «старого друга на (*неразборчиво*)», забываете, что именно Савинков-то был мой друг гораздо более старый, даже давний друг, нежели Керенский. Это, повторяю, не важно, если смотришь на человека именно по эт(*неразборчиво*) его к чему-то высшему, и судишь не его, а отношение. (*Неразборчиво*) покажется-ли что кому нибудь «изменой», а не(*неразборчиво*) в Варшаве, перед тем, чтобы тому-же С-ву не сказать «(*неразборчиво*) вы-ли это? Я вас не узнаю!» На что он мне, бледнея, ответил: «(*неразборчиво*) вы меня никогда «в работе» не видали. Оттого и не знаете». Был он, м. б., прав. И я, ведь, часто верю *человеку*, обманываясь. Кто не обманывался? Но мы в Варшаве разошлись, и бесповоротно. У меня много записей о Сав. и Варшаве; я их не печатаю — опять не из-за себя (и этому, мол, изменила!) но... не знаю, отчего; б. м. из-за Фил.¹, «еще так ужасно инкрустированного в этого оборотня», писала я в 22 году. М. б. оттого, что он погиб (хотя вы знаете, что я «не

простила»). Во всяком случае, это молчание в вашей линии, неправда-ли?

Два слова относительно Илюши. Да, вы правы, это всё его «пригрев»; и я *так-же* не сочувствую тут ему, как вы, я абсолютно на вашей стороне. Но об «изменах», да еще личных, в параллели с моей, будто, Керенскому, здесь не приходится говорить; это всё почти в другом порядке, ибо и время, и всё вообще — другое. Я Илюшу люблю, и ничего такого не может с ним случиться, чтобы это переменялось. Но я спорю с ним, и если б нужно было, пришлось, — публично, не отказалась-бы.

Ну вот, теперь, кажется, и всё. Кстати, Ил. в очевидной радости от Утверждений², — спрашивает меня о них. Как это жаль!

Крепко жму вашу руку, привет и *сочувствие* от ДС. (Передаю по его просьбе).

Ваша З. Гиппиус

¹ Д. Н. Философов, ² Евразийский сборник.

ЛЕНИН В СИМБИРСКЕ*

Отец Ленина — Илья Николаевич Ульянов, окончив физико-математический факультет в Казани, был в 1855-63 гг. учителем в дворянском институте, в Пензе, а затем в течение шести лет старшим учителем математики и физики в Нижегородской мужской гимназии. В Пензе он познакомился со свояченицей инспектора института И. Д. Веретенниковой — Марией Александровной Бланк, на которой и женился в 1863 г. В 1869 г. чета Ульяновых переехала в Симбирск, имея двух детей — Анну и Александра. Здесь на Стрелецкой улице, в доме Прибыловского в 1870 г. 10 апреля (по старому стилю) родился их второй сын — Владимир, будущий Ленин, в первые годы его жизни немало беспокоивший родителей. Он начал ходить крайне поздно, постоянно падал на голову и, разбивая её, подымал отчаянный вопль.

Отец Ленина приехал в Симбирск, чтобы занять предложенный ему пост инспектора народных училищ. Хорошо его знавший мировой судья В. Назарьев, посвятивший ему в «Вестнике Европы» несколько очерков (в 1876 г. и 1898 г.) писал, что при первой встрече Ульянов производил впечатление ординарного чиновника министерства народного просвещения, появившегося на свет божий в синем форменном сюртуке с серебряными пуговицами. При ближайшем с ним знакомстве такое впечатление быстро рассеивалось. Ульянов был не «чиновником» и не ординарным человеком, а страстным, убежденным, деятельным «просветителем». Все помыслы его были направлены на то, чтобы скорее внести грамотность в население, построить больше школ, снабдить их хорошими учебниками, пособиями, подготовить опытных, любящих свое дело, учителей. В этом он видел свой «долг» перед народом. Ульянов был убежден, что просвещение — главная сила, двигающая историю. Социальные беды и «несовершенства» жизни он объяснял «темнотой разума», отсутствием грамотности и образования. Отдавая все свои силы организации школ, он метался

* См. в кн. 36-й «Н. Ж.» «Ленин в Кокушкине». РЕД.

по Симбирской губернии, «летом и зимою, весною и осенью, в мороз и вьюгу, в дождь и жару, в санях и в тарантасе, по глухим и далеким дорогам (железных дорог тогда не было!), за десятки, а иногда сотни верст от города». За время пребывания Ульянова во главе народного просвещения Симбирской губернии расходы на школы увеличились в пять раз, число школ удвоилось при огромном улучшении методов преподавания, в результате подбора Ульяновым опытных учителей. Тот-же Назарьев, шесть лет после смерти Ульянова (умершего в 1886 г.), писал в журнале «Городской и сельский учитель» (в 1895 г.), что «одним из украшений того времени несомненно были учителя нового типа, выпущенные из педагогических курсов И. Н. Ульянова». Учитель Анненков в «Волжском Вестнике» (в 1898 г.) к этому добавлял: «Ульянов желал видеть в своих питомцах не простых ремесленников в важном деле воспитания и обучения, а художников-творцов, вооруженных знаниями».

Под руководством Ульянова стал превосходным наставником простой учитель чувашской школы В. Камышников, это он, кстати сказать, подготовил к поступлению в гимназию Александра, старшего сына Ульянова, а через несколько лет и Владимира¹. Восторженные отзывы и похвалы в советской прессе по адресу Ильи Ник. Ульянова, начавшиеся еще в 1925 г. изданием сборника статей, посвященных его памяти и продолжающиеся и поныне, в частности, в объемистой книге Кондакова, вышедшей в 1948 г., — могли остаться для нас неубедительными и считаться неискренними, так как господствует низкопоклонство пред всем, что было близко связано с Лениным, а значит и перед его отцом. Но если взять отчеты о народном образовании в Симбирской губернии, ежегодно с 1869 по 1885 г. составлявшиеся самим Ульяновым и дающие представление о его деятельности, некрологи о нем Аммосова и Покровского в «Симбирских Губернских Ведомостях», ряд статей и воспоминаний об Ульянове, напечатанных в разных журналах в *досоветское время*, придется согласиться с высокой оценкой отца Ленина, как выдающегося педагога с энтузиазмом проводившего в школе передовые педагогические

¹ Камышников часто посещал Ленина в Кремле. Есть фотография этого старика, подаренная им Ленину с надписью: «когда-то первый учитель маленького Володи Ульянова, а теперь маленький ученик великого Ленина». Камышников первый, и еще при жизни Ленина, вручил ему титул «великого».

идеи Пирогова, Ушинского, Корфа и в значительной доле Льва Толстого, учебник которого Ульянов очень ценил. Будучи первоклассным педагогом, любящим детей, умеющим на них влиять, Ульянов был и замечательным организатором, администратором, человеком простым, отзывчивым, но требовательным к себе и своим подчиненным, у которых, по выражению учителя Анненкова, было «благоговение и преклонение пред обаятельной личностью» их начальника. Все эти качества очевидно ценились его высшим начальством и открывали ему дорогу к высокому положению. В 1874 г., пробыв пять лет на посту инспектора народных училищ, Ульянов становится директором этих училищ. Он награждается орденами, в том числе орденом Станислава Первой степени, получает чины, звание дворянина и, в конце концов, по Высочайшему указу, чин действительного статского советника, т. е. штатского генерала высшего ранга. Сын астраханского мещанина делается «его превосходительством», и на царской службе приобретенное звание дворянина передает своему потомству. Вот почему в документах и паспорте Ленина стоит указание что он «потомственный дворянин». Ленин, адресуя письма матери — не забывал на конверте поставить «ее превосходительству», но от своего «дворянства» Ленину, разумеется, не было ни холодно, ни жарко. Только одному человеку пришла в голову мысль выдумать, что Ленин так гордился своим дворянским происхождением, что по окончании юридического факультета, став помощником присяжного поверенного, обзавелся визитными карточками, украшенными короной — «символом столбового дворянства»². Гордость и самолюбие Ленина были огромны, но не имели ничего общего с гордостью принадлежать к категории дворян. Ленин всё-же никогда не скрывал, как это делали другие, своего привилегированного происхождения. В 1922 г., когда он был уже правителем России, была произведена анкета о всех членах созданной им коммунистической партии. Ради некоторого кокетства Ленин тоже пожелал на неё ответить. В графе о «звании», куда его партийные товарищи, желающие показать, что они истые представители народа, спешили вписать: рабочий, сын крестьянина, сын мещанина, он четким почерком написал: «дворянин». Ему и в голову не приходило, что своим дворянством он создаст большие заботы будущим государственным биографам. Для стильности создаваемой агиографии им очень хоте-

² Е. Чириков. Отчий Дом. Белград 1929 г. стр. 43.

лось показать, что Ленин родился в бедной хижине и «низкого» происхождения. Но что поделать против факта, что в русской революции, наряду с семинаристами и лицами из духовного звания (Добролюбов, Чернышевский, священник Гапон, и мн. др.), выдающуюся роль, начиная с декабристов 1825 г., играли именно «потомственные дворяне»?

Семье Ульяновых, увеличившейся в Симбирске рождением еще трех детей — Ольги, Дмитрия и Марии, — стало неудобно и тесно жить в снимаемых ими квартирах. А так как её материальное положение к тому времени весьма окрепло, Ульяновы решили приобрести в собственность какойнибудь подходящий дом. Выбор пал на деревянный дом на Московской улице (ныне улица Ленина, дом № 46). В 1878 году он был куплен. В нем Ленин и провел большую часть своего детства и юности.

Два его биографа — В. Алексеев и А. Швер пишут, что дом сей находился в бедной, «полупролетарской» части города. Во времена Ульяновых никаких фабрик, заводов в Симбирске не было. Не было даже железной дороги. Матери Ленина, узнавшей об аресте в Петербурге в 1887 г. сына-студента Саши и поспешившей туда выехать, пришлось свыше 150 верст сделать в санях на лошадях, чтобы добраться до первой железно-дорожной станции. При отсутствии железной дороги и всякой индустрии, в Симбирске не было и настоящих в «марксистском» смысле рабочих «пролетариев». Поэтому, говорить, как то делают цитированные биографы, о пролетарской или «полупролетарской» части города, в сущности, не приходится. Связанный лишь с сельским хозяйством, Симбирск был в то время городом мелких мещан, чиновников, «присутственных мест» и главный тон в нем задавали многочисленные семьи дворян, жившие в городских усадьбах, в каменных и деревянных домах с колоннами, мезанинами, бельведерами, дворами со службами и тенистыми большими садами. «Наша губерния, писал Гончаров, славилась отборным обществом родовитых и богатых дворян». Вплоть до революции Симбирск по господствующему в нем духу был одним из консервативнейших русских городов, хотя из уроженцев его выдвинулся ряд лиц, оставивших след в истории развития общественной и научной мысли России. Из дворянских гнезд Симбирска вышли: историк Карамзин, баснописец Дмитриев, поэт Н. Языков, поэт и переводчик Минаев, публицист-критик Анненков, либерал Н. И. Тургенев.

Биографы Ленина, уже упомянутые В. Алексеев и А. Швер,

утверждают, что «не было ни до приезда Ульяновых в Симбирск, ни после их отъезда из города более яркой и популярной фамилии, чем Ульяновы». Илья Ник. Ульянов был очень известен в Симбирске, и когда умер «чуть-ли не весь город пришел отдать ему последний долг, на гроб его было возложено множество венков». Всё-таки нельзя впадать в преувеличение и говорить, что фамилии более популярной, чем Ульянов никогда в Симбирске не было. А Карамзин, Гончаров или хотя-бы Языков? В те годы гимназиста Владимира Ульянова мог знать только узенький круг людей, однако, Алексеев и Швер в своих преувеличениях доходят до такого абсурда, что, теряя всякую меру, пишут: — «Каждый уголок Симбирска еще дышет воспоминаниями о маленьком Володе. Прислушайтесь к тихому рокоту Симбирской жизни и вы услышите многое о великом Ленине и еще больше (!!) о Володе Ульянове. Здесь и только здесь в этом городе Ленина, будут сложены первые сказки, первые легенды о далеком прошлом великого человека. Отсюда пойдут по Волге и дальше за горы Урала, за киргизские степи, легенды о великом земляке — Ленине».

Не знаем какие легенды о Володе Ульянове гуляют и гуляют-ли в киргизских степях. Легенд о Ленине или, иначе говоря, вымыслов, идеологических прикрас, приспособлений особенно к политическим заданиям последующего времени, невероятно много, но творились они не в киргизских степях, а главным образом в Москве. Потому-то составлять правдивую биографию Ленина, рисовать действительную обстановку его детства и юности, пытаться установить живой образ его как человека, вырывая его из рамок созданного катехизиса с *images d'Épinal*, совсем не простая задача.

Что внешне представлял собою город, в котором родился и до восемнадцатилетнего возраста жил будущий Ленин? Для ответа нужно обратиться к его описанию у того же Гончарова. Райский в романе «Обрыв», смотря на город с горы, видел: — «разнохарактерные дома, домики, лачужки, сбившиеся в кучу, разбросанные по высотам и окраинам оврагов, дома с балконами, маркизами, бельведерами, с пристройками, надстройками, с венецианскими окнами, голубятнями, скворешниками, с заросшими травой дворами. Искривленные, идущие между плетнями, переулки, пустые без домов улицы с надписью «Московская улица», «Астраханская», «Саратовская», с базарами, где навалены груды лык, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтя и калачи, зияющие ворота постоялых дворов с далеко

разносящимся запахом навоза. *Над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше*, какой бывает на море, штиль широкой сельской и городской русской жизни. Всё пестро, зелено и всё молчит. Пыль узором от проехавших колес лежит по улицам: в тени забора отдыхают козел и куры. Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе. Кое-где высунется из окна голова, поглядит, зевая на обе стороны, плюнет и спрячется».

«Наружность родного города, — добавлял Гончаров много лет спустя (в 1888 году), — не представляла ничего другого, кроме картины сна и застоя. Так и хочется заснуть самому, глядя на это затишье, на сонные окна с опущенными шторами и на жалюзи, на сонные физиономии сидящих по домам или попадающих на улице. Нам нечего делать, — зевая, думает всякое из этих лиц, глядя лениво на вас».

У Гончарова, наблюдавшего в родном городе некоторые фигуры, стал отлагаться образ Обломова, героя его будущего романа.

Таким был Симбирск в 50 годах, почти таким же, хотя он был сильно разрушен пожаром в 1864 г., оставался он и в бытность в нем Ульяновых. Но такое-ли, как у Гончарова, было впечатление о родном городе у юноши Ульянова? Он не жил в обстановке сонной жизни и безделья, в доме «с опущенными шторами». Он видел всегда занятого, вечно спешащего, куда-то уезжающего, лихорадочно, почти без отдыха, работающего отца. Он сам должен был в гимназии много работать. Уважение к труду было заповедью семьи. Владимир Ульянов не мог сказать: нам нечего делать. Брат его Саша, уехав в Петербург, познакомившись с другой жизнью, почти с отвращением говорил о Симбирске: «там отупить можно, ни книг, ни людей». Такого чувства не было у Владимира Ульянова. Симбирск не представлялся ему под тяжелым аспектом мертвого сна и застоя. Даже вступив в бурную политическую жизнь, исколесив всю Европу, побывав во всех столицах, он не изменил к нему своего отношения. Когда в эмиграции Ленин говорил — «вспоминаю Симбирск» — у него никогда не было неприязненного отталкивания от места своего рождения. Совсем не так он относился, например, к Самаре, где ему пришлось жить в 1889-1893 г.г. «Я не могу и сейчас забыть, писал он матери из Мюнхена, какая Самара пакостная в жару». Так он не говорил о Симбирске. Наоборот, по многим его фразам и письмам к родным можно догадаться о ностальгических эмоциях, вызывавшихся у него воспоминаниями о Сим-

бирске и Волге. А с представлением о Волге у него всегда ассоциировались не Казань и Самара, хотя они тоже на Волге и в них он жила, а только Симбирск.

Об этой связи Ленина-Ульянова с Симбирском, о том, что Симбирск родной город Ульянова, ставшего с 1917 г. диктатором России, вся страна впервые узнала осенью 1918 г. То было время тяжелой, ожесточенной, кровавой гражданской войны. Учредительное Собрание, избранное всеобщим голосованием и имевшее только 25% представителей от большевиков, тогда как большинство депутатов состояло, главным образом, из членов партии социалистов-революционеров, было Лениным разогнано³. Царил террор. Оппозиционная большевикам печать уничтожалась, свобода слова и собраний исчезла, шли бесконечные аресты и расстрелы, легальная политическая борьба с большевиками становилась невозможной. Считая Ленина главным виновником уничтожения свобод, социалистка-революционерка Каплан, 30 августа 1918 года, два раза выстрелила из револьвера в Ленина по выходе его с митинга на одном московском заводе.

В то время, когда Ленин, раненый, лежал в кровати, пришло известие, что красные войска, разбив белых, взяли Симбирск. Ленин немедленно послал бойцам этой армии поздравительную телеграмму, напечатанную во всех газетах: — «Взятие Симбирска — моего родного города — самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Чувствую небывалый прилив бодрости и силы».

Так узнала Россия, что основатель Советского Государства родился в Симбирске. Чем была эта телеграмма? Принадлежала ли она к сорту лишь официальных посланий, фабрикуемых в надлежащих случаях всеми царями, королями, президентами республик, шефами государств? Или, кроме этого, она была и чем то другим? Видение Симбирска, родного дома на Московской улице, тот особый, окрашенный приятностью и тоскливостью, комплекс чувств, с коим наша память обычно устремляется в исчезнувшие дни детства, было ли это у Ленина, когда он составлял телеграмму?

Дом Ульяновых на Московской улице, вопреки тому что

³ Речь Ленина 27/XI 1918 г.: «В России должно было быть Учредительное Собрание. Вы знаете, когда Учредительное Собрание оказалось с правыми меньшевиками и социалистами-революционерами оно было разогнано» (Собрание сочинений Ленина, XXIII том, стр. 311).

утверждают В. Алексеев и Швер, был в то время не где-то у чёрта на куличках, в какой то бедной, «полупролетарской» стороне, а примыкал к главной «дворянской» части Симбирска. Он находился сравнительно недалеко от собора, от старинных зданий, где помещались «присутственные места», недалеко от гимназии, где восемь лет учился Ленин и от садика с чугунной музой Клио — памятником историку Карамзину. Именно эта часть города на горе была менее других поражена страшным пожаром в 1864 г. Сравнительно неплохо сохранившийся дом Ульяновых с 1929 г. превращен в музей Ленина, совершенно так же как в музеи-часовни превращены здания, в которых Ленин жил хотя бы самое короткое время (Кокушкино, Казань, Самара — ныне Куйбышев, Алакаевка, Петербург, Шушенское, Псков, Подольск, Уфа, шалаш у станции Разлив, Большево, Горки). В согласии с указаниями сестер и брата Ленина, обстановка дома восстановлена в том виде, в каком она была раньше. По ней можно судить, что дом Ульяновых совсем не был «пролетарским». Три большие комнаты окнами выходили на улицу, — кабинет Ильи Николаевича, зал, столовая, три другие находились в другой стороне, примыкавшей ко двору. В верхнем этаже — четыре комнаты для детей, из которых старшие — Анна, Александр, Владимир, имели каждый по отдельной комнате. Кроме того — комнаты для прислуги, кухня, разные чуланы. При 10 комнатах, их «жилплощадь», скажем советским языком, пролетарской назвать никак нельзя. Это, конечно, не богатый симбирский дом с колоннами и фронтонами, но жилище удобное, поместительное, хорошо обставленное.

За домом с его террасой, летом обвитой цветами, тянулся длинный, заросший зеленью, двор. Зимой маленький Володя Ульянов любил в нем кататься на санях с снежных гор, а летом в его распоряжении были гигантские шаги. На правой стороне двора находилось небольшое здание, бывшая кухонка, превращенная в «лабораторию» брата Ленина — Саши Ульянова. Там он производил всяческие химические опыты и хранил коллекции насекомых. В нескольких саженях от дома, на том же дворе, помещался флигель, сдававшийся Ульяновыми в наймы. Некий Нефедьев, в детстве живший со своей матерью в этом флигеле, сохранил воспоминание о находившемся за двором «парке», где вместе с Володей Ульяновым, они западнею ловили певчих птиц. Сестру Ленина, Анну Ильиничну Ульянову-Елизарову, видимо, коробило слово «парк». Это звучит слишком по-барски. Не парк, поправляет она Нефедь-

ева, а большой «садик». Если не нравится, можно участок под садом Ульяновых не называть парком, но наименование «садик» к нему не подходит. За двором он тянулся так далеко, что выходил на другую улицу — Покровскую, ныне улица Толстого. А. И. Ульянова сама признает, что «узкое и длинное место» под садом «тянулось на целый квартал». В его ограде на Покровской улице была калитка, через неё дети Ульяновы ходили зимою на каток, а летом к купальне на Свяге. На Свяге Владимир Ульянов занимался чтением, сидел на берегу, подготавливая урок, а брат его Саша, с ранних лет ушедший с головой в естественные науки, иногда проводил на реке целые дни, изучая разных обитателей реки.

Ульяновский сад, не будучи «парком», был не плох: тополя, вязы, много фруктовых деревьев, кусты смородины, крыжовника, малины, грядки клубники... В нем были клумбы с цветами, а под сенью трех больших вишневых деревьев беседка. В ней семья Ульяновых любила пить вечерний чай. Ягод и фруктов сад приносил столько, что ими лакомились не только летом. Как во всех симбирских семьях, имевших сады, из своих фруктов и ягод варились варенья, делались соленья, всякие заготовки на зиму. Та-же А. И. Ульянова, явно движимая мыслью устранить впечатление о небедном уровне их жизни, спешит сказать, что для поддержания сада в порядке её родители не прибегали к найму рабочей силы: — «Рабочих рук, кроме нанимаемых иногда для окопки яблонь и тому подобных трудных(?) весенних и осенних работ, не было».

В подтверждение она указывает, что поливка, например, цветов сада производилась не наемной силой, а под руководством матери самой семьей. Будущий создатель советского государства мчался от колодца к цветам с лейкой полной воды, находя в этом занятии большое удовольствие. Советский читатель, для которого составляется биография Ленина, должен усвоить мысль, что всякий наем рабочей силы вне государства, тотально сосредотачивающего в своих руках все средства производства страны, есть акт эксплуатации человека человеком. Понятно поэтому, что Ульянова-Елизарова спешит уверить, что семья Ленина такие социальные скверности не делала. Однако, отсутствие «наемной силы» в семье Ульяновых вряд ли доказуемо. А кто же рубил дрова или очищал снег со двора и тротуара, а снега в Симбирске было всегда более чем достаточно? Не занимался же этим сам действительный статский советник, к тому же часто и надолго по школьным

делам уезжавший из дома? И. Н. Ульянову несомненно служивал старик-рассыльный. О нем мы узнаем совершенно случайно, когда сестра Ленина, желая показать «внимательное отношение своего брата Саши» к прислуге, пишет, что в 1883 г., приехав студентом из Петербурга, он «дружески и просто пожал руку» этому рассыльному, что «в то время обратило внимание, как нечто мало принятое». В доме Ульяновых, очевидно, была и кухарка, если-бы её не было, то кто же тогда готовил пищу на восемь человек, раз матушка Ленина этого не делала, а, говорят биографы, — «занималась детьми, садом и музыкой» и лишь «наблюдала за хозяйством»? А если-бы не было кухарки, то не было-бы и «Елены, дочери нашей кухарки», которая, как вспоминает та же Анна Ильинична, водила детей Ульяновых гулять в скверы Симбирска. Что же касается наемной силы в образе няни — отрицать её присутствие более чем трудно. Это няня Варвара Григорьевна, прослужившая у Ульяновых почти 20 лет, вынянчившая трех их детей, в том числе Ленина, о котором она говорила: «это другие дети хорошие — золото, а мой Володенька — бриллиант». Итак, в семье Ульяновых были и рассыльный, и кухарка, и дочь кухарки, и няня, всё как в других дворянских семьях. Отсутствием «наемной силы» это назвать нельзя...

Это вопросы как будто небольшой важности, но если мы останавливаемся на них, то потому, чтобы указать, что быт семьи Ульяновых, материальные условия жизни, окружавшие детство и юность Ленина, совсем не таковы, какими их хотят изобразить его официальные биографы. Их желание «прибеднить» Ульяновых, дать вымышленную агиографию вместо биографии, иконографию вместо настоящего лица — оставляет непереносимо лживый осадок.

Malaparte в его книге «Le bonhomme Lénine», пишет: «чтобы рассказать о его юности биографы принуждены её выдумывать». Не этому автору позволительно говорить о выдумках. Его книга ими буквально начинена. Не он-ли, если уже нужна иллюстрация, глупейшим образом выдумывает, что когда в апреле 1918 г. Ленин предстал пред народом в Москве на Красной Площади, «толпа завопила: ты наш Наполеон!» И всё же Malaparte прав, говоря о выдумках. Со дня смерти Ленина не прошло и 30 лет, а детство, его юность, пребывание в Кремле, последние годы жизни, так затуманены разными выдумками, закрыты такой густой фатой искажений фактов, что кажется — правды о нем, о всей его жизни мы знаем меньше чем о Наполеоне. Восстанавливая жизнь Ленина,

приходится заниматься кропотливыми, своего рода «археологическими» изысканиями, всё непрестанно сверять, сопоставлять, как о разбитой, исчезнувшей под пылью веков, статуе строить догадки, судить по мельчайшим, тут и там, находимым осколкам. Для тех, кто лично не знал Ленина (а знавших его — всё меньше) составление его биографии, описание его детства, юности, бесконечно затрудняется не только заслоном выдумок, но упорным умолчанием о *самых простых вещах*, однако, важных, чтобы иметь представление о настоящем Ленине, настоящей жизни этого человека.

**
*

В иностранной литературе, стремящейся эксцессы русской революции объяснить, между прочим, и «азиатским» происхождением ее руководителей, часто говорится о «восточном облике» Ленина: «скулы калмыка», «раскосые глаза монгола», «чудовище с монгольскими глазами», «человек из Симбирска с азиатской внешностью и азиатской душой, полной коварства и т. д.».

Раз внешняя особенность Ленина привлекла большое внимание, остановимся на ней. Известный немецкий социолог и экономист Вернер Зомбарт, посетивший в 1911 году Москву, смотря на её население, полагал, что большинство его состоит из «татар». «Где вы нашли татар? — говорили Зомбарту удивленные москвичи, — ведь на 1.400.000 душ московского населения, татар даже двух тысяч не найдется». Это расхождение вполне понятно. Огромное большинство великороссов само, в той или иной мере, обладает «восточными» чертами. Иностранец их замечает. Для русского они незаметны. Они в нем, они «свое». В лице Максима Горького сливались черты мордвина, чувашина, татарина, монгола. На это не обращали внимания. Г. В. Плеханов несомненно имел восточный облик. У него где-то в роду хан, прозывавшийся «плешивым». Кому в голову пришла-бы глупость назвать этого европейца азиатом. Раскосые глаза и скулы Ленина на его поведение и психику имели такое же влияние (т. е. никакого), как монголоподобные черты лица на поведение Аристиды Бриана или Лавалья во Франции. Всё-таки не лишено интереса узнать — откуда же у Ленина «восточные черты»? Бабушка Ленина по линии его матери была несомненная немка. Без всякого спора на этом сходятся все свидетельства, хотя нигде не указана её девичья фамилия. Более противоречивы све-

дения, где эта бабушка-немка родилась: одни указывают Петербург, среду зажиточных коммерсантов, другие, что нам кажется ошибочным, немецкие поселения в Саратовской губернии на Волге. Но кто был отцом матери Ленина, его дедом? На это отвечают — Александр Дмитриевич Бланк, родившийся в 1802 году, умерший в 1873. Какова национальность Бланка? На этот счет существует странное, упорное и непонятное молчание. Ни в одном из мемуаров Ульяновых, ни в одной биографии Ленина, нет на то ответа. Крупская в статье, помещенной в 1938 г. в «Большевике» о детстве и ранней юности Ленина (кстати сказать, ничего не дающей) бросила следующую фразу: «Мать Марии Александровны⁴ была немка, а отец был родом с Украины». Слова Крупской, вероятно, и дали возможность G. Walter в книге «Lénine» утверждать, что Бланк был «по происхождению украинец» («d'origine ukrainienne»). Такая интерпретация слов Крупской, конечно, неверна. «Родом с Украины» не значит еще — «украинец». Бланк не украинская фамилия. Есть сведения (они будто-бы хранятся в архивах Института Маркса-Энгельса-Ленина в Москве), что он родился на Волыни, т. е. в пределах Украины, но был евреем. Фамилия Бланк у евреев довольно часто встречается. Но если А. Д. Бланк был евреем, то несомненно крещеным (православным, протестантом), иначе он не мог-бы в эпоху крепостного права купить в казанской губернии имение Кокушкино и стать «помещиком». Говорить с уверенностью об еврейском происхождении Бланка — всё-таки нельзя. Нам известно, что, например, в семье внучки Бланка А. А. Первушиной (её мать одна из старших дочерей Бланка, вышедшая замуж за педагога Залезжского) всегда считали, что Бланк — немец или швед из Прибалтики. Это более согласуется с его женитьбой на несомненной немке, если-бы он был евреем — его женитьба (в первой четверти 19-го столетия) на немке — в какой-то мере противоречила-бы нравам и порядкам того времени. Каково-бы ни было происхождение Бланка восточные черты облика Ленина идут не со стороны матери. Достаточно взглянуть на фотографию Ильи Николаевича Ульянова — отца Ленина, чтобы убедиться, что это он передал сыну «раскосые глаза и скулы монгола». Отец Ленина родился в 1831 г. в семье портного в Астрахани, где издавна происходило смешение русского населения с татарами, монголами, киргизами, калмыками, персами. Люди от этого смешения не-

⁴ Т. е. бабушка Ленина.

медленно бросались в глаза каждому попадавшему в Астрахань. Однако, для объяснения происхождения этого антропологического типа не следует замыкаться только в этом районе бывшей ханской ставки и Золотой Орды. Русских людей обликом Ильи Николаевича Ульянова и сына его Ильича можно во множестве найти по всей восточной, приволжской и заволжской части

Наиболее выражающей Ленина фотографией мы считаем снятую с него в 1917 г. до приезда в Петербург. Её можно найти в книге Крупской «Воспоминания о Ленине» (изд. 1932 г.). Более чем на каком либо другом снимке на нем явно проступают татарские или монгольские черты, мало заметные на его ранних фотографиях. Нельзя не заметить, что если ближайшие товарищи Ленина мало или совсем не видели восточных черт его лица, (о его «монгольском типе», однако писал Горький) для него самого они были очевидны. Как свидетельствует следующее происшествие, он прекрасно знал, что глаза у него «монголят», «немного косые». Осенью 1917 г., боясь быть арестованным временным правительством Керенского, Ленин, под видом кочегара, на паровозе переехал через финляндскую границу, направляясь в Гельсингфорс. Он сбрил усы, бороду и свою лысую голову покрыл париком цвета спелой ржи. Для переезда нужна была фотография, таковую и сделали с заграничного Ленина (она приложена в указанной книге Крупской). Рабочий Емельянов, принимавший большое участие в организации переезда Ленина чрез границу, был этой фотографией очень доволен. Он находил, что Ленин стал походить «на финна» и в таком виде неузнаваем. Но Ленин то знал, что парик не прячет его косящих глаз. «Смотри на меня» — сказал он Емельянову. «Я стал, передает Емельянов, смотреть, но не мог понять в чем дело? Ильич спрашивает: ну, а как глаза? Я говорю: глаза как глаза!! Ильич захохотал и говорит: да глаза то у меня немного косые».

**
*

Детство и юность Ленина нужно, конечно, назвать очень счастливыми. «Мы жили в довольстве, говорил он пишущему эти строки, голода, холода не знали, были окружены всеческими культурными заботами, книгами, музыкой, развлечениями». Отец и мать Ленина были культурные, прогрессивные люди. Кто-то сказал, что на Руси можно быть прогрессистом и в то же время огромным деспотом. Ульяновы ни с какой

стороны к таким «прогрессистам» не принадлежали. Над детьми, в отличие от многих других культурных семей (хотя-бы того же Тургенева) не было ни малейшего родительского гнета. Мать писателя Гончарова, когда он был ребенком, свирепо драла за уши этого земляка Ленина и заставляла его часами стоять на коленях в углу. Ничего, даже отдаленно-подобного, не было в семье Ульяновых. Маленького Ленина за проступки сажали иногда «на черное кресло» в кабинете отца и, в ожидании прощения, он в нем засыпал. Это было самое большое наказание. М. А. Ульянова, а на неё падала главная забота по воспитанию детей, держала их в большой дисциплине, но она покоилась, главным образом, на увещевании, разъяснениях, убеждении. Отсюда не только любовь, но и громадное уважение к ней, которое на всю жизнь осталось у всех детей Ульяновых и, в том числе, у Ленина. Он говорил о своей матери: «у нее огромная воля». А воля в его глазах была высшим душевным качеством.

Пушкин писал о семье Лариных:

«Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины».

Несмотря на усвоение прогрессивных новшеств, быт семьи Ульяновых тоже был проникнут привычками и обычаями «милостарины». Не было, как в некоторых других семьях, их нигилистического отрицания. В противоположность своей жене, отец Ленина был очень религиозен, ходил в церковь и брал туда с собою детей. Только один Саша был освобожден от этой обязанности, когда стал студентом. Критика религии в доме Ульяновых не допускалась. Все большие церковные праздники очень признавались и к ним готовились. У детей был обычай к таким праздникам или именинам родителей радовать их какими нибудь «сюрпризами». На Рождество обязательно устраивалась елка и много лет спустя старшая сестра Ленина не без волнения вспоминала об этих елках и «особенном чувстве тесной дружной семейной спайки, уюте и безоблачном детском счастье», царившем в доме ее родителей во время рождественских праздников. К Пасхе у Ульяновых, как у всех, красили яйца, пекли куличи, делали пасху.

У Лариных Пушкина:

«На маслянице жирной
Водились русские блины».

Любили и Ульяновы блины с волжскими продуктами — икрой и балыком. Ленин хорошо помнил о блинах на Мо-

сковской улице в Симбирске. В 1912 г. мать прислала Ленину в Париж икру и балык. Крупская немедленно написала М. А. Ульяновой, что намерена по этому случаю «печь блины», а Ленин, благодаря за посылку («тегеі!») добавлял: — «Едим теперь эти деликатесы и вспоминаем Волгу». Симбирск и Волга у него неразрывно связаны.

Чествовались у Ульяновых и установленные православной церковью дни Ангела, 20 июля, в день святого Ильи, праздновались именины отца Ленина, а 1-го апреля особенно торжественно день Ангела его матери. В этот день было две именинницы. Второй была младшая дочь — Мария Ильинична, как её называли, «Маняша».

Где-бы потом в эмиграции ни находился Ленин, он никогда не забывал этот день. В 1910 г. он писал М. А. Ульяновой из Парижа: — «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем Ангела и с именинницей. И Маняшу тоже. Крепко, крепко, обеих обнимаю». Такое-же поздравление в марте 1911 г. — «Дорогая мамочка, поздравляю тебя и Маняшу с днем Ангела». Не забыт этот день и в 1912 г. — «Мамочка поздравляю тебя и Маняшу с днем Ангела, крепко целую и желаю всего лучшего».

Кажется последнее поздравительное письмо, дошедшее до его матери, отправлено Лениным уже в год начала войны из Кракова (28/III-1914 г.): — «Дорогая мамочка! Крепко обнимаю тебя и поздравляю и тебя и Маняшу с днем Ангела».

Установленная еще с детского возраста привычка поздравлять родителей и родных с праздником Рождества в Ленине внедрилась тоже столь крепко, что не оставляла его и тридцать пять лет спустя. Так, накануне Рождества 1912 г., он писал из Кракова матери и сестре в Саратов: — «Поздравляю всех вас с праздниками! Желаю веселее их встретить, быть здоровыми и бодрыми». О себе и Крупской он прибавлял: — «Собираемся больше праздновать русские праздники, чем здешние».

И другие обычаи «милой старины» знали дети Ульяновых. Упомянем о старом русском обычае выпускать певчих птиц из клеток на волю 25 марта — в день Благовещения, при начале весны. Кто в то время в младшем классе гимназии не учил стихотворения Пушкина?:

«В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны».

С деньгами, специально для этого подаренными матерью, Володя Ульянов бежал на базар, накупал у торговцев птичек и оттуда несся с ними в так называемый Обрезков сад или, ближе к их дому, на берег Свяги, где птички получали свободу. Он любил щеглов, чижей, синиц, всякие другие певчие породы. В течение многих лет с присущей ему страстью он ими занимался, ловил западней в саду, держал в клетках, а 25 марта выпускал на волю. В одну из зим какая-то из его любимых птичек сдохла. Он упрекал себя, что забыл дать ей корм. Это произвело на него (ему было более 13 лет!) такое сильное впечатление, что с этого дня он птиц перестал иметь.

Почти как все мальчики Владимир очень любил играть в солдатики. Он играл в них с братом Дмитрием и с двоюродными братьями. Тщательно вырезал их из бумаги и раскрашивал цветными карандашами. «Солдатики стояли благодаря отогнутой у ног полоске бумаги. Размер полоски был строго установлен: одинаковый во враждующих армиях, но различный для солдат и генералов. У последних полоски были шире и поэтому они были более устойчивы».

Враждующие армии располагались на краях большого стола и бой велся с помощью горошин, изображавших ядра. Бойцам, не падавшим от ударов этих ядер, выдавались ордена, разрисованные Володей. Его двоюродный брат Веретенников передает, что во время сражений Володя стремился победить противников, прибегая к плутовству. Маленькими гвоздиками он незаметно прикалывал к столу своих солдат и генералов. От ударов горошин эти бумажные бойцы сгибались, но не падали, тогда как во вражеской армии все валились. Не понимая причин своего поражения, брат Митя «невероятно горячился, настойчиво стараясь сбить несокрушимых воинов Владимира». Следует добавить маленькую, пожалуй, не лишнюю интересную деталь. Когда в 1895 г. Ленин приехал за границу знакомиться с Плехановым, тот отнесся к нему с большим вниманием, много с ним говорил, рассказывал о себе и своем прошлом. Указал, между прочим, что в молодости у него была большая тяга к военной карьере, и когда был подростком во всех военных играх изображал великого русского полководца, какого-то, всех побеждающего «русского Наполеона». Ленин рассмеялся и сказал: — «Я тоже сравнительно до позднего возраста играл в солдатики. Мои партнеры в игре всегда хотели быть непременно русскими и представлять только русское войско, а у меня никогда подобного желания не было. Во всех играх я находил более приятным изображать из себя

командира английского войска и с ожесточением без жалости бил «русских» — своих противников». На это Плеханов, шутя, заметил: — «у вас, видимо, уже с детства в кишке больше космополитизма чем у меня»⁵. Веретенников подтверждает, что Владимир Ульянов в играх в солдатики «увлекался англичанами» и всегда командовал «английской армией».

Лет до двенадцати Володю очень притягивал рояль. По словам сестры Ленина — «Володя любил петь. Слух и способности к музыке у него были большие. Мама показала ему (на рояли) начальные упражнения, дала ему разыгрывать несколько простых детских песенок и пьес и он стал играть бойко и с выражением. Мать жалела потом, что он забросил музыку». Г-жа Т. Алексинская (имею в виду её статью в «Grande Revue», 1923 г. август) писала, что летом 1907 г. «в Финляндии ей довелось слышать поющего Ленина». — «Он пел сентиментальный романс, совершенно не подходивший к его большому безволосому черепу, маленьким, хитрым глазам и, в особенности, к его голосу, негодному для лирического пения».

Никогда не слышал поющего Ленина. Не знаю, был-ли у него тенор или баритон. Но во время прогулок с ним в Женеве и игры в шахматы много раз слышал как Ленин свистит разные мелодии. Всегда удивляло мастерство с каким он передавал их. Умение Ленина еще в ребяческие годы хорошо насвистывать отмечает и Веретенников. Впрочем, он считает, что Ленин с юных лет был для детей внушителем всех качеств и высоких достоинств. Не чувствуя комизма или глупости своих слов, он пишет следующую фразу: — «Только благодаря свисту Володи у меня стал развиваться музыкальный слух».

Брат Ленина Дмитрий, не довольствуясь статьей о «Любви к музыке в семье Ульяновых» («Правда» 21/I 1941 г.) написал нечто вроде трактата «Владимир Ильич в музыке», хранящегося в архивах Института Маркса-Энгельса-Ленина. Он не напечатан, но насколько нам известно в центре его описание, как Ленин в 1890 г. на хуторе Алакаевка, напевая, помог своей сестре Оле (она была хорошая музыкантша) подобрать на рояле никому тогда в России неизвестный мотив

⁵ Это мне рассказано Плехановым в августе 1917 г. Плеханов возмущался тогда Лениным, отсутствием у него «элементарного патриотизма», тем что Ленин своими лозунгами и тактикой сознательно способствовал поражению немцами России.

«Интернационала». Есть основание думать, что это «музыкальное событие» — только фантазия брата Ленина, но что у Ленина был музыкальный слух это несомненно. В письме к матери из Мюнхена (17/1 1901 г.) сообщая, что был в опере и слушал «с наслаждением Жидовку», он прибавлял, что он эту оперу слышал в Казани, 13 лет назад, когда «пел Закржевский» и некоторые мотивы запомнил. Позднее вместе с мозговым переутомлением и начинающейся болезнью, у Ленина произошло *полное* исчезновение музыкальной памяти. Художнику Н. Альтману, лепившему в Москве в 1920 г. скульптурный портрет Ленина, он сказал: «я могу двадцать раз слышать одну и ту же мелодию и её не запомнить». Такой фразы раньше от него нельзя было услышать.

Конечно, не одними только «солдатиками», птицами и игрой на рояле увлекался подросток и юный Ленин. Он пройдет чрез ряд увлечений: катание на санках с снежных гор, игра в крокет, хождение на ходулях, гимнастика и, в частности, упражнения на трапедии, гребля, плавание, коньки. Различные физические упражнения сделали юного Владимира Ульянова крепко сложенным. Очень большой вкус ко всем видам спорта он сохранил на всю жизнь. Ежедневной гимнастике он придавал огромное значение. В 1898 г., его брат Дмитрий, накануне окончания в Москве медицинского факультета, был арестован и сидел в тюрьме. Ленин, узнав об этом, пишет из Сибири матери: — «Занимается-ли он (Дмитрий) гимнастикой?» Ленин считает, что в тюрьме, при сидячем образе жизни, чтобы не расслаблять организм, особенно важны физические упражнения. «Брат — медик, презрительно заключает он, а врачи большею частью рассуждать только умеют о гигиене». Он просит мать рекомендовать брату превосходное, по его мнению, упражнение. Это «земные поклоны»: наклонять корпус, не сгибая ног, и доставать рукою каждый раз до полу. Пусть брат делает «не меньше 50 подряд земных поклонов».

Арестованной сестре «Маняше» он из Мюнхена в 1901 г. отправляет подобный-же наказ: «*Главное* — не забывай ежедневной, обязательной гимнастики, заставляя себя проделать по несколько десятков (без уступки) всяких движений. Это очень важно». Ту же сестру Маняшу он запрашивал в 1912 г. из Кракова, катается-ли она на коньках? — «Право, этим не пренебрегай. Я как только попал в холодное местечко, сразу разыскал каток и попробовал, не разучился ли кататься на коньках».

В Симбирске он был очень ловким конькобежцем, проделывавшим на льду смелые прыжки, всяческие сложные фигуры, спуск на короточках с горы. Вспоминая это время, он из Кракова писал матери в 1913 г. — «У нас чудесная зимняя погода без снега. Я купил коньки и катаюсь с большим увлечением. Симбирск вспоминаю и Сибирь».

В Симбирскую гимназию Ленин поступил осенью 1879 г. в возрасте девяти с половиной лет. Учился он превосходно. Во всех классах был первым учеником и, как и его брат Саша, кончил гимназию с золотой медалью. Благодаря хорошей памяти и совершенно исключительному для ребенка напряженному вниманию с каким он слушал объяснения учителей, он усваивал уроки еще в школе и это, в отличие от других детей в значительной мере избавляло его от долгой подготовки уроков дома. Выполнив школьные задания, он становился свободен и шумом, криками, очень мешал занятиям брата и сестер. Можно сказать, что по этой причине Ленин и научился очень рано играть в шахматы. Его отец, охраняя занятия других детей от шумливого брата, звал его к себе в кабинет. Чтобы здесь его удержать и развлечь, он стал его знакомить с шахматными фигурами и их баталиями. Драться этими фигурами Володе очень понравилось. Много лет спустя, мать Ленина, непрестанно думавшая доставить сыну какое-нибудь удовольствие, послала ему за границу шахматы, выпиленные его отцом еще в Нижнем-Новгороде в начале 60-х годов. В 1914 году при аресте Ленина австрийскими властями и высылке его из Галиции, шахматы затерялись. Ленин был крайне огорчен. Это была большая память об отце. На этих фигурах И. Н. Ульянов обучил шахматному искусству своих детей и постоянно играл с сыновьями. Подкрепляя уроки отца разными руководствами, оба сына сделались сильными игроками, а Ленин вдобавок, как ему и полагалось, страстным игроком. В ссылке и эмиграции он всегда искал с кем-бы сразиться. М. Т. Елизарову, мужу его старшей сестры, удалось в 90-х годах участвовать в шахматном сеансе одновременной игры с 30 и 40 участниками, которую вели в Москве знаменитые мировые игроки того времени — Ласкер и Чигорин. Елизаров выиграл партию у того и у другого. Ленин, а ему с некоей гордостью о том писал Елизаров, совсем не увидел в этом большого подвига. Он считал себя и, вероятно, действительно был гораздо более сильным игроком чем Елизаров.

Уже цитированная г-жа Алексинская, присутствовавшая в 1907 г. в Финляндии при шахматной игре Ленина с ее му-

жем, с тою же неприязнью, с какой она критикует голос, слух, лысину, лицо Ленина, судит и об его манере игры. — «У Ленина особый взгляд на игру. Хорошие игроки, корректно играющие, исправляют оплошности своих противников. Ленин не в их числе. Ему нравится не играть, а побеждать. Он эксплуатирует все моменты забывчивости противника. Если он может взять у него фигуру, он, не давая опомниться, с поспешностью хватает её. В его игре несомненно нет никакой эlegantности».

Пишущий эти строки много раз играл в шахматы с Лениным, но того, что в игре Ленина видит г-жа Алексинская не заметил. Впрочем, победить меня он мог и не прибегая к «неэlegantным» манерам. Возможно, что, сталкиваясь с более сильными игроками, Ленин применял другие приемы, но нужно думать, что своей фразой г-жа Алексинская хотела больше всего сказать, что в политической борьбе, как и в шахматной, у Ленина не было «корректности» и «эlegantности», а лишь страсть любым способом победить, повалить, раздавить, уничтожить противника. Опровергать её в том не приходится. Повидимому, с теми-же мыслями рассматривает Алексинская и ленинскую игру в крокет. Видя как далеко он отсылает шар ее мужа, она восклицает: — «Он бьет по шару с такой свирепостью, что я содрогаюсь. Что то злое и жестокое проступает в его лице».

У Володи Ульянова, в ребяческие годы, была особая страсть к разрушению и поломкам. Все дети ломают игрушки. У Ленина порча и ломание вещей далеко превышали «нормы». Он обнаруживал при этом какую-то упорную, упрямую, настойчивую методичность. Чтобы без помехи со стороны старших произвести очередную поломку, он прятался где нибудь в угол или за дверь. Однажды, передает его сестра, в день своего рождения, он получил от няни Варвары Григорьевны в подарок, запряженную в сани, тройку лошадей из папьемашэ и немедленно с нею куда-то скрылся. «Мы стали его искать и обнаружили за одной дверью. Он стоял и сосредоточенно крутил ноги лошадей, пока они не отвалились одна за другой». С годами под влиянием назиданий матери эта манья разрушения исчезла, но за то резко выступили другие черты характера: *бурность, вспыльчивость, заносчивость, дерзость, нетерпеливость, шумливая подвижность.*

Крайне любопытно, что бурность и шумливость удивительным образом сочетались у Владимира Ульянова со спокойным, выдержанным поведением в школе. За всё время его

пробытия в более чем консервативной гимназии у будущего вождя величайшей в мире революции нет ни малейшего проступка, ни малейшего нарушения требуемых правил поведения, а они были строги. Он был примернейшим учеником, образцом отменного поведения, похвального внимания и акуратности. В так называемых кондуитных записях классных наставников, например, Федорченко, можно найти следующие характеристики Владимира Ульянова: — «Ученик весьма даровитый и акуратный. Успеваеет во всех предметах очень хорошо. Ведет себя примерно». Или следующий год (в VII классе): — «В классе очень внимателен и прилежен. Ведет себя оглично».

Заносчивый, вспльчивый дома, он умел себя обуздывать в школе. Он обнаруживал большой конформизм. Всё, что требовали от него учителя выполнялось им с полным послушанием. «Неужели, спросил его однажды двоюродный брат, с тобой никогда не бывало, что ты урока не приготовил?» — «Никогда не бывало и не будет!»

В первых классах гимназии он любил гордиться, хвастаться своими успехами. Возвращаясь из школы домой, он спешил сообщить родителям о полученных им прекрасных отметках, рассказать за что, за какие ответы они получены. Но такие отметки получались из недели в неделю. Из месяца в месяц. Из года в год. У Владимира Ульянова к высшим отметкам образовалась привычка. Постепенно сложилась твердая уверенность, что иначе и быть не может. Он непременно должен преуспевать. Всегда быть первым учеником. Для этого нужно только хотеть. Это вопрос только воли. Он уже не докладывал родителям, как и при каких обстоятельствах получил высшие отметки, а пробегая мимо кабинета отца или встречая мать бросал на ходу, как нечто само собою разумеющееся: — «Сегодня пять по греческому, пять по истории» или «пять по алгебре и физике».

Отец Ленина, с своей стороны, делал вид, что не замечает успехов сына. Он избегал его «захваливать», зная и без того насколько велика самоуверенность и заносчивость Владимира. Уверенность в самом себе, в даре и способности схватывать и получать знание, в своем праве по знанию и пониманию считаться «первым из лучших» — резко проявится в дальнейшей жизни Ленина. Из его философского дневника, изданного институтом Маркса-Энгельса-Ленина, например, следует, что, кроме него, «никто из марксистов не понял Маркса». Лишь за год до смерти, расставаясь с верою в абсолютность усвоенного

им знания, как-бы перефразируя слова Экклезиаста — «мудрость далека от меня», он горько заявит: — «Вреднее всего было-бы полагаться на то, что мы хоть чтонибудь знаем».

До этого его девизом было мчаться, «скорее» лететь, «на всех парах вперед». Вкусив горький плод от древа познания добра и зла, умудренный грандиозным опытом, от которого разорвется его уставший мозг, с крыльями сильно опаленными огнем революции, Ленин в марте 1923 г., за несколько дней до сразившего его второго удара, сделает следующее наставление: — «Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно-быстрому движению вперед». «Семь раз примерь, один раз отрежь». «Лучше меньше, да лучше». «Нам-бы для начала достаточно настоящей буржуазной культуры».

Акуратность, огромное рвение, прилежание, внимание с которым, как мы только что указали, он относился к своим школьным обязанностям, урокам в симбирской гимназии, останутся его чертами и в период, когда он будет диктатором России. Он совсем не ограничится одними общими приказами и директивами, а с величайшим рвением будет выполнять «свой урок», следить за работой новоскладающегося грандиозного государственного аппарата. Ленин, можно сказать, обнаружит себя идеальным *чиновником*. К восьми часам утра, оставляя квартиру в Кремле, иногда лишь в дороге заканчивая утренний завтрак, он спешил в свой кабинет в Совете Народных Комиссаров. Здесь без остановки он работал до 5 часов вечера. Некий Шкундик, бывший одно время в Кремле комендантом, потом вспоминал, что Ленин, уходя из служебного кабинета к себе домой, а работа продолжалась и там, бывал так изнурен непрерывной девятичасовой работой, что иногда шатался от усталости. Ни одно большое дело на шестой части земного шара, ныне именуемой СССР, не решалось без его указания. Все поступающие к нему в множестве рапорты, предложения, отчеты, он, как добросовестный чиновник, читал с величайшим вниманием, акуратно делая на них отметки, ставя свою резолюцию. В течение дня он писал множество записок разным начальствующим лицам и такое же множество раз по телефону вел с ними переговоры, требуя разных данных и сведений. Горбунов, сначала секретарь, а потом управляющий делами Совета Народных Комиссаров, указывает, что в работе Ленин был — «требователен до чрезвычайности, с поразительной настойчивостью добивался доведения до конца даже самых мелких дел, десятки раз проверял исполнение, лично звонил по телефону, чтобы проверить получение посланного им

пакета, беспощадно преследовал всякую неакуратность, небрежность, не уставал тысячи раз указывать на нашу специфическую русскую расхлябанность, неумение работать, беспорядочность, некультурность. Доведению до конца какого-нибудь мелкого дела практического характера Владимир Ильич придавал иногда большее значение, чем десятку постановлений Совета Народных Комиссаров».

Горбунов стесняется сказать, что к постановлениям Совета Народных Комиссаров, к творчеству декретов, к созданным этими декретами ведомствам, комиссариатам — Ленин в последние годы своей жизни относился с невероятным презрением, раздражением и не стеснялся называть декреты «экскрементами». В этом отношении очень характерно его письмо своему заместителю Цурюпе, посланное 21 февраля 1922 г., которое стоит привести, несмотря на неприличие его выражений: — «Главное по моему — перенести центр тяжести с писания декретов и приказов (*глупим мы тут до идиотства*) на выбор людей и проверку исполнения. Всё у нас потонуло в паршивом бюрократическом болоте ведомств. Ведомства — говно, декреты — говно!»

Брата Ленина, Александра, притягивали естественные науки. Владимир Ульянов этим совсем не интересовался. У него было отталкивание от этих наук. Любовь к ним брата он не понимал и высмеивал. А вот языками и особенно латинским языком очень интересовался. Интерес к нему пробудил двоюродный брат А. И. Веретенников, преподававший древние языки в Симбирской гимназии. В конце концов Ленин так хорошо изучил латынь, что будучи в шестом классе гимназии, помогал усвоить этот язык одному чувашину-учителю, желавшему поступить экстерном в университет. После смерти Ленина, когда восхищение всем что делал Ленин — стало обязательным правилом, законом, один советский журнал, анализируя «стиль и строение речей» Ленина нашел в них полное сходство с приемами и конструкцией речи античных римских ораторов. Поверив в эту чепуху, Крупская в её «Воспоминаниях» заявила, что после этого она вполне «поняла почему мог увлекаться Владимир Ильич, изучая латинских писателей».

Кроме языкознания, говорят его биографы, юного Ленина привлекали история, география и *литература*. Он с величайшей охотой писал сочинения. По словам А. И. Елизаровой, они были «обстоятельные, тема хорошо разработана и изложена хорошим литературным языком». Директор Симбирской гим-

назии Ф. М. Керенский (отец А. Ф. Керенского), преподававший в старшем классе словесность, «очень любил Володю, хвалил постоянно его работы и ставил ему лучшую отметку».

Похвалы, в том нет сомнения, разжигали усердие его очень самолюбивого ученика. В числе своих способностей он увидел еще одну: легко писать сочинения, умение письменным «глаголом жечь сердца людей». Именно на эту тему — строфу из «Пророка» Пушкина — Ф. М. Керенский, внушивший своим ученикам любовь к Пушкину, однажды заставил их написать сочинение. Позднее писательство, приобретая характер революционной, разрушительной проповеди, превратилось у В. Ульянова в страсть, соединенную, как у всех проповедников, с верою в себя, познавшего абсолютную, непреложную истину. Все события, почитавшиеся им важными, вызывали у него автоматический рефлекс — немедленно взяться за перо, писать, поучать, проповедывать. Он мог писать во всяком положении и при всех обстоятельствах. В июле 1917 года, скрываясь от ареста, он прятался несколько дней на чердаке дома рабочего Емельянова недалеко от Сестрорецка. Он писал и там в самой неудобной для этого обстановке. Он мог писать очень много, очень быстро, очень легко и то, что он написал стало, действительно, «жечь сердца людей». Но был-ли у него литературный талант? Живо написана его книжка «Что делать». Неплохо написан очерк «От какого наследства мы отказываемся». Даже начиненному цифрами и таблицами исследованию «Развитие капитализма в России» он сумел придать какой-то читаемый вид. Однако, вот что характерно: для тем, для всего, что вне политики и экономики — у него совершенно не было слов. Тут он немой. Он попробовал нам однажды рассказать о впечатлении от первой встречи с горами и с океаном, почувствовал, что этого сделать никак не может и рассмеялся: «это не по моему департаменту». Первым своим произведением (1894-1902 г.г.) он старался придать возможно лучшую литературную форму. Для этого он два раза переписал, отделявая, весь текст «Развитие капитализма в России», два раза переделывал «Что делать» и, оставшись им недовольным, в предисловии к книжке извинился «за громадные недостатки в литературной отделке». Позднее таких извинений он уже никогда не делал и о стиле, о литературной обработке перестал заботиться. Некоторые его вещи, особенно газетные статьи, написаны так неряшливо, таким грубым, трафаретным, бедным языком, что коробили

даже больших его почитателей. «Нельзя не пожалеть, писал Ольминский, что наш идейный вождь так пренебрежительно относится к литературной форме и литературной обработке своих мыслей» («Вестник Жизни» 1918 г. № 2).

Н. Валентинов

Е. Д. КУСКОВА

ПОРТРЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ

1

Десятилетия публицистической деятельности Екатерины Дмитриевны Кусковой свидетельствуют, что в ее лице русский читатель имеет на редкость выдержанного внепартийного представителя русской демократической и социалистической мысли, — который так и не нашел для себя ни партийной полочки, ни партийной этикетки, — выступления которого, обычно окрашенные яркой эмоциональностью, отличаются элементом не групповой или кружковой, а отчетливо выраженной личной ответственности. В условиях русской действительности Е. Д. Кускова в этом смысле являет собой тип «кустара одиночки», какими был однако и ряд других выдающихся русских политических деятелей, так и не нашедших для себя приюта в той или иной партии, — порой даже несмотря на свою формальную принадлежность к партии. Достаточно вспомнить Петра Струве, «с боем» принимавшего участие в кадетской партии, или А. Н. Потресова и даже Г. В. Плеханова, также осужденных в течение долгих лет на трагическое одиночество в рамках весьма вольного меньшевизма.

Если мы подчеркиваем этот непартийный характер политической деятельности Е. Д., то только потому, что в СССР на потребу молодого поколения отводится и в отношении Кусковой своя порция исторической фальсификации. Хорошо еще, если ее вместе с С. Н. Прокоповичем преподносят где-нибудь в примечаниях к сочинениям Ленина, как «беззаглавцев» (по имени журнала издававшегося под редакцией недавно скончавшегося в Нью Йорке Р. М. Бланка) или как «членов полукадетской группы». В «Кратком курсе истории ВКП» сообщается, что Кускова и ее друзья «стали потом кадетами», а раз так, то для Большой Советской Энциклопедии (том 34 и др.) ничего другого не оставалось, как обозначить их: «белоэмигранты, злейшие враги советской власти».

Тем не менее, из песни слова не выкинешь, и сколько

ни стараются советские историографы исказить и ополщить историю русского социализма, — страничку ее, вписанную Е. Д. Кусковой, вычеркнуть никак не удастся. При всей своей, если так можно выразиться, органической, внутренней непартийности Е. Д. Кускова оказалась одним из пионеров русского социал-демократического движения, даже одним из создателей с. д. партии в России. Правда, недолго продолжался организационный роман Е. Д. Кусковой с социал-демократией, хотя, надо сказать, идейные нити, связывающие ее с русской социал-демократией, уже на всю жизнь остались в ее деятельности и порой звучат довольно ясно и отчетливо. Знаменитое «Кредо» Е. Д. Кусковой, хотя и явилось переломным пунктом во взаимных отношениях ее с социал-демократией, навсегда вписало ее имя в историю русского социализма.

**

*

Было это в 1899 году, когда Е. Д. Кускова, отстаивая свои воззрения на характер русского рабочего движения и на задачи только-только нарождавшейся с.д. организации, создала нечто вроде политической платформы. По словам Кусковой («Былое» № 10 за 1906 г.) это было «краткое изложение взглядов», «набросок», сделанный спешно и не для печати ею лично, «без всяких участников», — «бумаженка», составленная для «удобства» имевших тогда место споров. Несмотря на столь определенный характер разъяснений Кусковой, этот документ подается, например, советскому читателю в том же «Кратком курсе истории ВКП» — не только как «набросок», но — как «манифест». Действительно, если принять во внимание тот широкий отклик, который вызвала «бумаженка», нужно признать, что мы имеем дело с документом, на долю которого выпала исключительная роль в истории русской социал-демократии. Этот документ циркулировал в копиях, был подхвачен противниками, получил (без ведома автора) название — и столь торжественное: «Кредо» (Символ веры), — в течение ряда лет преподносился и толковался как программа определенного течения среди русских социал-демократов, получившего во фракционной борьбе название «экономизма».

Опасность, которую сигнализировало «Кредо» Кусковой, с точки зрения господствовавших тогда воззрений в социал-демократических рядах, была столь велика, что все руководящие фигуры социал-демократии пришли в великое вол-

нение. Ленин, находившийся тогда в ссылке в Минусинском крае, составил протест от имени 17 ссыльных. В другом месте ссылки, в Вятской губернии, где находились Дан, Потресов и др., от имени 20 ссыльных также был составлен протест против «Кредо». Не меньший переполох был произведен и в заграничных, эмигрантских центрах, где руководители Группы Освобождение Труда, Аксельрод и Плеханов, перед тем в течение нескольких лет встречавшиеся с Кусковой и Прокоповичем, теперь решительно выступили против них: Аксельрод еще в умеренном тоне, Плеханов же, выпустивший в 1900 г. свой «Вадемукум» (Путеводитель) для редакции «Рабочего Дела» — с большой полемической резкостью. Так в борьбе против «Кредо» соединились будущие большевики и меньшевики.

В чем же было дело? Что вызвало столь сильное волнение? Каковы были основные идеи, формулировка которых Е. Д. Кусковой заставила русских социал-демократов мобилизовать все силы против нее? Если взять тот ураган нападков, который тогда был обрушен на Е. Д. Кускову, — то мы увидим, что это в основе те же самые обвинения, которые на протяжении десятилетий восторжествовавший большевизм выдвигает против своих противников в социалистическом лагере, — меньшевиков, демократических социалистов Европы, либералов в американском смысле этого слова.

В «Кратком курсе истории ВКП» можно прочесть, например, следующее: «экономизм есть основная ячейка соглашательства, оппортунизма... экономисты хотят иметь не партию социальной революции, а партию социальных реформ... экономисты являются реформистами, предающими интересы пролетариата». Большая Советская Энциклопедия тоже определяет «экономизм», как «разновидность западно-европейского реформизма». Любопытно, что полвека тому назад те же аргументы и почти в том же виде были выдвинуты в борьбе будущих меньшевиков с «экономистами», и особенно в полемике против Е. Д. Кусковой и ее единомышленников. Так причудливо история перекликается с современностью.

**
*

Здесь не место пытаться дать историю «экономизма», как направления русской с. д. мысли. Е. Д. Кускова в своем рассказе в «Былом» (1906 г.), намечает схему развития «экономизма» следующим образом: «Сначала «Бунд», потом

«Рабочая Мысль», потом НН и ММ, потом «Рабочее Дело» начали настаивать на том, что если с. д. партия хочет быть партией рабочих, она должна подойти к ним, исходя не из абстрактных учений Маркса и Энгельса, а из их непосредственных интересов. Опирается должна эта партия не на веления людей, заграницей сидящих, а на самостоятельность рабочих». Что представляет собой еврейский с. д. Бунд — известно. «Рабочая мысль» была нелегальным органом, основанным в 1897 г. для пропаганды идеи повседневной борьбы в защиту жизненных интересов рабочих. Журнал «Рабочее Дело», выходящий заграницей как орган Союза русских с. д., из которого в 1900 г. ушла Группа Освобождение Труда, почитался, можно сказать, официальным выражением мнений «экономистов». За кличками же НН и ММ скрывались С. Н. Прокопович и Е. Д. Кускова, когда в 1897-98 гг. они проживали в Берлине и входили в состав берлинской группы Союза русских с. д. В эти годы оба они были очень близки к Группе Освобождение Труда, этой основоположнице русской социал-демократической партии. Но скоро между ними и членами Группы наметились и углубились идеологические разногласия, кончившиеся разрывом. Кускова пишет в «Былом»: «НН был подвергнут анафеме. Проклятые истинными социал-демократами, НН и ММ уехали в Россию, но на границе НН (С. Н. Прокопович) был арестован и увезен в Петербург». Е. Д. Кускова продолжала отстаивать свои еретические мысли среди петербургских с. д. К этому моменту относится появление «Кредо».

**
*

Для того, чтобы ввести читателя в круг идей Е. Д. того времени, мы приведем несколько отрывков из ее письма к Аксельроду, которое опубликовал Плеханов в «Вадемекуме». Эти ее высказывания предшествовали составлению «Кредо». «Борьба рабочих за политические права будет более упорна, чем где бы то ни было; организация рабочих и их тактика должны явиться кардинальным пунктом деятельности всякого с. д. и основным содержанием всей нелегальной литературы. Пропаганда будущего, социализма и всего прочего, может пока служить хорошим средством для привлечения отдельных лиц из интеллигенции и рабочей среды, но никогда массы». Так писала тогда Кускова, пытаясь провести отчетливую тактическую грань в спорах с ортодоксальными марксистами.

«В теоретических воззрениях следовало бы предоставить полную свободу слова в пределах общего мировоззрения», — продолжала она. — «Марксизм не мертвая доктрина, и критика ее, а также развитие некоторых неразвитых положений в настоящее время существенно важны». Нельзя не подчеркнуть, что у Е. Д. того времени был некоторый скепсис и насчет последствий углубления революции в России. В предисловии к «Вадемекум» Плеханов цитирует ее строки о том, что «после Бельгии» (она и С. Н. некоторое время были в Бельгии) «стало стыдно говорить о социальной революции» и тут же опасение, что в случае углубленной революции «красное море надолго затопит нарождающееся рабочее движение».

Всё это увертюра к будущему «Кредо». Приведем в заключение из этого исторического документа несколько цитат, чтобы показать, каковы были мысли Е. Д. Кусковой свыше полвека тому назад. «Марксизм нетерпимый, марксизм отрицающий, марксизм примитивный (пользующийся слишком схематичным представлением классового деления общества) уступит место марксизму демократическому», — писала Е. Д. — «Сектантские задачи партии расширяются до задач общественных, и ее стремление к захвату власти преобразуется в стремление к реформированию современного общества в демократическом направлении». «Русский марксизм — пока печальное зрелище. Наши марксисты, более чем нужно, относятся с презрением к радикально или либерально оппозиционной деятельности нерабочих слоев общества». «Марксисты забывают, что целый ряд исторических условий мешает нам быть марксистами Запада и требует от нас много марксизма, уместного и нужного в русских условиях». «Политическая невинность русского марксиста, скрытая за головными рассуждениями на политические темы, может сыграть с ним скверную штуку».

Сейчас требуется немалое усилие, чтобы понять своеобразную, почти болезненную психологию тех лет и ту ожесточенную борьбу, которую ортодоксы марксизма вели с ересью «экономизма» и особенно с Е. Д. Кусковой, как подведившей под эту ересь «теоретический фундамент». В исторической перспективе кажется, что Е. Д. Кускова может найти в своей тогдашней «критической» позиции немало правильных точек опоры не только для того отдаленного времени, но, пожалуй, и для нашей бурной современности. Как известно, Е. Д. в последующие годы, порвав с с. д. организацией,

вошла в Союз Освобождения, — вместе с Прокоповичем, Струве, Милюковым. Очень любопытно, однако, подчеркнуть, что на всех этапах своей эволюции Е. Д. всегда сохраняла свою внутреннюю связь с проблемами рабочего и социалистического движения. Первая любовь, сложившаяся в форме романа с русским марксизмом наложила печать на всю кипучую и неутомимую деятельность Е. Д. Кусковой.

2

После бурных перипетий первой революции, в которой Е. Д. была душой знаменитого в 1905 г. Союза Союзов, — в противовес, а порой и рука об руку с Советом рабочих депутатов, объединившего в единой политической акции интеллигенцию всех профессий, — начался для России новый период, когда для Кусковой, Прокоповича и их друзей из радикально-политической интеллигенции впервые открылись широкие перспективы положительной общественной работы, — и в области политики (печать, Государственная Дума), и в области хозяйственной (кооперация), и в области культуры. И надо признать, что в этот период неудавшегося, нерасцветшего российского Ренессанса Е. Д. была одним из видных деятелей нарождавшейся народной России.

В феврале 1906 года в журнале «Без Заглавия» Е. Д. пыталась дать представление о своем месте среди разнообразия партий и групп, расплотившихся перед выборами в 1-ую Государственную Думу. В статье «Ответ на вопрос — кто мы» Е. Д. писала: «Партия по русскому пониманию есть подбор однотонных личностей. Для людей, ставящих индивидуальную свободу и рост личности основной задачей человеческой культуры, часто бывает морально-недопустимым то посягательство на свободу убеждений за пределами партийного минимума, которое практикуется в политических партиях-кружках политически-неразвитых стран».

Статьи Е. Д. в этом журнале, где она вела внутреннее обозрение, были посвящены разнообразным текущим проблемам. Тут и попытки подведения итогов первой революции, и выяснение причин постигших ее неудач, и вопрос, волновавший тогда радикальные круги: — окончилась ли революция или революционная ситуация еще остается в силе? — и статья «В защиту «Кредо», то есть в защиту так называемого экономизма в русской социал-демократии, неосновательно ославленного марксистской ортодоксией. Но в центре

литературных выступлений Е. Д. естественно стояли вопросы политической тактики. Эта выработка тактики русской демократии в борьбе со старым режимом и в защите новых, завоеванных в революции позиций, в сущности, доминировала в публицистике Кусковой и роднила ее, в известной мере, с меньшевистским крылом социал-демократии. Следует особо отметить выдающееся участие Е. Д. Кусковой, в годы предшествовавшие войне, в создании и работе кооперации, в частности, крестьянской, а также ее роль на тех съездах, которые мобилизовали общественность, — особенно на съезде по женскому равноправию. Со своей эмоциональной речью и горячей публицистической деятельностью, и сочетавшейся с нею склонностью к созидательной работе, не упускающей из виду основные цели, но и не брезгающей никакими малыми делами, — Е. Д. Кускова оставила яркий след в русской политической и общественной жизни того времени.

Говоря об общественной деятельности Е. Д. Кусковой, я хочу задержать внимание читателей на одном больном вопросе русской жизни — еврейском. Было это во время войны, когда с легкой руки военного командования начались обвинения евреев в шпионаже и затем — насильственное выселение сотен тысяч мужчин, женщин и детей из ряда прифронтовых губерний. 39 русских (по национальности) писателей выпустили тогда сборник «Щит» для того, чтобы протестовать против выселений и преследований евреев царским правительством. Было ли где-нибудь, в какой-нибудь стране подобное выступление христианской интеллигенции во время второй мировой войны, когда еврейство пережило беспрецедентную по размерам катастрофу?

В сборнике этом естественно приняла участие и Е. Д. Кускова, много наблюдавшая картины выселения евреев из Западного края. И вот выводы, к которым она тогда пришла: «Самое важное, самое нужное сейчас — сочувствие русского общества... Мы не привыкли к благородству, мы еще сами — вчерашние рабы. Но ведь растем мы сейчас не по дням, а по часам». Статья заканчивается на утешительной ноте, — надеждой на то, что в результате испытаний войны откроется более светлая страница освобожденной России. Мы стоим «перед рассветом русской гражданственности, перед постройкой одного общего дома, удобного для всех наций. Ведь правда же невозможно, чтобы неблагородными вышли мы из великой борьбы... В этой вере — единственное спасение, без нее — едва ли возможно по-человечески жить».



Первая мировая война, действительно оказалась для России периодом общественного подъема. Совершенно естественно, что в эти годы Е. Д. Кускова, продолжая борьбу за освобождение, проявляла большую активность. Я расскажу здесь только об одном мало знакомом эпизоде. В письме, опубликованном С. Мельгуновым в его книге «На путях к дворцовому перевороту», Е. Д. вспоминает, как 6 апреля 1916 г., в 2 часа дня у нее на квартире в Москве состоялось собрание представителей всех партий, где был намечен и состав... будущего Временного Правительства (а было это за год до революции!). Председателем Совета министров был намечен князь Г. Львов, военным министром — Гучков, иностранных дел — Милюков, земледелия — Шингарев, юстиции — Маклаков или Набоков, просвещения — Мануйлов, торговли и промышленности — Коновалов. «О Керенском тогда никто и не вспомнил, — пишет Кускова, — вращались в пределах к. д. и октябристов. Это было продолжением борьбы думской за министерство «общественных деятелей». Предполагалось, конечно, что и это министерство будет намечено революционным путем. Но воображение не шло всё-таки дальше к. д. и октябристов». — Об этом предреволюционном времени вспоминает и Н. А. Бердяев в своей посмертной «философской автобиографии» — «Самопознание»: — «В последний год перед революцией в Москве происходили закрытые общественные собрания. В них принимали участие левые элементы интеллигенции, но не экстремистские. Бывали более умеренные социал-демократы и социалисты-революционеры и более левые кадеты. Е. Кускова и С. Прокопович были в центре...».

Наконец, наступил 1917-ый год. И печать этих месяцев, и воспоминания современников сохранили очень мало данных о деятельности Е. Д. Кусковой в это бурное, судьбоносное время. Политические воззрения Е. Д. были не только полярны подымавшим голову большевикам-ленинцам, но также находились на далекой дистанции от руководителей меньшевистско-эсеровского блока, от Советов Рабочих и Солдатских депутатов, фактически утверждавших в стране двоевластие. Е. Д. как будто в эти месяцы не была связана ни с какой политической группировкой, окопавшись, главным образом, в кооперативной организации, — которая проявлялась на политической арене в качестве умеренно-социалистической, последовательно-оборонческой группировки, близкой к бывшим

трудовикам. Тот проект состава Временного Правительства, который был намечен в апреле 1916 года на квартире Е. Д., как известно, был осуществлен революцией, особенно в первой коалиции. С этого времени намечается сближение Е. Д. и ее друзей с А. Ф. Керенским, которого история в течение нескольких месяцев сделала как бы символом коалиции, — символом Временного Правительства. Эта интимная связь с той несколько зыбкой демократической базой, на которой строилось и держалось Временное Правительство, — естественно возростала, когда в один из составов правительства вошел С. Н. Прокопович и другие близкие Е. Д. люди.

Кооператоры выделялись тогда в лагере революционной демократии, как безусловные сторонники коалиции социалистов с цензовыми элементами, с кадетами. Меньшевики и эс-эры в своем основном русле этой политики не признавали, а большевики и полу-большевики третировали кооператоров, как «селедочников», то есть, как «мелкобуржуазных» политиков, неспособных понять задачи углубления революции. На Демократическом Совещании был выбран по соглашению всех групп и партий, так называемый, Предпарламент, и в него от кооперации, в составе 18 делегатов, входила и Е. Д. Кускова, эта «наиболее влиятельная» представительница кооператоров, как отмечает в своей «Истории второй русской революции» П. Н. Милюков. Как раз в Предпарламенте, — б. м. впервые на всероссийской арене — Е. Д. выступила с большой политической речью, содержание которой подробно передает Милюков. В этой речи Е. Д. поддержала выступление Н. В. Чайковского, утверждавшего, что «проведение социально-революционных преобразований во всем их объеме во время войны есть преступление». Е. Д. требовала от Временного Правительства действий: «тех, кого не научило всё то, что мы пережили, не научат никакие убеждения словами». Она призывала Предпарламент «оставить декларации», учитывать «несознательность и неорганизованность масс», которые «безумно устали от того, что делаем мы, их интеллигентные вожди», призывала спрятать «ученические тетради общественной деятельности» и «наметить те точки единения, которые действительно обеспечили бы оборону страны», наметить их «в ближайшие дни и часы».

Выступление Кусковой имело место в октябре, почти накануне большевистского переворота. Когда начался штурм Зимнего Дворца, Кускова делала всё, чтобы подбодрить осажденных министров и организовать Временному Правительству

возможную поддержку. Но было уже поздно. Все сроки, отпущенные февральской революции, были позади. Октябрь победил. Россия распалась на два непримиримых лагеря.

Проживая в Москве, Е. Д. не примкнула тогда ни к какой из борющихся группировок, видя свою главную задачу в том, чтобы предотвратить сделавшуюся почти неизбежной гражданскую войну. Тем не менее ее орган «Власть Народа» явился одним из центров принципиальной, непримиримой оппозиции к режиму, к «диктатуре пролетариата», враждебной и крестьянству, и интеллигенции. Когда в начале июля 1918 года в России была закрыта вся оппозиционная печать, — Е. Д. лишалась последней возможности публичного политического оказательства. К этому времени относится начало гражданской войны, восстаний, крестьянских движений. С августа 1918 г. большевистская власть открыла эру массового красного террора. Е. Д., насколько можно судить, не примыкала ни к одной стороне в гражданской войне. Возможно, что ее позицию можно охарактеризовать формулой, возникшей тогда в Одессе: «ни-ни» — «ни Ленин, ни Колчак», — Е. Д. была «нинисткой». Может быть, правильнее будет сказать, что психологически она была близка к настроениям так называемого мартовского крыла меньшевиков, цеплявшегося за легализацию своего течения и в некоторой мере приспособлявшего свою платформу к установившейся тогда советской системе. Правда, сближение это было только психологическое, ибо Е. Д. никак не разделяла лево-меньшевистских иллюзий о строительстве социализма в России или о продолжавшейся в стране восходящей линии революции. Всю свою активность, весь пыл, всё чувство долга перед народом и государством Е. Д. вместе с небольшой группой московской интеллигенции пыталась вложить тогда в те области жизни, где это было еще возможно. Кускова пыталась продолжать свою деятельность в кооперации, поскольку под гнетом военного коммунизма еще оставалась для нее кое-какая тень независимости. Е. Д. занялась работой помощи детям и созданием детских учреждений. Наконец, Е. Д. приняла участие в деятельности Политического Красного Креста, легально тогда еще существовавшего и оказывавшего помощь политическим заключенным всевозможной окраски, заполнявшим тюрьмы России. Но центральным моментом ее деятельности в годы после окончания гражданской войны была попытка создания Комитета помощи голодающим. Это была первая и последняя попытка Е. Д. и ее друзей осуществить

в советских условиях особую «кусковскую» тактику, на основе соглашения с большевистской властью. На этом эпизоде, имеющем исключительное общественное значение, в котором Кусковой принадлежит центральная роль, стоит остановиться.

3

Еще в октябре 1920 г. — до НЭП-а — Максим Горький от имени Ленина предложил Е. Д. Кусковой встретиться с диктатором. Кускова рассказывает, что на совещании, созванном ею по этому поводу, только двое отнеслись сочувственно к мысли об этой встрече, — большинство ее отклонило. Когда весной 1921 года уже после объявления НЭП-а Свердлов по поручению Ленина возобновил предложение и внес проект устройства «банкета» интеллигенции с большевиками, этот проект встретил, повидимому, еще меньше сочувствия. Но в июне 1921 г., когда в Москву стали поступать потрясающие вести о голоде в Поволжье и в других местах, — положение изменилось, и на совещаниях в кооперации после того, как были заслушаны доклады приезжих из пораженных голодом мест, было решено по предложению С. Н. Прокоповича вступить в сношения с властями, послать к Ленину делегацию. Со слов Горького тогда же стало известно, что Ленин склоняется к мысли в пользу общественной инициативы в деле помощи голодающим. Для переговоров был Лениным уполномочен Каменев, который снесся с Кусковой. Состоялась первая встреча в Кремле. В «Известиях» от 3-го июля 1921 г. (№ 143) появилось сообщение о проекте создания комитета помощи голодающим.

20 июля, накануне издания декрета об образовании Комитета, в Белом Зале Московского Совета под председательством Каменева состоялось «предварительное заседание Всероссийского Комитета помощи голодающим» (см. «Известия» № 158 от 21 июля). Из общественных деятелей на нем присутствовали: Е. Д. Кускова, А. Л. Толстая, В. Н. Фигнер, Н. М. Кишкин, С. Н. Прокопович, А. Южин, Борис Зайцев, М. Горький, Ф. Головин, Н. Н. Кутлер, А. К. Джигелегов и др. В речи, произнесенной Кишкиным, был подчеркнут краснокрестовский характер предстоящей деятельности и чуждость ее всяким политическим мотивам. Указано было, что Комитету придется обращаться за помощью за границу. На следующий день 21 июля был опубликован правительственный декрет, по которому в состав Комитета были введены 63 члена,

из них 10 были делегированы большевиками. Среди них: Каменев, Красин, Луначарский, Рыков, Литвинов, Семашко, Смидович, Свищерский, Теодорович, Шляпников, Емшанов. В тот же день, на первом официальном заседании Комитета (см. отчет в «Известиях» от 22 июля № 159). Н. М. Кишкин огласил декларацию инициативной группы по созданию Комитета.

На следующем заседании комитета (23 июля) было произведено его конституирование. В президиум вошли Каменев — председатель, Рыков — заместитель, членами президиума — Кишкин, Прокопович, управдел — И. А. Черкасов. В. Г. Короленко был выбран почетным председателем Комитета. Е. Д. Кускова закрепила за собой ведомство пропаганды. По ее предложению в комиссию для этой цели были введены Борис Зайцев, Булгаков, Гуревич-Смирнов, А. Эфрос и — от большевиков — Луначарский. На этом же заседании были намечены шаги по установлению сношений с границей.

Не буду останавливаться на подробностях кратковременного существования комитета и на его разгроме большевиками. Конфликт между властью и общественниками произошел по вопросу о выезде делегации Комитета за границу. Делегация Комитета была уже намечена. В ее состав вошли: Кускова, Прокопович, проф. Тарасевич, М. П. Авсаркисов (директор Народного Банка), А. Л. Толстая. Председателем ее был выбран Ф. А. Головин, бывший председатель 2-ой Государственной Думы, секретарем — С. А. Бенкендорф. Разумеется, ни один большевик не был введен в состав делегации.

Поездка уже казалась реальной. Отъезд делегации был назначен на 18 августа. Чуть ли не в этот же день пришла «бумага» от ВЦИК-а об отсрочке отъезда за границу: «Немедленный отъезд не вызывается необходимостью и приведет лишь к распылению сил и отрыву от практической работы в России».

23 августа состоялось срочное заседание Комитета для решения вопроса, как быть. Это заседание вновь подтвердило настойчивое требование о выезде делегации за границу и придало своему решению ультимативную форму: «Комитет сочтет себя вынужденным прекратить свою работу, если правительство не изменит своего решения относительно немедленного выезда делегации». (См. «Правда» от 30 августа).

Было очевидно, что конфликт созрел и принял острые формы. Каменев пытался уговаривать. По его инициативе состоялось частное совещание, но Комитет оставался при

своим решением. Советская же власть нарушила один из основных пунктов соглашения, решая делегацию за границу не выпускать. Комитету оставалось созвать последнее ликвидационное заседание. На это заседание прибыл отряд ВЧК и произвел разгром Комитета. Борис Зайцев так описывает этот эпилог: «Настроение нервное, напряженное... В прихожей раздался шум... сразу стало ясно: идет беда. В следующее мгновение с десятков кожаных курток с револьверами, в высоких сапогах, бурей вылетели из полумрака, и один из них гаркнул: — «Постановлением Всероссийской Чрезвычайной Комиссии все присутствующие арестованы!» Паники не произошло. Все были спокойны. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер и багрово-вспыхнувшую Екатерину Дмитриевну...».

Постановление ВЦИК-а о ликвидации Комитета помощи голодающим было принято 27 августа. А 30 августа в «Правде» (№ 191) появилось «правительственное сообщение» о мотивах, побудивших большевиков оборвать свое соглашение с Комитетом. Текст этого сообщения характерен для большевиков: «Господам из Комитета... хотелось прежде всего играть политическую роль и шептаться с иностранными правительствами, говоря о которых госпожа Кускова во втором номере «Помощи» с радостью констатировала, что «у заграницы есть острые глаза и тонкие уши». Всё время у Комитета уходило на «мечты о большой политике». Его члены устраивали «совещания с... монархистами». — И наконец: — «Политиканы из Комитета начали организовываться для борьбы с советским правительством».

Е. Д. Кускова в своих воспоминаниях ссылается также на сообщение ВЧК, в котором Комитету приписывалась «всякая белиберда»: то стремление к сильной реакционной власти, то к диктаторской власти без парламента. Комитет обвинялся в том, что он создал ряд революционных организаций на Украине, что в его среде действовали «активные эсеры и белогвардейцы», что члены Комитета были связаны с антоновщиной в Тамбовской губернии и т. д. Кускова писала впоследствии: «самая основа свободной общественной работы была противна и нетерпима всему духу режима». Ленин в декабре 1921 г. подтвердил это, когда признал: «нам необходимо было по политическим соображениям комитет уничтожить». Так закончилась эпопея Комитета помощи голодающим, продолжавшаяся всего на всего 40 дней: с 21 июля по 28 августа 1921 года.

Сначала Е. Д. Кускова вместе с С. Н. Прокоповичем отсидев некоторое время в тюрьме, были отправлены в ссылку. Через полгода, однако, советское правительство сделало «либеральный» жест, отправив в изгнание за границу несколько десятков видных представителей русской интеллигенции, среди которых были и деятели ликвидированного Комитета помощи голодающим. Среди этих «эмигрантов поневоле» были, как известно, Е. Д. Кускова и С. Н. Прокопович. Осенью 1922 года они оказались навсегда за пределами родины. Для Е. Д. началась новая полоса жизни и деятельности, продолжающаяся уже свыше 30 лет.

4

Несмотря на провал попытки соглашения независимой демократической интеллигенции с большевистской властью вокруг дела помощи голодающим, Е. Д. Кускова приехала в изгнание с политическими настроениями, ничего общего не имевшими с распространенными в эмиграции представлениями о перспективах России. Е. Д. нисколько не впала в пессимизм после разгрома ее политики и после ее собственных тяжелых испытаний в России. Напротив, с большой яркостью она выступила противником эпигонов белого движения. Оставаясь в принципиальной оппозиции к большевизму, критикуя его эксцессы, террор, некультурность, Е. Д. сохраняла веру в неизбежную эволюцию большевиков, и в демократизацию советского режима. НЭП, укрепившийся в стране, создавал, по ее мнению, базу для такой именно линии развития. В известной мере можно отметить родство ее политических настроений с настроениями, характеризовавшими официальный меньшевизм, который в начале 20-х годов видел в большевиках заблуждающихся социалистов, при всех своих преступлениях и ошибках стремящихся защищать интересы трудящихся и осуществлять идеи социального равенства.

Тотчас же по приезде за границу Е. Д. с головой ринулась в политическую борьбу, которая шла тогда в эмиграции. Сначала она проживала в Берлине, где была избрана председателем Политического Красного Креста, а потом осела в Праге, откуда и наезжала в Париж — наиболее оживленный политический центр русской эмиграции. В небольших кругах, а также публично Е. Д. выступала с докладами, вызывавшими всеобщее внимание и на долгое время становившимися в центре длительных политических дискуссий. Особенное эхо

вызвали доклады Е. Д., прочитанные ею в Париже в 1925-26 гг. В 20-х же годах Е. Д. принимала самое активное участие в эмигрантской печати — то в «Последних Новостях» П. Н. Милюкова в Париже, то в «Днях» А. Ф. Керенского в Берлине. На выступлениях Кусковой, на круге идей, которые она защищала, на явлениях эмигрантской жизни, на которые она имела влияние, — следует, разумеется, подробнее остановиться (см. об этом очень интересный материал, собранный у П. Н. Милюкова «Эмиграция на перепутьи», Париж, 1926 и его же «Россия на переломе», т. 2-й).

В 1922-23 гг. Е. Д. в своих выступлениях призывала «засыпать ров гражданской войны» и попытаться найти пути, ведущие в Россию. Она не принимала деления на две России. Она в сущности считала, что есть одна Россия, и она находится там, а не здесь; эмиграция есть явление временное, которое должно быть возможно скорее изжито. Более того, Е. Д. полагала, что в условиях НЭП-а можно действовать в России, не отрекаясь от себя, не приспособляясь к режиму. При этом порой в увлечении она ссылалась на свой собственный советский опыт, на попытку сотрудничества с большевиками в деле помощи голодающим, хотя как раз этот опыт казалось бы свидетельствовал против ее тактической концепции.

К этому же времени уже почти окончательно определился провал сменовеховства. Те из них, которые рассчитывали на «поумнение Ц. К.», на «русский термидор», на эволюцию в сторону уступок буржуазии, как и те, которые были соблазнены фактом признания Советской России иностранными правительствами, ростом ее международного престижа, созданием в ней армии, освободившейся от традиций красногвардейщины, — все вынуждены были в течение лет раствориться в большевистском окружении и потерять остаток независимости. На 1923-24 год пришелся случай с Пешехоновым, народным социалистом, высланным из России, но не признавшим себя эмигрантом и добивавшимся права возвращения во что бы то ни стало в Россию. Пешехонов был в сущности первый возвращенец, — не сменивший вех, но настаивавший на необходимости для эмиграции прекратить борьбу. Вокруг случая с Пешехоновым развернулась оживленная дискуссия в демократических кругах эмиграции, в которой Е. Д. приняла большое участие. Е. Д. была против той фактической капитуляции, к которой призывал Пешехонов. Но идея возвращения на родину была ей близка. Ее

формула тех лет звучала так: «мы будем вести борьбу за право достойного возвращения на родину без раскаяния и унижений». Для того, чтобы расчистить путь к возвращению, Е. Д. занялась усиленной критикой белого движения, высмеивала «лубочную непримиримость», характерную для большинства политических эмигрантов тех лет, проповедывала «фронт забвения». Один из ее друзей и единомышленников, Мих. Осоргин, особенно едко писал о «непримиримости» людей, которые вряд ли способны вести борьбу на родине, а здесь в эмиграции разводят усиленные пары. Тактическая концепция, защищавшаяся Кусковой, сводилась к расчету на эволюцию советской власти. Е. Д., поворачиваясь спиной к политическим исканиям эмиграции, лицом обращалась к Советской России, там внутри искала перспектив и возможностей, — убежденная, что так же, как вода точит камень, — самый процесс внутреннего развития революции вынудит твердокаменную большевистскую власть пойти на те или иные реформы и уступки. Тогда и откроются возможности «возвращения на родину без раскаяния и унижений».

Совершенно очевидно, что НЭП, не раскрывший еще своих противоречий, создавал благоприятную среду для произрастания иллюзий. Е. Д., как и многим другим, казалось, что в общей и экономической политике большевиков укрепляются тенденции примирения с крестьянством и служилой интеллигенцией. Голод уже был позади. В городах как будто жить становилось сытнее. Тоска по упорядоченной жизни, по укреплению государственного порядка была широко разлита по стране и волна этих новых стремлений должна была захлестнуть наиболее ответственные элементы большевистской власти.

В 1925-26 гг. в политическом сезоне этого года, казалось уже сошедшие со сцены кадры белого движения, вновь начали лелеять планы то весенних, то осенних походов на Советскую Россию. В противовес этим политическим настроениям на другом полюсе эмиграции вновь и вновь вспыхивали иллюзии возвращенства. В балканских странах возникали «Союзы возвращения на родину», в которые вступали бывшие добровольцы, казаки и просто крестьяне, в свое время вовлеченные в белое движение, а сейчас соблазненные крестьянскими достижениями в период НЭП-а. Известно, что из Болгарии и других стран вернулось в СССР свыше 10 тысяч эмигрантов.

В 1925 г., и особенно в 1926, Е. Д. проявила огромную политическую активность, противопоставив и правым, и воз-

вращениям свои тактические перспективы. В марте 1926 г. состоялись ее публичные доклады в Париже, которые дали ей возможность полностью раскрыть ее тактику, но которые подчеркнули ее изоляцию в демократической эмигрантской семье. В оживленной дискуссии тех лет, которая велась в «Последних Новостях», затем в «Днях», против нее выступили П. Н. Милюков, Н. Д. Авксентьев, А. Ф. Керенский, М. А. Алданов, Ст. Иванович, С. М. Соловейчик, — в сущности, все ее друзья и единомышленники по многим вопросам. Кускова не только выступала против белого движения и его ошибок, его опасных традиций, но решительно возражала против идеи свержения советской власти. В ее устах «фронт забвения» начинал звучать, как проповедь примирения. И неудивительно, что именно так ее воспринимала широкая аудитория: когда 21 марта в Париже Е. Д. предложила почтить вставанием память скончавшегося в Москве и работавшего с советской властью генерала Брусилова, — никто в зале не встал... Правые твердили: Кускова пошла в Каноссу. Левые знали, что это совсем не так. Как определил тогда Милюков, «кусковцы» исходили из признания, что «белая идеология (то есть идея свержения, интервенции и т. д.) изжита и самоупраздняялась» и «искали новых возможностей в ходе революционного процесса внутри самой России». Этой именно задаче — анализу положения внутри России в 20-х гг. — и были посвящены усилия Кусковой, Прокоповича и других. И из этого их анализа экономики, политики, соотношения социальных сил в эпоху НЭП-а вытекала тактика Кусковой, рассчитанная на эволюцию власти, которая как бы открывала двери в некоем неопределенном будущем «для мирного возвращения» эмигрантов в Россию.

Новый план, с которым выступила Кускова в Праге в конце 1926 года, отразил собой некоторый сдвиг в ее настроениях, произошедший, может быть, не без влияния ее друзей-оппонентов: вместо проповеди возвращения Кускова предлагала образование «Союзов воссоединения с Новой Россией на почве экономических и культурных сношений и делового сотрудничества с населением» (не с властью!). Иллюзорность этих лозунгов была вскрыта тоже без особого труда. Но — объективности ради — следует добавить, что как ни расценивать отношение Е. Д. к возвращению, как критически ни относиться к ее формуле «достойного возвращения на родину без раскаяния и унижений», — на нее никак не могла упасть тень какого-нибудь подозрения. Достойный

путь возвращения не оказался реальным, а недостойные пути, как бы они ни камуфлировались, были для нее исключены.

5

Иллюзии 20-х годов были совершенно аннулированы в последующий период, ознаменовавшийся торжеством генеральной линии в СССР: пятилетки, сверх-темпы сверх-индустриализации, коллективизация и раскулачивание деревни, московские процессы, вакханалия ежовщины, восхождение Сталина к единоличной диктатуре, — всё это неизбежно должно было вытравить все надежды на демократизацию советского режима, на эволюцию власти и столь же неизбежно должно было привести Е. Д. в лагерь непримиримости. С. Н. Прокопович был одним из тех русских ученых в эмиграции, кто при всем своем сочувствии идее индустриализации соломенной и деревянной России, не только как политический деятель оказался в лагере непримиримой оппозиции к советскому строю, но в качестве экономиста и статистика подвел горестные итоги коллективизации: именно на основании его вычислений цивилизованный мир впервые узнал о гибели миллионов и обреченности других миллионов в концлагерях, превратившихся в бытовое явление.

Вторая мировая война, открытая на рубеже 30-х и 40-х годов пресловутым пактом Гитлера-Сталина, оказалась для Е. Д., проживавшей в Чехословакии, полосой длительного, вынужденного молчания. Не приходится сомневаться в том, что страшные годы нацистских побед доводили ее страстную, эмоциональную душу до отчаяния, и всё ее сочувствие безраздельно принадлежало России, под ударами катастрофы обретавшей себя в новом подъеме патриотизма. Нет нужды распространяться о политической ориентации Кусковой в годы советско-немецкой войны, она слишком хорошо известна.

Но, повидимому, война, в которой спасение цивилизации, свободы и демократии оказалось осуществимым только в результате совместных усилий коммунистически-диктаторского СССР — с одной стороны, и англо-саксонских демократий — с другой, явилась источником рецидива иллюзий, активным пропагандистом которых выступила Е. Д. Кускова после войны, когда очутилась в Женеве и возобновила свою публицистическую деятельность. Е. Д. утверждала, что «революция продолжается», то есть допускала, что в недрах советского строя складываются элементы, способные к эволюции в сторону свободы и демократии. Она упрекала непримиримых

противников большевизма, малOVERов и скептиков, считавших битой всякую ставку на эволюцию власти, — в том, что они недооценивают «достижения» в СССР и занимаются исключительно, — в ущерб истине, — «разоблачениями» разных ужасов. «Полное замалчивание положительных достижений осталось до сих пор», — возмущалась Е. Д. в 1947 г. в Н. Р. Слове, — а даже «для борьбы с властью разоблачений недостаточно».

Все эти положения Е. Д. Кусковой оказались довольно быстро развенчаны суровой послевоенной действительностью. К сожалению, Е. Д. при всем своем стремлении чувствовать пульс каждого дня, при всей своей приверженности к «актуальности», — не раз впадала в ошибку, пользуясь для своих обобщений категориями давно прошедшего времени.

Особенно спорной является позиция Е. Д. в вопросе о советских достижениях. Конечно, как и многое в жизни, вопрос этот сложен и противоречив. Среди достижений Е. Д. упоминает индустрию, рост грамотности, расцвет книжного дела, внимание к молодежи и т. д. Всё это имеется в действительности, но эти факты нуждаются еще в оценке, в критическом подходе к ним. Нельзя не признать, что Е. Д. Кускова, действительно, отличается исключительной чуткостью ко всему, что происходит в СССР. Но есть несоответствие в ее довольно верных наблюдениях и подчас совершенно неверных обобщениях, и это несоответствие порою обеспокоивает ее яркие, живые, публицистические выступления, порождает не только противоречивое впечатление, но заводит читателя в дебри схоластики. Если позволено будет так выразиться, я бы подчеркнул наличие некоторого прекрасодушия в подходе Е. Д. к советской действительности, отчасти проистекающее из пользования ею общими предпосылками, потерявшими свое значение в наше время. Е. Д. как бы попадает во власть исторических и политических анахронизмов.

В своем подходе к русской действительности Е. Д. старается сохранять максимум объективности. В частности, она не принимает распространенного в эмиграции представления о глубоком водоразделе между народом и властью и утверждает, что до сих пор значительная часть народа составляет базу диктатуры (партия, аппарат, генералитет, комсомол, вообще молодежь). Конечно, Кускова не отрицает наличия недовольства в стране, но считает, что оппозиция еще политически не созрела, что она представляет собой «сырье», и в смысле идей и в отношении организации. Е. Д. считает ха-

рактерными для системы управления в России черты диктаторские и террористические, но в то же время не разделяет распространенных теорий о созданном Сталиным тоталитарном государстве, в котором насильственно уничтожаются и отмирают законы социального и хозяйственного развития, продолжающие действовать в демократических странах. Е. Д. отчетливо видит процессы деградации и деморализации, происходящие в русском коммунизме, но в то же время она полагает, что идеи коммунизма сохраняют силу притяжения и внутри страны, и особенно вовне, что коммунизм представляет собой хоть и варварский, но всё же метод решения социальной проблемы, метод осуществления народных чаяний, не получающих удовлетворения в капиталистических странах, — в частности, стимулирующий освободительные стремления в колониальных странах у отсталых народов. При этом Е. Д. одно время была склонна полагать, что иностранные коммунисты в своих национальных секциях сохраняют известную долю независимости от нивелирующего влияния Москвы.

Тактические настроения Е. Д. в вопросах эмигрантской политики отличаются некоторой неопределенностью. Но зато в ней звучит решительное, даже боевое отталкивание от всякой эмигрантской политики, которая упирается в неизбежность войны и признает желательной иностранную интервенцию. Е. Д. убеждена, что русская проблема, и проблема власти в том числе, будет разрешена только внутренними силами народа, когда наступят сроки и оформится в стране оппозиция.

Как это уже было в полосу 20-х годов, в гуще эмиграции спустя почти четверть века вновь началась оживленная политическая дискуссия, в центре которой очутилась Е. Д. Кускова. И вновь почти все наличные демократические и социалистические политики активно выступили против нее. Как всегда, Е. Д. осталась верна себе, нисколько не унывая, не пугаясь полчища своих оппонентов, в дружеских чувствах которых, правда, она большей частью не имела оснований сомневаться, — с обычным юношеским пылом, с искренностью, страстностью, — одна против всех, почти не получая ни откуда поддержки, отстаивая свое «кредо». Любопытно, что кое в чем ей удалось переубедить наиболее непримиримых своих оппонентов из новой эмиграции, где в течение лет ее просто бранили, и иногда непристойно, и где в последнее время не только стали прислушиваться к ней, но, повидимому, побежденные ее искренностью и чуткостью к советской действительности, начинают выражать склонность соглашаться с ней...

Вышеочерченный круг настроений Е. Д. относится к 1947-49 гг. Вступив в новое десятилетие, Е. Д., повидимому, под влиянием усилившихся агрессивных тенденций Москвы в области внешней политики, понемногу преодолевает свои иллюзии. Внутренняя обстановка в России, всё растущий нажим партийности на интеллигенцию, процессы духовного оскудения, всё больше охватывающие коммунизм и, наконец, давление всё более ужасной разоблачительной информации, которую принесла с собой волна новой эмиграции, — всё это способствует разрыву между теоретическими концепциями Е. Д. и непосредственностью морально-политических ее реакций. Ведь при всех своих иллюзиях Е. Д. никогда не шла на сделки со своей свободолобивой совестью, никогда не капитулировала перед властью и, в сущности, на практике была всегда непримиримее к диктатуре, чем многие патентованные «непримиримые». 2-го декабря 1950 г. Е. Д. писала в «Новом Русском Слове»: «Религия коммунизма обречена потому, что она бесчеловечна... Во имя своей высокой идеальной цели коммунисты употребляют средства, которые откидывают их ко временам инквизиции. И в этом обстоятельстве таится их гибель. Средства обновления мира нельзя брать из времен 15-го века... Рано или поздно восстание духа народов, пробуждение гуманистических чувств, наконец, страх за собственную гибель создадут движение, от которого рухнет пражская статуя Сталина в 70 метров высоты, — олицетворение его временных побед». В этих словах Е. Д. и выражено то общее, что накрепко объединяет ее с мигром свободы, противостоящим коммунистической диктатуре.

Г. Аронсон

КАКОЙ ИДЕАЛ ПРОТИВОПОСТАВИТЬ КОММУНИЗМУ ?

Коммунизм, проповедуемый правительством СССР, имеет во всем мире много сторонников. Успехи этой пропаганды объясняют иногда тем, что коммунисты предлагают человечеству новый идеал социальной жизни, обещающий осуществление социальной справедливости, а противники коммунизма не имеют никакого идеала, способного увлекать молодых людей и вдохновлять их на борьбу за лучшее будущее. Указание на недостатки СССР не отпугивает от коммунизма. Режим СССР отвратителен: это не коммунизм, а рабовладельческий государственный капитализм, тоталитарное полицейское государство, в котором нет политической свободы, нет свободы совести, нет свободы мысли, нет защиты личности от произвола государственной власти, нет правосудия; эксплуатация труда рабочих, земледельцев и служащих доведена государством до такой степени, какая не достижима для самых своекорыстных капиталистов. Слыша об этих возмутительных свойствах режима СССР, сторонники коммунизма говорят: Россия — страна варварская; поэтому в ней коммунизм приобрел такую отталкивающую форму, но идеал коммунизма возвышен, и мы в культурной Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки осуществим этот идеал, гарантирующий социальную справедливость и обещающий человечеству счастливую жизнь.

В статье этой будут высказаны соображения о некоторых недостатках коммунизма и социализма, а также о том, что социальная справедливость может быть достигнута без той ломки общественной жизни, которая требуется социализмом. При этом под словом социализм я буду понимать экономический строй, в котором средства производства и все предприятия, дающие доход, принадлежат не частным лицам, а государству или общественным организациям.

Философ Владимир Соловьев давно уже высказал много

ценных соображений о социальной справедливости. Согласно его учению, всякий человек есть личность, имеющая «независимо от своей общественной полезности безусловное достоинство и безусловное право на существование и на свободное развитие своих положительных сил». «Каждое лицо есть нечто особенное и незаменимое и, следовательно, должно быть самоцелью, а не средством или орудием только, — это право лица по существу своему безусловно, тогда как права общества на лицо, напротив, обусловлены признанием личного права»¹. Для свободного духовного развития и достойного существования каждому человеку должна быть обеспечена возможность пользоваться благами духовной культуры; для достижения этой цели социальный и экономический строй должен доставить каждому человеку достаточные материальные средства. В наше время эти права человека общепризнаны, как это выразилось в Общей Декларации Прав Человека, принятой Общим Собранием Объединенных Наций 10 декабря 1948 года в Париже². Права эти перечислены в тридцати параграфах. Из них я приведу лишь следующие выдержки: свобода мысли, совести и религии (в § 18); свобода мнения, выражения его и информации (в § 19); свобода мирных собраний и ассоциаций (в § 20); право участия в правлении своей страны, прямого или посредством свободно избранных представителей; в основе авторитета правительства должна быть воля народа; эта воля должна получать выражение в периодических выборах путем всеобщего, равного и тайного голосования (в § 21); каждый член общества имеет право на социальное обеспечение и на реализацию экономических, социальных и культурных прав, необходимых для его достоинства и свободного развития его личности (в § 22); право на обеспечение в случае безработицы, болезни, немощи, вдовства, старости и т. п.; материнство и детство дают право на специальную охрану и помощь (в § 25); право на образование (в § 26).

Педагогическая, Научная и Культурная Организация Объединенных Наций (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization=UNESCO) опубликовала сборник ста-

¹ Вл. Соловьев, *Оправдание добра*, гл. XIII.

² Universal Declaration of Human Rights, adopted December 10th 1948 by General Assembly of the United Nations at the Palais de Chaillot, Paris.

тей «Human Rights»³ (изд. Allan Wingate, Лондон и Нью Йорк). Введением к этому сборнику служит статья профессора Маритена (Jacques Maritain). Он рассказывает, что на одном из собраний UNESCO кто-то выразил удивление по поводу того, что лица, придерживающиеся крайне различных идеологий, пришли к соглашению о правах человека. «Да», ответили ему, «мы согласны относительно прав, но под условием, чтобы у нас не спрашивали почему». В самом деле, обоснование прав человека, перечисленных в Декларации, дается крайне различное сторонниками различных мировоззрений, начиная с представителей христианской религии и кончая атеистами-материалистами. Но в подсознании всех людей есть фактор, содействующий соглашению: как бы ни был своекорыстен человек, совесть побуждает его стыдиться открыто заявлять о своем эгоизме и принуждает подписывать Декларацию, параграфы которой вытекают в конечном итоге из заповеди «люби ближнего, как себя самого».

К сожалению, написать Декларацию прав человека легко, а реализовать эти права в действительной жизни — крайне сложная и трудная задача. Посмотрим, какой тип государственного строя и какая социально-экономическая система наиболее благоприятна для решения этой задачи.

Государственный строй, дающий надежду на воплощение в жизни Декларации прав человека, есть демократия, разумея под этим словом выраженное в § 21 Декларации право участия каждого гражданина в управлении своей страны посредством представителей, свободно избранных путем всеобщего, равного и тайного голосования. Такое понятие демократии указывает лишь *форму* государственного строя, и мы знаем на основании опыта, что она может наполняться крайне различным содержанием, иногда далеким от прав, указанных в Декларации, и не обеспечивающим благо народных масс. Тем не менее эта форма в высшей степени ценна: она дает возможность политического воспитания народных масс. Без деятельного участия народных масс реализация прав человека невозможна. В самом деле, совесть побуждает множество людей принять Декларацию прав человека, но только на бумаге, с мыслью, что эти права будут осуществлены когда-то в более или менее отдаленном будущем. Если же в настоящем поднимается вопрос об осуществлении какого-либо из этих прав или

³ В конце этой книги напечатана Декларация Прав Человека.

даже о какой-либо частной мере, напр., вопрос о постройке дешевых жилищ в таком-то городе, осуществить это предприятие оказывается очень трудно, иногда невозможно. Ум человеческий — хитрец: он тотчас же подскажет лицам, которым такое предприятие невыгодно, приличные, скрывающие их эгоизм доводы против него. В прошлом году можно было наблюдать в одном из городов США, как христианское духовное лицо возражало против постройки домов с дешевыми жилищами на средства, уже отпущенные федеральным правительством, говоря, что такая мера стесняет «свободную предприимчивость» (*free enterprise*) и представляет собою «социализм». Отсюда ясно, что формальная демократия может наполниться демократическим, т. е. благоприятным для народных масс содержанием при условии политического воспитания народа, при внимательном наблюдении за деятельностью членов законодательных палат, при деятельном участии в выборах и т. п. условиях.

Процесс политического воспитания народов совершается медленно, но все же он совершается, и высоко культурные демократии, такие как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция, Швейцария, Швеция и т. п. развиваются в направлении строя, заслуживающего названия «государство благоденствия» (*welfare state*). Правила «*laissez faire, laissez passer*» и «*chacun pour soi et Dieu pour tous*» (всякий сам за себя и Бог за всех) все более теряют силу в наше время, потому что людей, могущих попасть в трудное положение, из которого нельзя выйти без общественной или государственной помощи, большинство и, научаясь умело пользоваться правом всеобщего, равного и тайного голосования, они постепенно будут добиваться, чтобы Декларация прав человека была осуществлена в действительности. Московские марксисты говорят, что «монопольный капитализм» определяет всю внутреннюю и внешнюю политику Соединенных Штатов Америки. Они в целях пропаганды закрывают глаза на то, что такое господство капитала не существует в наше время в культурных демократиях. Стоит только вспомнить сталелитейные или угольные забастовки, организуемые юнионами и способные парализовать почти всю промышленность, чтобы понять, что юнионы представляют собою мощную политическую и общественную силу, ограничивающую власть капитала.

Коммунисты знают, что проповедуемый ими строй, уничтожающий частную собственность на средства производства и

частную предприимчивость, не будет осуществлен на пути медленного мирного развития демократии: слишком многие лица привычками всей своей жизни и всем строем своего характера привязаны к собственности, — таковы земледельцы, промышленники, торговцы. Поэтому коммунисты понимают, что осуществить свой идеал они могут не иначе, как путем революции. Но многие из них не отдают себе отчета в следующем. Грандиозная ломка всего уклада жизни множества людей вызовет упорное сопротивление их; поэтому революционерам придется прибегнуть к диктатуре и к жестокому террору в течение длинного ряда лет. При этом неизбежно отменяются гарантии личности против произвола властей, исчезает независимый суд, руководящийся законом и идеалом справедливости. Коммунистическая социальная революция в отличие от политической, занятая «перевоспитанием» общества, как это мы видим в СССР, неизбежно должна причинить тяжкие страдания множеству лиц. Решиться вступить на этот путь могут только неопытные юноши, легкомысленные глупцы и фанатики, уверенные, что их идеал есть единственный способ осчастливить человечество и что можно сделать человека счастливым против его воли.

Поставим теперь вопрос об экономической стороне режима, заслуживающего названия «государство благоденствия». Очень многие люди думают, что доставить благоденствие может только социализм, т. е. строй, в котором право собственности на средства производства и на предприятия, дающие доход, принадлежит не частным лицам, а государству или общественным организациям. Не будучи экономистом, я не могу критиковать социализм, как экономическую доктрину, по существу, и коснусь лишь некоторых недостатков его, бросающихся в глаза и не специалисту.

Прежде всего надо принять во внимание, что простая смена субъекта собственности не обеспечивает экономического благосостояния граждан. Государство или общины, став собственниками, могут эксплуатировать рабочих и служащих еще более жестоко, чем капиталисты. Для защиты трудящихся от эксплуатации и при социализме необходимо сохранить политическую свободу, свободу мысли, прессы и информации, право союзов, забастовок и особенно суд, независимый от исполнительной власти.

Далее, необходимо принять во внимание, что государственные учреждения опасаются нововведений и в особенно-

сти новых, не испытанных еще на практике предприятий: государственные чиновники боятся риска и ответственности в случае неудачи. В обществе, сохраняющем свободу предпринимчивости частных лиц, развитие промышленности и новых видов услуг совершается поразительно быстро. Стоило, напр., появиться аппаратам телевидения и тотчас явились предприниматели, привлекшие большие капиталы и создавшие эту большую отрасль промышленности. Государство только после многих лет раздумий и колебаний решилось бы организовать такое предприятие, а талантливые и энергичные промышленники и основатели торговых предприятий не боятся риска; они быстро организуют новое дело. Социалистический строй, в котором право собственности принадлежит общинам, без сомнения, отличается теми же недостатками, как и государственный социализм.

Если не социализм, то какой экономический и социальный строй действительно может создать «государство благоденствия»? При каком строе может быть осуществлена полностью Декларация прав человека, выработанная Общим Собранием Объединенных Наций, так что каждый член общества будет не только защищен от нищеты, но и получит средства для удовлетворения своих духовных потребностей и духовного развития? Ответом на этот вопрос служит система всеобщего страхования, выработанная лордом Бевериджем, «план Бевериджа» (Beveridge plan).

Исследование, произведенное во многих городах Англии, установило, что чаще всего причиной угнетающей бедности бывает потеря заработка или трудность содержания семьи. В плане Бевериджа особенно приняты во внимание борьба с этими источниками нищеты. Для разграничения различных условий страхования всё население страны разделено в плане Бевериджа на шесть классов: I. работающие за плату; II. работодатели, торговцы и независимо работающие; III. домашние хозяйки, т. е. замужние женщины возраста, способного к работе; IV. лица возраста, способного к работе, не имеющие оплачиваемого труда люди, имеющие частные средства, люди слабые и т. п.; V. дети; VI. старики. Средства, необходимые для удовлетворения нужд, населения, получают из взносов лиц, имеющих доход, жалованье и т. п., а также из Государственного Казначейства.

Люди, потерявшие работу, получают пособие во время безработицы; им подыскивают подходящую работу или дают

возможность научиться новому для них виду труда. Женатые мужчины делают страховые взносы не только за себя, но и за своих жен. Поэтому в случае потери заработка мужем пособие получает не только он, но и жена его. Кроме того, женщины получают пособие в течение некоторого времени до и после родов; вдовы, занятые заботами о детях, получают пособие; вдовы, не занятые работой на детей, могут получать пособие во время изучения какого-либо вида труда. На детей, кроме первого ребенка, семья получает паек из Государственного Казначейства до шестнадцатилетнего возраста их. Старика — мужчины после 65 лет, женщины после 60 лет имеют право получать пенсию. Всеобщее медицинское страхование также входит в план Бевериджа. Кроме того, в нем приняты во внимание такие чрезвычайные расходы, как свадьба, похороны. Учтены нужды каждого лица «от колыбели до могилы». И все эти виды поддержки распространяются на всех граждан без обследования их имущественных средств; благодаря этому организация плана Бевериджа очень упрощается.

Лица, желающие обеспечить себе и семье уровень жизни, более высокий, чем прожиточный минимум, могут достигнуть этой цели посредством сбережений, а также посредством различных видов добровольного страхования⁴.

Право частной предприимчивости, конечно, не следует считать абсолютным: есть предприятия и услуги, которые должны быть бездоходными, напр., почта, водопроводы и т. п. Такие предприятия естественно должны находиться в руках государства или городских и земских самоуправлений. Точно также на случай катастрофической безработицы должны существовать планы общественных работ, которые могут быть быстро организованы государством.

Осуществление плана Бевериджа во всей полноте, без сомнения, требует высоких налогов на большие доходы. Однако ради сохранения свободной предприимчивости частных лиц налоги эти должны не мешать инвестированию капиталов для расширения существующих предприятий и риска основания новых предприятий.

Критики плана Бевериджа говорят, что проведение его в жизнь потребует увеличения цен на товары и, следовательно,

⁴ Обстоятельное изложение плана Бевериджа см. в книге Report by Sir William Beveridge. Social Insurance and Allied Services. Presented to Parliament by Command of His Majesty, November 1942.

невыгодно отразится на экспорте. Защитники плана приводят соображения в пользу того, что цены повысятся в незначительной степени; к тому же во всех странах происходят в том или ином виде процессы лучшей оплаты труда, обеспечения стариков и т. п., ведущие к повышению цен на товары, так что экспорт остается более или менее на прежнем уровне.

Защитники идеи «государства благоденствия» должны ответить на вопрос, имеет ли их государство достаточные средства для осуществления плана Бевериджа? Ответ на этот вопрос очень прост. Там, где средств недостаточно, план этот следует проводить в жизнь постепенно, соответственно уровню богатства страны. Отсюда ясно, что план Бевериджа, не требующий коренной ломки общественной жизни, может быть осуществляем во всё большей и большей полноте без революционных потрясений, следовательно, с сохранением всех видов свободы. И действительно, значительная часть его уже осуществлена в Великобритании; Соединенные Штаты Америки, за исключением медицинского страхования, также далеко подвинулись в этом направлении.

Многие государства тратят огромные средства на содержание большой армии, на орудия защиты против агрессоров и т. п. военные нужды. Перед человечеством стоит задача выработать сверхгосударственную организацию народов, которая сделала бы невозможным решение международных споров путем войны. Тогда расходы на армию стали бы ничтожными и освободились бы громадные средства, которые можно было бы употребить на поднятие уровня жизни всего населения. Достижение этой цели требует ограничения государственного суверенитета, следовательно, преодоления государственного эгоизма и национальной гордыни. На этот путь человечество вступит не из идеалистических побуждений, а из страха перед угрозой коммунизма и опасности крайне разрушительной войны с применением водородных бомб.

Соображения в пользу плана Бевериджа не повлияют на тех социалистов, которые влюблены в социализм: для них он стал не средством, а целью сам по себе. Им следовало бы помнить Каутского, который говорил, что социализм есть только средство осуществления социальной справедливости, и если будет доказано, что социальная справедливость может быть достигнута в более совершенной форме другим путем, тогда следует отказаться от социализма.

Еще более настойчивыми противниками плана Бевериджа

являются сторонники капитализма в старой форме его. В Соединенных Штатах Америки всякое государственное предприятие, напр., постройку домов с дешевыми квартирами на средства федерального правительства, они называют «социализмом». Они злоупотребляют этим термином с целью запугать американцев, дорожащих правом свободной предприимчивости. Против государства благоденствия у них имеются и возвышенные моральные доводы. А. W. Singer в брошюре *Can We Afford «Beveridge»?* говорит: есть лица, которые считают «план Бевериджа плохим проектом, потому что усовершенствование социальных условий лишает жизнь духа предприимчивости и подрывает нравственность людей, получающих поддержку». «О лицах высказывающих эту мысль, надо заметить», говорит он, «что они, обыкновенно, живут комфортабельно и на практике вовсе не следуют своей проповеди. Они не подвергают себя и свое потомство совершенной необеспеченности с целью испытать славу жизненного риска и не упускают случая увеличить свою личную обеспеченность путем частного страхования, путем соглашений о фиксировании цен, разграничения рынков и т. п.» (стр. 3).

Множество людей склонно к упрощенному решению жизненных задач; они мыслят дихотомически и усматривают только две возможности, тогда как очень часто существует несколько способов решения задачи. Размышляя об экономическом строе, многие лица представляют себе только два пути: или сохранение старого капитализма, при котором каждое лицо и каждая семья достигают обеспечения личными усилиями, или социалистический строй, отменяющий капиталистическое производство и обеспечивающий нужды населения средствами общества. В действительности существуют другие способы защиты отдельных лиц и семей от нищеты. Один из них есть план Бевериджа, в котором достоинства капиталистического производства сочетаются с конечными целями социализма, стремящегося к социальной справедливости, без недостатков того и другого строя. К сожалению, в широких кругах общества Европы и Америки мало распространено знание о плане Бевериджа. Лица, считающие необходимым строить «государство благоденствия» и сомневающиеся в том, чтобы социализм вел к этой цели, должны были бы во всех странах образовать ассоциации, распространяющие сведения об этом плане и борющиеся за введение его в жизнь мирным законодательным путем.

Н. Лосский

КОММЕНТАРИИ

1. Философия случая

О последней книге М. А. Алданова¹ можно говорить с разных точек зрения. В ней поставлены проблемы, относящиеся к таким разнообразным предметам, как научная методология, характер исторического процесса, взаимоотношение добра и красоты, сущность демократии, «русские идеи», и современный международный кризис. Систематическому изложению М. А. Алданов предпочел форму диалога между двумя воображаемыми собеседниками, в одном из которых нетрудно узнать самого автора. Форма эта дала ему возможность ввести многочисленные «отступления в сторону», в которых автор напрасно видит «один из важных недостатков книги». Отступления эти не только очень интересны сами по себе, но и достаточно тесно связаны с основными идеями книги, объединяющими в одно целое всё ее многообразное содержание. В этой книге, в большей мере чем в чем-либо написанном им раньше, М. А. Алданов открывает нам те предпосылки, на которых покоится его отношение к жизни и к истории.

Я не собираюсь писать рецензию об «Ульмской ночи» с систематическим обзором ее содержания. Мне хочется только подчеркнуть то, что мне в ней показалось основным, и высказать некоторые мысли, которые она во мне возбудила. Как показывает уже самое ее заглавие, в своих рассуждениях М. А. Алданов исходит из Декарта. Но тут же надо подчеркнуть, что это еще не дает основания зачислить его в «картезианцы», в обычном, для историков философии, понимании этого термина. С «профессиональной» точки зрения, «Ульмская ночь» едва ли может быть названа трактатом. Проблемами онтологии или гносеологии М. А. Алданов на ее страницах не занимается. Думаю, что для него главный интерес заключает-

¹ «Ульмская ночь: философия случая». Из-во имени Чехова, Нью-Йорк, 1953.

ся в «прикладных» выводах из философии — конечно, не в утилитарном смысле, а в смысле возможного применения этих выводов к пониманию истории и к решению морально-политических проблем (такой «антропоцентризм» вообще характерен для М. А. Алданова: мир для него есть мир человеческих отношений).

Он сам предупреждает нас о том, что «в аллегорическое понятие «Ульмской ночи» он вводит лишь *дух* книг Декарта. И в дальнейшем речь в его книге идет не о системе картезианских идей, а о «картезианском состоянии ума» — понятие, которое в устах М. А. Алданова получает психологическое, скорее чем логическое значение. Поэтому он его не столько определяет, сколько описывает. Но из этого описания возникает достаточно ясное представление о том, что именно он имеет в виду. «Картезианское состояние ума» это прежде всего отрицание абсолютизма в мышлении — не в смысле отрицания каких бы то ни было абсолютных ценностей (М. А. Алданов считает «картезианское состояние ума» совместимым с положительной религией), а в смысле отвержения всякого догматизма. В применении к научной методологии это означает отсутствие готовности видеть в научных гипотезах, какой бы опытной проверке они ни подвергались, окончательно установленные «законы природы». В науках о человеческом обществе и в особенности в истории, где опытная проверка вообще невозможна, картезианской релятивизм ведет к решительному отрицанию самого понятия «исторических законов». Но особое значение для М. А. Алданова имеет, повидимому, проявление картезианского духа в области политики и политической морали. Он недаром противопоставляет его тоталитарному подходу: одной из основных черт тоталитаризма, может быть даже определяющей его чертой, является, конечно, тенденция к превращению относительного в абсолютное. И если всякая тоталитарная система не останавливается перед тем, чтобы во имя своих псевдо-абсолютов обресть человечество на любые страдания, то, по Декарту, напротив, «результаты войн и революций не окупают приносимых жертв» так как чаще всего они «приводят к порядку вещей худшему чем тот, который был до них». Декарт не ожидал наступления на земле непреходящей эры полного счастья и потому в политике руководился принципом: «из двух зол надо выбирать меньшее». По характеристике М. А. Алданова, Декарт как политик «принимает жизнь и людей такими, каковы они есть, себя и других

не обманывает, ничего и никого не идеализирует». Картезианский дух есть дух терпимости и анти-утопизма.

Понятно почему, исходя из «картезианского состояния ума», М. А. Алданов придает такое центральное значение «философии случая». Она имеет для него двоякую ценность. С одной стороны, она дает ему в руки оружие для борьбы против научного или политического догматизма, опирающегося на систему якобы непреложных законов. С другой стороны, разрушая абсолютный детерминизм, она открывает возможность сознательного вмешательства человеческой воли и разума в слепой ход событий. М. А. Алданов подробно и с большой убедительностью развивает заимствованную им у Курно идею цепей причинности. Причинность в мире, конечно, существует. Но вместо одной всеобъемлющей цепи причинности мы имеем дело с бесконечным числом отдельных, независимых друг от друга, цепей. В пределах каждой отдельной цепи одно звено «причинно определяет» другое, но в скрещении цепей между собою ничего необходимого и предопределенного нет, и здесь мы вступаем в царство случая. Отсюда и возникает возможность для человека сознательной борьбы со случаем или, по другой формулировке М. А. Алданова, использования «счастливого случая» против «несчастливого случая». Вспоминая древнее (греческое) различие между судьбой неотвратимой и судьбой отвратимой, М. А. Алданов говорит: «наше право и наш долг всячески увеличивать вторую за счет первой в направлении, которое нам представляется желательным».

Упоминание о долге приводит нас к другой части построения М. А. Алданова — к его идее «выборной аксиоматики». В одном из диалогов мы находим следующие строки: «Заповеди Моисея так же 'недоказуемы', как учение Ницше о сверхчеловеке или как нигилизм Штирнера. Но человек может и обязан произвести выбор: он сам устанавливает для себя аксиомы». Сделанного им самим выбора М. А. Алданов от читателя не скрывает: он предлагает вести борьбу со случаем на основе понятия «красоты-добра». Этой, положительной, стороны Алдановского построения я здесь по существу обсуждать не буду. Во-первых, потому что, по сравнению с критической частью книги, она изложена автором с гораздо меньшей полнотой, а во-вторых потому, что такое обсуждение могло бы завести меня слишком далеко от скромной цели этих комментариев. Ограничусь немногими замечаниями *по поводу* этической позиции М. А. Алданова.

Легко предвидеть те возражения, которые могут быть против нее сделаны со стороны людей, стоящих на религиозной точке зрения. Такая автономная мораль, построенная на «выборной аксиоматике», несомненно будет признана ими неудовлетворительной как лишенная какой-либо прочной базы. В «Истории русской философии» о. Василия Зеньковского сходные течения русской мысли охарактеризованы как «эстетический гуманизм», несостоятельность которого для автора «Истории» лежит именно в его неукорененности в религиозном мировоззрении. Думаю, что М. А. Алданов от звания «эстетического гуманиста» едва ли откажется: в одном из диалогов он «без колебания» называет «величайшим русским философом» Герцена, а Герцен в глазах о. Василия Зеньковского является одним из наиболее ярких представителей «эстетического гуманизма». В спор этот я здесь входить не собираюсь. Отмечу только, что М. А. Алданов и сам как бы предвидел возможность такого возражения — в той части его книги, где он (правда, только вскользь) говорит о связи между религией и гуманизмом. «Беспощадное отношение к людям... ни в теории, ни на практике нисколько не связано с атеизмом... Такое отношение достаточно часто... проявляли государственные деятели и теоретики, никогда атеистами не бывшие». Такой прагматический подход к проблеме очень характерен для М. А. Алданова. В сущности вся его книга продиктована прежде всего тревогой перед ростом бесчеловечности в мире. И я думаю, что с его точки зрения не так уж существенно, принадлежат ли те или иные гуманисты к категории гуманистов религиозных или только «эстетических». Важно, чтобы те и другие соединили свои усилия для борьбы против этой растущей бесчеловечности. Такое заключение было бы вполне в духе «картезианского состояния ума».

Этот, если угодно, «минимализм» (не гнаться за неосуществимым, но стараться осуществить возможное) сказывается и в отношении М. А. Алданова к демократии: «я демократ потому, что пока люди не выдумали менее плохой формы государственного устройства». И он повторяет, что в политике картезианское начало может сводиться только к умению выбирать меньшее зло. Демократию он не идеализирует и считает, что к нашему времени она «пришла в противоречие сама с собой». С одной стороны, демократия это свобода во всех ее видах. С другой, это — народное волеизъявление, обычно связываемое со всеобщим избирательным правом. Когда-то счи-

талось, что эти две стороны демократии неразрывно между собою связаны. Но теперь мы уже знаем, что такой «предустановленной гармонии» между ними нет. Отсюда перед каждым демократом встает задача — решать, что он в демократии считает существенным, а что второстепенным (или в употребляемых М. А. Алдановым философских терминах, — что в ней является «субстанцией», а что «акциденцией»). Выбранную им самим «аксиому» М. А. Алданов формулирует так: «Свобода выше всего, эту ценность нельзя принести в жертву ничему другому; никакое народное волеизъявление... ее отменить не в праве: есть вещи, которых 'народ' у 'человека' отнять не может».

Быть может, самой интересной и литературно наиболее совершенной частью книги является «Диалог о русских идеях». В нем М. А. Алданов как бы отвечает на «Русскую идею» Н. А. Бердяева (в диалоге есть несколько ссылок на эту книгу), и может быть не случайно, что единственное число, употребленное Бердяевым, которое уже само по себе придает русской идее мессианское значение, у Алданова заменено множественным. Правда, в большинстве этих «русских идей» он усматривает нечто их объединяющее, но это нечто прямо противоположно тому, в чем Бердяев видел отличительные черты русского духа. Вместо бердяевской «полярности» Алданов находит в том лучшем, что создала русская культура, — служение идее «красоты-добра», в том смысле, в каком он сам эту идею понимает. «Бескрайностей» же и «безмерностей» в русской культуре он, к своему удовлетворению, не находит. В худшем случае их в ней было не больше, чем на Западе.

Это утверждение, которое многим может показаться парадоксальным, подтверждается рядом убедительных примеров и пронизательных замечаний, и мне остается только отослать читателей к соответствующим страницам «Ульмской ночи».

2. Философия компромисса

Как это ни странно, между «Ульмской ночью» и недавно вышедшей книгой В. А. Маклакова², при всем их тематическом различии, есть некоторое внутреннее родство. То заглавие, которое я дал этой части своих комментариев, имеет в виду политические раздумья В. А. Маклакова, и именно в них

² «Из воспоминаний». Из-во имени Чехова. Нью-Йорк, 1954.

это родство и обнаруживается. Но к этому я обращаюсь потом, а начну с указания на то значение, какое книга В. А. Маклакова имеет для истории русского либерализма.

Вообще говоря, русскому либерализму в исторической литературе не повезло. До сих пор не только не написана общая его история (таких обобщающих работ у нас нет, пожалуй, ни для одного русского политического движения), но нет и монографий о тех или иных его течениях или отдельных представителях. Можно сказать, что о русском либерализме историки почти забыли. Во всяком случае пока ему не уделили и малой доли того внимания, которое было уделено не только революционному движению, но даже и некоторым «правым» течениям русской мысли (как, например, славянофилам, Каткову, Леонтьеву, Победоносцеву). Центральному, умеренному движению всегда трудно конкурировать с более драматическими и более живописными крайними флангами — и в современности, и в истории. К тому же русский либерализм имел несчастье возникнуть в эпоху, когда западно-европейский либерализм уже настолько укрепился на своих позициях (так тогда по крайней мере казалось!), что потерял обаяние новизны. Поэтому в международном масштабе русский либерализм казался явлением менее интересным, менее своеобразным чем революционная или романтико-консервативная экзотика. В разновидностях экзотики *l'âme slave* раскрывалась с легкостью, тогда как из либерализма выжать ее было довольно трудно. Впрочем, как правильно указывает М. А. Алданов, «русская бескрайность была выдумана в России», и «выдумка эта... почему-то польстила русскому национальному самолюбию». Поэтому и у себя дома русские либералы часто казались «не типично русскими». Наконец, историческая репутация русского либерализма оказалась одной из жертв революции. Правда, фактически его судьбу разделили и все остальные антибольшевистские течения, но почему-то именно слабость либерализма часто считается особенно убедительно доказанной фактом его поражения в 1917 году. Из этого иногда и делается вывод, что изучать движение, не имевшее и не оставившее длительных следов в русской истории — едва ли сто́ит.

Доказывать несостоятельность этого взгляда здесь не место. Ограничусь простым утверждением, что в дореволюционной России корней и возможностей у либерализма было не меньше, чем у его политических соперников, что существова-

ние его было далеко не бесплодным и что изучать его не только сто́ит, но и нужно. Это одна из многих очередных задач русской историографии. Вот почему я считаю появление книги В. А. Маклакова весьма своевременным.

К своему политическому прошлому В. А. Маклаков возвращался не один раз. Я имею в виду его «Власть и общественность на закате старой России»³ и книги о Первой и Второй Думах. Во всех этих книгах воспоминания были соединены с размышлениями о пережитом, «былое» с «думами». В настоящей книге воспоминания носят гораздо более личный характер, а выводы, которые автор делает из своего жизненного опыта, выделены в особую заключительную главу. Для меня главная ценность мемуарной части книги заключается в том, что в ней В. А. Маклаков впервые с такой подробностью, и притом в хронологической последовательности, рассказывает о формировании своих политических взглядов. Рассказ этот имеет не только лично-биографический интерес — он бросает свет и на общий вопрос о корнях русского либерализма. Корни эти не были однородны как не было однородно и выросшее из них общественно-политическое течение. Отдельные группы людей приходили к либерализму разными путями, и каждая из них владела в движении свое особое понимание его задач и характера. В. А. Маклаков не был земцем, но случилось так, что его политическое воспитание шло в атмосфере умеренной земской либеральной традиции. Он рос среди людей, которые все были свидетелями и сторонниками «великих реформ» 60-х гг. и хотели их продолжения «на началах законности, свободы и справедливости», но без особого ударения на политических переменах и уж, конечно, без всякой симпатии к революционному способу действий. В своем стремлении к «улучшению государства» они всегда «исходили из того, что уже существует реально».

По наблюдениям В. А. Маклакова, и настроения большинства студенчества того времени, по крайней мере в Москве, были такого же характера. Он настаивает на неполитическом характере студенческих беспорядков 1887 и 1897 гг. Борьба шла за академическую свободу и за признание корпоративных прав студенчества, а к стремлению внести в нее радикальные

³ В эту книгу вошли в переработанном и дополненном виде статьи В. А. Маклакова, сначала (1926-36 гг.) печатавшиеся в «Современных Записках» под заглавием «Из прошлого».

политические лозунги большинство студентов относилось отрицательно.

Эти настроения определили характер общественной деятельности Маклакова-студента: она не переходила пределов легальной борьбы за студенческое самоуправление. Здесь впрочем сыграло еще роль впечатление полученное им от Парижской Студенческой Ассоциации, с деятельностью которой он столкнулся во время поездки во Францию в 1889 году. Очень показательно, что пребывание в свободной стране, по словам В. А. Маклакова, было для него «уроком консерватизма». Во Франции того времени он больше всего оценил то, что в ней «права государства сочетались с правами человека» и что даже оппозиция обнаруживала «бережное отношение к тому, что создано историей».

В этом же направлении шло и воздействие тех выдающихся людей, с которыми В. А. Маклаков был в тесных сношениях в период формирования его политических взглядов. Сначала это был А. В. Любенков, о встречах с которым В. А. Маклаков уже рассказывал во «Власти и общественности», а несколько позднее — члены «Беседы», политического кружка собиравшегося в Москве вокруг Д. Н. Шипова. И в Любенкове и в Шипове можно найти черты, сближающие их со славянофилами: значительная доля традиционализма, ударение на общественной больше чем на политической деятельности, известная степень равнодушия к формам государственного строя и конституционным формулам. В какой-то мере черты эти присущи были и маклаковскому подходу к либерализму. Но в его случае решающим было еще и одно обстоятельство. По окончании университета он собирался было заняться исторической наукой, но потом решил посвятить себя адвокатуре. Кроме соображений личного характера, его привлекало то общественное служение, в котором, в его представлении, состояла задача адвокатуры.

К этому времени для него стало ясно, что главным злом русской жизни было «безнаказанное господство в ней произвола», а утверждение в ней законности — самой важной очередной задачей. Идя в адвокатуру, он и хотел служить этому делу.

Здесь опять один из моментов личной биографии Маклакова приобретает значительный общественно-исторический интерес. В русском либерализме были люди, идеал которых выражался словами «правовое государство» гораздо лучше, чем

словами «народное волеизъявление» или «политическая свобода». Наряду с «рыцарями свободы» или «рыцарями социальной справедливости» они были «рыцарями законности» — законности, понимаемой прежде всего как защита интересов отдельной человеческой личности. В. А. Маклаков был из их числа. Много лет спустя, уже в эмиграции, П. Н. Милюков, в одном из своих полемических выступлений против В. А. Маклакова, обвинил последнего в том, что он переносил в политику адвокатскую психологию и адвокатские методы. Думаю, что для В. А. Маклакова это звучало скорее как комплимент чем как обвинение. Если проследить политическую деятельность Маклакова на протяжении всего конституционного десятилетия, то можно обнаружить, что большинство его думских и внедумских выступлений были посвящены борьбе за законность против произвола. Очень характерно и то, что в то время как В. А. Маклаков не принимал активно участия ни в разработке, ни в защите кадетской *аграрной программы*, он был одним из главных вдохновителей и авторов разрабатывавшихся в Думе законодательных проектов, целью которых было осуществление полного *гражданского равноправия* русского крестьянства. Так и к крестьянскому вопросу Маклаков подходил прежде всего с правовой точки зрения.

В свете этого приоритета правового начала можно понять позицию, занятую Маклаковым в 1905-06 гг.: и его отрицательное отношение к союзу либералов с революцией, которая представлялась ему как неизбежное нарушение законности, как замена одного произвола другим, столь же если не более губительным для личных прав и личной свободы, — и его настойчивые попытки добиться соглашения с «исторической властью», которое сделало бы возможным постепенное превращение России в «правовое государство», без насильственного переворота и связанных с ним жертв и потрясений.

И тогда и позднее он основывал свою политическую тактику на том, что я называю его «философией компромисса». Он был и остался противником политической «войны до победного конца», когда победившая сторона если и не уничтожает противника полностью, то диктует ему свои условия мира. Желательный для него исход политического столкновения есть «мир без победы» — формула, которую в первой мировой войне одно время отстаивал Вильсон. Только такой мир, основанный на компромиссе, на взаимных уступках, на соглашении противоположных интересов, кажется ему единственно

прочным, имеющим шансы на длительное существование. В русском политическом (да и не только политическом) языке слово «компромисс» давно приобрело дурной оттенок. «Он ни на какие компромиссы не пойдет» звучит для русского уха как высочайшая похвала общественному или политическому деятелю. Маклаков в этом отношении является в русской среде довольно редким исключением. Он придает понятию компромисса то положительное значение, которое оно имеет в англо-саксонской политической терминологии. По-английски, для англичан и для американцев одинаково, «неспособность к компромиссу» чаще всего есть порок связанный с нетерпимостью, с догматизмом, с отсутствием чувства реальности — и с непониманием сущности демократии.

Думаю, что и В. А. Маклаков понимает, что бывают в истории случаи, когда политический компромисс становится невозможен. В дореволюционной России он, по его убеждению, был возможен. Его оппоненты утверждали и продолжают утверждать обратное. В этом споре я в общем на стороне В. А. Маклакова. Но одним из оснований для моего присоединения к точке зрения Маклакова является мое представление о старом русском режиме, как о чем-то глубоко отличном, а в некоторых отношениях прямо противоположном, современному тоталитарному государству с его террористическим аппаратом. Этого вопроса я сейчас касаться не буду. Как бы его ни решать, самые основы маклаковской «философии компромисса», продиктованной стремлением использовать все (до последней!) возможности мирного эволюционного прогресса, чтобы избежать войн и революций, — сохраняют в моих глазах свою ценность.

И, конечно, это есть одно из ярких проявлений того, что М. А. Алданов называет «картезианским состоянием ума».

М. Карпович

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИРЫ»

Казалось бы, что управление государственными финансами, о которых имеется целая особая наука, преподаваемая в университетах, не заключает в себе ничего особо затруднительного для более или менее опытного и просвещенного государственного деятеля. Можно думать, что для заведывания этой частью правительственного аппарата необходимы лишь те специальные знания, которые требуются от каждого министра в его области управления. На самом деле это не так. Наряду с вопросами доступными общему пониманию и укладываемыми в принятые и установленные наукой правила и рамки, как вопросы о налоговой политике, государственном бюджете, использовании государственных средств для удовлетворения наиболее насущных в данное время нужд страны и т. п., в управлении государственными финансами есть область, занимающая отдельное место и требующая от руководителя финансовым ведомством особых практических сведений. Исключительность характера этой области объясняется развитием мирового капитализма и порожденного им своего рода денежного интернационала или, как говорил С. Ю. Витте, «денежного мира», представленного крупными банками и биржами. С нарождением этого мира разрешение вопросов финансовой политики, касающихся государственного и частного международного кредита, денежного обращения и курса национальной валюты стало немыслимо без тонкого понимания его психологии и знания правил, которыми он руководствуется. Правительствам приходится с одной стороны считаться с этим миром, а с другой стараться влиять на него доступными им средствами. Отсутствие у министра финансов необходимых сведений для умелого сотрудничества с денежным миром может тяжело отразиться на экономической жизни страны и даже привести ее к серьезным кризисам. Наоборот наличие у него этих сведений дает ему возможность предотвратить экономические потрясения, а иногда и отвратить от государства иностранную политическую угрозу. Денежный мир представлен, как было уже сказано, биржами и банками, т. е. связанными между собой в международном плане отдельными финансовыми группами. Все эти группы одновременно влияют на мировой денежный рынок и косвенно на правительства своих стран, с которыми они находятся в постоянном контакте.

Осуществление полезного для государства сотрудничества с иностранными банками возможно лишь путем установления с некоторыми из них корреспондентских отношений, т. е. приобретения в их среде агентов исполняющих их финансовые поручения. Производится это путем открытия правительствами в этих банках счетов, представляющих для них интерес, в виду значительности вносимых на них сумм. Между такими агентами и правительствами таким образом устанавливаются дружески-заинтересованные отношения, дающие возможность первым оборачивать в своих операциях крупные капиталы, а вторым производить негласное давление на иностранные рынки и создавать этим благоприятные для страны финансовые и политические положения.

Говоря, «чтобы быть хорошим министром финансов, надо быть еще и «государственным банкиром», С. Ю. Витте хотел сказать, что такой министр должен не только хорошо знать денежный мир, но еще и уметь его использовать его же способами на пользу финансов своей страны. История знает мало таких министров. Во Франции можно назвать Рувье и Пуанкаре и отчасти Поля Рено, а в Германии Шахта. В России мог бы стать таковым Канкрин и был сам С. Ю. Витте (до сих пор непревзойденный нигде в мире). Его пример может показать, что может сделать для своей страны министр финансов всесторонне знающий свое дело.

Заслуги С. Ю. Витте пред родиной особенно замечательны тем, что задача его была чрезвычайно сложна из за совершенно особого политического и экономического положения России во время его управления русскими финансами. Как известно, Россия была тогда чисто сельскохозяйственной страной, с слабо развитой промышленностью и неустойчивой бумажной денежной единицей. С. Ю. Витте за сравнительно короткое время сумел не только создать главную базу будущего развития русского народного хозяйства — золотое денежное обращение, но и организовать аппарат для обеспечения его здорового существования. Мало того, что он приобрел верных заграничных агентов, он создал еще при управляемом им министерстве свой международный негласный банк в лице Иностранного Отделения при Особенной Канцелярии по Кредитной Части. Этот банк не имевший своего капитала, оперировал кассовыми средствами Государственного Казначейства, числящимися на его особых счетах в иностранных банках. Значительность этих средств позволяла русскому Министру Финансов, пользуясь услугами этих банков, в то же время не зависеть от них. В руках С. Ю. Витте, обладавшего помимо исключительных финансовых знаний и чутья, удивительным государственным умом и пониманием международной обстановки, созданный им аппарат являлся могущественным орудием.

Интересно отметить, что С. Ю. Витте подробно описывающий в своих «Воспоминаниях» отдельные факты своей государственной деятельности и способы успешного проведения им чрезвычайно важных мероприятий ни разу не говорит о своих закулисных финансовых действиях, часто игравших в них решающую роль. Можно предположить, что он даже после своего удаления от дел не хотел знакомить широкие круги общества с кухней «государственного банковского дела» или находил, что эти круги не будут в состоянии этой кухни понять.

Можно было бы привести много случаев из государственной практики С. Ю. Витте, в которых он успешно использовал свои исключительные познания, но рамки журнальной статьи заставляют ограничиться лишь наиболее известными и значительными событиями русской истории, в которых он сыграл главную роль. Остановимся на двух из них: введении в России золотого обращения и заключении Портсмутского мира с Японией.

В своих «Воспоминаниях» С. Ю. Витте говорит о многочисленных препятствиях, чинившихся ему в административных и общественных кругах и даже иностранными правительствами, при проведении им столь необходимой для России реформы денежного обращения, и указывает на то, что только доверие имп. Николая II-го, тогда еще оказываемое ему, помогло ему завершить благополучно это дело. Но он умалчивает об одном очень существенном препятствии, стоявшем на его пути, и о мере, к которой он прибег для его преодоления. С. Ю. Витте по различным соображениям вперед определил курс русских кредитных билетов на золото, т. е., как говорится на финансовом наречии, золотой паритет рубля с иностранными валютами. Паритет этот был $2\frac{3}{4}$ золотого франка за один золотой рубль. Трудность открытия размена на золото по вперед определенному курсу заключалась в том, что в это время из-за сильной игры за границей на понижение рубля, центром которой была Берлинская биржа, курс рубля сильно колебался. С. Ю. Витте, накопив предварительно путем заграничных займов значительное количество иностранной валюты, через своего агента в Берлине, банкирский дом Мендельсонов, скупил в течение месяца на этой бирже падавшие в цене рубли. К концу месяца, т. е. ко времени расчетов по срочным сделкам, когда понижатели захотели, как говорится, «покрыться» т. е. приобрести запроданные им рубли для сдачи их покупателям, таковых оказалось на рынке столь малое количество, что курс на них стал быстро повышаться и скоро достиг 2 марок и 16 пфенигов, что было равнозначуще $2\frac{3}{4}$ франка. В тот же день С. Ю. Витте опубликовал заранее заготовленный им и подписанный имп. Николаем II-ым указ о свободном размене Государственным Банком кредит-

ных билетов по соответствующему курсу на золото. Реформа была проведена.

Другим показателем политического и государственного гения С. Ю. Витте и мастерства его в государственном банковом деле было заключение им Портсмутского мира. Только сейчас живущие в Америке русские эмигранты могут оценить то, что он сделал. Приехав представителем самодержавного режима в страну с укоренившимся демократическим мирозерцанием и имеющую значительное еврейское население, естественно не любившее русское правительство, С. Ю. Витте знал, что его ждет очень холодный прием даже у президента Рузвельта, склонявшегося на сторону Японии, маленькой страны, обиженной, по мнению американцев, своим гигантом соседом. Опять таки в своих «Воспоминаниях» он подробно описывает с каким мастерством он, перехитрив хитрого Комура, повернул общественное мнение на сторону России. Но и тут он умалчивает о том, как он использовал свои финансовые познания в приведении японцев к уступкам и соглашению. Он только вскользь упоминает о том, что «денежный мир желал, чтобы война кончилась». А между тем назначенный им в свое время финансовым агентом в США Вилленкин (женатый на Зелигман) неумоимо вел в кабинетах американских банков переговоры, приведшие к тому, что японскому правительству было отказано в дальнейших кредитах. Главным спорным вопросом в мирных переговорах было требование японцев об уплате им Россией контрибуции. Они особенно настаивали на выполнении этого требования, т. к. кассы их казначейства были пусты из-за огромных понесенных ими военных расходов и, кроме того, принуждение России к уплате контрибуции было бы для них большой моральной победой. С. Ю. Витте не уступил в этом вопросе и японский уполномоченный Комура, которому из Токио были даны инструкции во что бы то ни стало добиться контрибуции, по своему возвращении в Японию подвергся опале, в то время как весь мир признал, что Россия вышла, благодаря С. Ю. Витте, с честью из трудного положения. Известный немецкий финансовый деятель фон Гельферих в своей, написанной вскоре после Портсмутского мира, книге: «Das Geld im Russisch-Japanischem Kriege» говорит, что С. Ю. Витте одержал над японцами ту победу, которая не далась Русской Армии.

Выше было сказано, что С. Ю. Витте создал при Особенной Канцелярии по Кредитной Части в лице ее Иностранного Отделения свой особый международный банк обладавший значительными средствами и служивший аппаратом регулировавшим, путем биржевых операций, курсы рубля и русских государственных бумаг на иностранных биржах. Понятно, что характер работы этого банка и его

операции, как в каждом банке, для своей успешности должны были держаться в тайне, значительные же его прибыли, достигавшие иногда десятков миллионов рублей, могли быть использованы для самых различных назначений в международном порядке без оглашения. Для работы в таком учреждении недостаточно было иметь хороших исполнительных чиновников, требовались работники прошедшие специальную школу и обладавшие особыми способностями. С. Ю. Витте путем личного подбора образовал кадры таких работников и даже создал свою особую школу их. Из их среды он выделил прекрасных финансистов, продолжавших его дело после того как, на несчастье нашей Родины, он был удален от дел и пребывал в опале.

Самым блестящим учеником С. Ю. Витте был Л. Ф. Давыдов. Начав еще при нем свою исключительную карьеру, он был единственным, кто, при нормальных обстоятельствах, мог бы заменить его на министерском посту и продолжать его деятельность. В нем было всё, что требовалось от «государственного банкира», и вскоре после назначения его Директором Особенной Канцелярии по Кредитной Части он приобрел известность в широких иностранных финансовых кругах. Продолжая традицию своего учителя, Л. Ф. Давыдов обращал особое внимание на подбор личного состава вверенной ему Канцелярии. Принятые им на службу кандидаты не только проходили в ее стенах серьезную школу, но некоторые из них получали еще и годовую заграничную командировку за счет казны, официальным назначением которой было изучение банковского дела в тесном смысле этого слова. Негласной же их задачей было — познание «кухни» биржевой жизни европейских денежных центров и методов работы отдельных банков; знакомство с крупными представителями банковского мира и их психологией и, наконец, выяснение их отношений с правительственными кругами и степенью влияния на них.

Пишущий эти строки был одним из тех, на которых Л. Ф. Давыдов обратил свое внимание. Вскоре после своего поступления в Канцелярию он был командирован в Берлин для работы в банкирском доме Мендельсонов. Это назначение возлагало на него особую ответственность. Мендельсоны были невралгическим пунктом иностранной банковской агентуры Русского Министерства Финансов. Во главе их стояли два брата Роберт и Франц, их двоюродный брат Мендельсон-Бартольди и их *associé* Фишель. Старший брат, Роберт, был членом Палаты Господ (*Herrenhaus*) и близким человеком к Вильгельму II-ому, а Фишель считался самым умным банкиром в Европе. Это был во всех отношениях первоклассный банк. Заслуги его перед русским правительством еще во времена министерства

С. Ю. Витте были очень велики. От совместной работы с представителями Кредитной Канцелярии они вынесли самое лучшее впечатление и ожидали даже от самого скромного ее представителя высокого понимания своего дела. Проникнуть в тайны Мендельсонов было почти невозможно; только путем напряженного внимания ко всему, что говорилось вокруг можно было составить себе некоторое представление о том, что полагалось узнать командированному лицу. Всё же даже эти скудные сведения дали пишущему эти строки возможность вскоре быть *cheville ouvrière* в одном важном политическом маневре его начальника Л. Ф. Давыдова. После семимесячного пребывания в Берлине я был переведен в Париж для продления своего банковского образования. Уже накануне своего возвращения в Петербург в августе 1911 года, когда ежедневно посещал биржу, на ней начали раздаваться воинственные крики «à Berlin, à Berlin!» — международная атмосфера сгустилась из за Агадирского инцидента*.

Весь сентябрь политическое положение в Европе оставалось очень напряженным. Созванная международная конференция топталась на месте и германское правительство держало себя на ней очень вызывающе, как всегда не веря, что Англия, в своей поддержке Франции, дойдет, в случае провала конференции, до решительных действий. В русских правительственных кругах настроение было пессимистическое и иностранное ведомство допускало возможность вооруженного столкновения. Иначе смотрели на положение финансовые круги и в частности Л. Ф. Давыдов. Он был убежден, что Германия на конференции блефирует. Весь инцидент, по его мнению, был плодом одной из фантазий легкомысленного императора Вильгельма II-го, не встречавшего возражений на свои капризы со стороны слабого и неумного канцлера Бетмана-Гольвега. Л. Ф. Давыдов, кроме того знал, что финансовое положение Германии не благоприятствовало войне и правильно оценивал наблюдавшееся в ней в то время сильное недовольство среди рабочих, выражавшееся в стачках и демонстрациях вокруг Берлина. Агенты министерства из среды немецких банкиров сообщали ему, что действия германского правительства не находят сочувствия ни у них самих, ни в широких кругах населения. В связи с этим у Л. Ф. Давыдова явилась мысль, что если усилить в эту минуту финансовые затруднения Германии, то можно было бы дать этим в руки немецких финансовых кругов

* Агадир — порт в южном Марокко на Атлантическом океане, в который в 1911 году Вильгельм II-ой послал канонерку «Пантеру» для поддержки предъявленных им Франции требований о предоставлении Германии экономических привилегий в этом ее протекторате.

сильную карту против войны и тем самым ослабить самоуверенность правительства Вильгельма II-го. Однако он понимал, что сделать это надо было так, чтобы русское иностранное ведомство осталось совершенно в стороне и даже не было в курсе мероприятия Министерства Финансов. Нужно было, чтобы действие последнего явилось как бы логическим результатом создавшегося по вине Германского Правительства напряженного положения (и было естественным исполнением возложенных на Директора Кредитной Канцелярии обязанностей).

24-го сентября Л. Ф. Давыдов сообщил пишущему эти строки, только что вернувшемуся из командировки, о своем намерении ослабить воинственное настроение Германского Правительства и сбавить его тон на конференции денежными путями. «У нас сейчас на счетах в Берлине около 200 миллионов марок», сказал он, «я решил пригрозить переводом их во Францию. Разумеется мы должны при этом использовать наши старые отношения с Мендельсонами. Вы, как проводивший в стенах их банка семь месяцев, должны помочь мне в технических деталях выполнения моего решения. Я хочу знать прежде всего, что по вашему мнению, сделает Фишель, когда получит нашу телеграмму с просьбой указать условия перевода наших денег в Париж? Затем, когда лучше отправить телеграмму с таким расчетом, чтобы приведение в исполнение нашей угрозы причинило наибольший вред германскому денежному рынку?» Из последовавшего ответа Л. Ф. Давыдов узнал, что по всей вероятности Фишель немедленно сообщит содержание телеграммы Германскому Министерству Иностранных Дел и разъяснит ему все неблагоприятные последствия перевода русских казенных денег из Берлина в Париж. Что же касается дня посылки телеграммы, то лучше было бы отправить ее 28-го сентября, т. е. за два дня до конца месяца — срока производства трехмесячных расчетов в Германии, т. е. времени наибольшего напряжения на денежном рынке. Л. Ф. Давыдов согласился с высказанным мною мнением и телеграмма была отправлена в указанный день.

Вышло так, что угроза Русского Министерства Финансов оказалась последней каплей, переполнившей чашу. Ко времени ее получения в Берлине, там стало уже известно, что английское правительство не допустит нападения Германии на Францию и, кроме того, рабочие волнения вокруг Берлина приняли еще более острый характер. Утром 30-го сентября, когда Л. Ф. Давыдов пришел в Канцелярию, его уже ждал постоянный представитель в Петербурге Вюртембергского Банка г. Лансгоф, буквально накинувшийся на него с возгласом: «Что вы делаете, ваше превосходительство, вы хотите разорить нас! Нельзя в такую минуту наносить такой удар

немецкому денежному рынку!» Л. Ф. Давыдов просил его успокоиться и объяснить причину его волнения. Оказалось, что г. Лансгоф получил от своего банка телеграфное распоряжение немедленно разъяснить Л. Ф. Давыдову, какие катастрофические последствия будет иметь для Вюртембергского Банка, как и для других, приведение в исполнение угрозы Кредитной Канцелярии. Л. Ф. Давыдов сухо ответил г. Лансгофу, что он не может обсуждать с ним меры, которые русское Министерство Финансов признает необходимым принимать. Лансгоф покинул Канцелярию неудовлетворенный и в большом волнении.

Только что закрылась за ним дверь, как Л. Ф. Давыдову доложили о приходе советника германского посольства фон Луциуса. Этот вошел в кабинет со спокойной улыбкой на лице, с тем видом, с каким он обыкновенно встречал Л. Ф. Давыдова в свете.

«Ну что же вы это затеяли, милый друг?», сказал он, «зачем нужно вам причинять нам такие неприятности, разве вы не знаете, что деньгам русской казны в Берлине ничто не может угрожать?»

С такой же любезной улыбкой Л. Ф. Давыдов ответил немецкому дипломату вопросом, в каком качестве он сделал ему удовольствие своим посещением? И сам ответил на свой вопрос:

«Если вы пришли официально, как советник посольства, то ошиблись подъездом. Канцелярия Министерства Иностранных Дел находится рядом на этой же Дворцовой площади. Если же вы пришли как друг, то я, хотя и не имею права говорить с вами по этому делу, всё же по дружбе скажу вам, что в мои обязанности входит принимать меры к сохранности русских казенных денег, когда, по моему мнению, им грозит опасность. Не мое дело входить в рассмотрение международных споров, но мой долг делать из них те выводы, которые касаются предметов моего ведомства».

Фон Луциус, не возражая, стал уверять Л. Ф. Давыдова, что всякая опасность войны устранена и что на конференции удалось прийти к соглашению.

Нигде в прессе об угрозе русского министерства не было упомянуто, и лишь через два месяца, в специальном журнале «Die Bank» было сказано, что, приведи в сентябре месяце Русское Правительство в исполнение свою угрозу, на немецком денежном рынке произошла катастрофа.

Особенная Канцелярия по Кредитной Части и по сей день существует в Москве и еще недавно в ней работали некоторые из бывших сотрудников Л. Ф. Давыдова.

А. Давыдов

РАБОТА НКВД В ГОСПИТАЛЯХ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

1. Приемно-распределительный госпиталь

Все без исключения больные и раненые, прежде чем попасть в какой-либо госпиталь на излечение, обязательно должны были пройти через т. н. приемно-распределительный госпиталь № 1. Такой порядок был установлен для сортировки больных и раненых по роду их заболеваний или ранений. Каждый госпиталь в Ленинграде был строго специализирован: так, например в госпиталь где лежали раненые в ногу не могли попасть раненые в руку или в живот. В приемно-распределительном госпитале врачи оказывали первую помощь, ставили диагноз и направляли больного или раненого в соответствующий госпиталь.

Приемно-распределительный госпиталь находился в громадном парке за монастырем Александро-Невской Лавры с выходом к реке у Обводного канала. Весь парк со всех сторон был огражден тремя рядами колючей проволоки и круглые сутки охранялся вооруженной охраной. Посторонним лицам вход во двор госпиталя был строго запрещен.

В госпитале не было электрического света, не было канализации, не было отопления. Свечи приходилось очень экономить. В помещениях, где лежали раненые, свечей не зажигали; лишь 3-4 раза в ночь, когда делал обход дежурный врач или дежурная сестра, они носили с собой огарок свечи. Все прибывающие лежали на полу, а некоторые на походных носилках. Раненые лежали почти вплотную, некуда было ногой ступить. Все лежали одетые, невытые, вшивые и от каждого так разило, что входившему со свежего воздуха человеку делалось дурно. Чтобы сделать раненому перевязку, над раной разрезали шинель, гимнастерку и нижнее белье. Были тяжело раненые, которые без посторонней помощи не могли отправлять своих естественных потребностей, но ими никто не занимался. В приемно-распределительном госпитале перевязки делались только один раз. Вообще раненым полагалось быть в этом госпитале всего несколько часов. На деле же, больные находились здесь от шести часов до двух суток, так как им не успевали выписывать направления и не хватало автотранспорта для развозки их по госпиталям.

2. Госпиталь «ГЛР» № 268

По распоряжению заместителя командующего ленинградским фронтом генерала Лагунова и начальника кадров ленфронта полковника Шкинева я был переведен из 36 запасной стрелковой бригады в 268-й госпиталь на должность заместителя по «МТО». В этом госпитале, который считался одним из крупных, было постоянно до 2000 раненых и больных. Госпиталь был «специализирован» для раненых в кисть и состоял из девяти отделений, одно из которых — шестое — было для больных желтухой, так, по крайней мере, мне было официально сказано.

В отличие от приемно-распределительного госпиталя мы имели три превосходных здания на петроградской стороне; одно из них — учебное заведение им. Баранова — пятиэтажный дом с хорошо оборудованными помещениями, с отдельными койками для каждого больного, с постельными и нательным бельем, с электрическим светом; свет, правда, шел не из общей сети, а из собственной аварийной станции. Был хороший терапевтический кабинет, была своя механическая прачешная, были души, было паровое отопление и даже клуб на 1500 мест. Госпиталь отапливался дровами, полученными при разборе около 600 деревянных домов в Петроградском и Выборгском районах; угля в городе не было и доставать его из-за блокады было невозможно.

Вход в госпиталь посторонним лицам не разрешался, как и не разрешалось выходить из госпиталя раненым и больным.

Под угрозой расстрела обслуживающему персоналу было запрещено передавать письма или извещать родных в Ленинграде о том, что такой-то их родственник находится в госпитале. Все врачи, сестры, санитарки и другие работники госпиталя должны были дать в этом подписку. Больным же предлагали опускать письма своим родным в ящики, которые имелись в каждом отделении. Письма эти вынимались два раза в день заместителем начальника отделения по политчасти и никогда не отправлялись адресатам; они передавались комиссару госпиталя, майору Васильеву, который имел специальный штат из двух политработников. Единственной их обязанностью было изучать письма бойцов к родным; по прочтении письма укладывались в специальные картотеки по именам авторов писем.

На основании этих писем специалисты изучали характер каждого бойца, его отношение к защите родины, к войне и власти. Каждому давалась индивидуальная характеристика и определялась его дальнейшая судьба. В каждом отделении кроме того находился штатный офицер, заместитель начальника отделения по политчасти, бывший в то же время и пропагандистом; он два раза в день прово-

дил политинформацию среди раненых. Так как ему же сообщались фамилии лиц подозреваемых в неблагонадежности, то он старался втянуть их в разговор предлагая им рассказать, как они поняли политинформацию и т. д. В обязанность замполита входило зорко следить за высказываниями этих людей и делать нужные выводы.

Кроме того, в обязанность врача также входило «выявление преступников», т. е. солдат подозреваемых в членовредительстве, «самострелов», и симулянтов среди больных. Те врачи, которые давали больше материала о своих пациентах, как о членовредителях и симулянтах, были на лучшем счету; что же касается заместителей по политчасти, то наиболее активные из них получали правительственные награды.

Самую главную роль в «выявлении» политически неблагонадежных элементов, симулянтов и членовредителей играли сестры и санитарки, так как они проводили по 12 часов в сутки, а некоторые и по 24 часа с больными. Они были хорошо инструктированы как подслушивать разговоры больных между собой; при приеме на службу в госпиталь они должны были давать подписку, что они обязуются также быть сексотами. Обычно эти служащие набирались из числа родных и знакомых политработников и людей преданных режиму. В сестры и санитарки шли охотно по двум причинам; во-первых, потому, что будут относительно сыты и будут работать в тепле (население Ленинграда зверски голодало и мерзло, получая 125 грамм хлеба в сутки; работница же госпиталя получала 400 грамм хлеба и спецодежду); а во-вторых, потому, что эта работа освобождала их от военных трудовых повинностей.

В хорошо обставленных кабинетах, вдали от больных, в госпитале помещались председатель трибунала, начальник особого отдела и два следователя. Существование этих органов было почти незаметно. Они не имели никакого отношения к работникам штаба, к хозяйственной или медицинской работе, в палаты они никогда не заходили и на собраниях не бывали. Когда и где они принимали своих сексотов, никто не знал.

Мне скоро стало известно, что в их задачу входило: во-первых, ликвидировать всех подозреваемых в политической неблагонадежности, а, во-вторых, строго контролировать выписку раненых и больных.

За два-три дня до выписки раненого, попавшего под подозрение, они вызывали его к себе и выжимали из него всё, что хотели. Перекрестными допросами, подсказывая ему, цитируя его разговоры с товарищами по палате и его письма к родным, они добивались признания в предъявленном ему обвинении и подписи под протоколом допроса. После допроса с раненого брали подписку, что он никому

не расскажет, где он был и с кем говорил. По выписке из госпиталя, его направляли в штрафную роту для искупления своей вины перед родиной. Когда же попадался членовредитель, то нужно было подтверждение лечащего врача. После этого устраивался суд, на который раненые приглашались в клуб госпиталя. Самострелов-членовредителей приговаривали к расстрелу. После приговора осужденного прямо из клуба брали под стражу и увозили из госпиталя.

Санитарное управление ленинградского фронта установило норму выписки раненых и больных для каждого госпиталя, независимо от того выздоровело ли такое количество человек или нет. Для нашего 268-го госпиталя было установлено ежедневно выписывать 7% общего числа находящихся на излечении. На основании этого приказа 268-ой госпиталь обязан был ежедневно выписать для отправки в батальоны выздоравливающих, с последующей отправкой на фронт, 140 человек. За нарушение этого приказа отвечало начальство госпиталя, вплоть до разжалования в рядовые и отправки в штрафную роту. В виду особой важности этой задачи (фронт задыхался от недостатка людей), контроль над выполнением приказа был возложен на политорганы НКВД.

Негодными к военной службе признавались лишь те, у кого не было ноги, руки, всех пяти пальцев на одной руке или совершенно ослепшие. Те же, кто хромал или имел лишь один глаз считались годными для защиты родины.

Мне вспоминается такой случай: в феврале 1943 года военный трибунал присудил одного раненого к расстрелу за то, что он будто бы выстрелил себе в руку, оставил фронт и попал в госпиталь. На следующий день не досчитались 4 раненых. Все розыски их были напрасны; охрана госпиталя была арестована, начальник госпиталя дрожал, докладывая по телефону начальнику санитарного управления генералу Верховскому, а комиссар Васильев готов был расстрелять всех и каждого. Лишь к 11 часам дня, когда приехала целая комиссия для следствия, всех четырех нашли повесившимися на чердаке госпиталя. Чердаки были немедленно забиты. Через несколько дней один раненый, после допроса, выбросился из окна четвертого этажа и разбился на смерть. Таких случаев было очень много. С января по октябрь 1943 года, трибуналом госпиталя были осуждены к расстрелу больше 40 человек, и больше 150 были отправлены в штрафные роты; по существу это та же смерть, так как редко кто из штрафной роты возвращался живым.

Однажды на закрытом заседании партбюро комиссар госпиталя Васильев потребовал от всех заместителей начальников отделений пересмотра всей работы; он заявил, что оправдали себя только капитан Поспелов и капитан Михайлов. Они одни правильно поняли,

как можно избавиться от врагов, они ежедневно находят и вылавливают вражеский элемент, у них установлен хороший контакт с врачами, и поэтому работа их идет хорошо. В тех двух отделениях, где они работают, выявлено 70-75% «мерзавцев», а на все остальные отделения приходится 25-30%.

Комиссар Васильев подчеркнул, что особенно плохо работают капитан Золманенок из девятого отделения и капитан Усоскин из четвертого отделения. Васильев сделал грозное предупреждение и дал каждому замполиту «план-количество» лиц, которые должны быть ими выявлены как политически неблагонадежные. «Всю эту мразь — говорил комиссар — на фронт пустить нельзя, их надо уничтожить здесь на месте или загнать в штрафные части».

Капитан Золманенок имел неосторожность сказать комиссару на заседании партбюро, что искусственное преувеличение числа врагов очень опасно. После разбора его «вредного выпада» на заседании партбюро политотдела сануправления фронта, капитан Золманенок был отправлен на передовую политруком роты. Второго «плохого работника», капитана Усоскина отправили на фронт, откуда он не вернулся. Он был убит при атаке у восьмого «ГЭЗ».

По статистике госпиталя каждый раненый оставался на лечении в среднем от 5 до 6 недель. Несмотря на то, что 268-й госпиталь по сравнению с другими был сравнительно благоустроен, смертность в нем всё же была высока. За месяц через госпиталь проходило примерно 4200 человек, а умирало человек 180-200. При этом следует учесть, что к нам в госпиталь поступали бойцы с легкими ранениями; у нас почти не было случаев смерти от последствий ранения, люди главным образом умирали от недостатка питания.

Каждое утро покойников выносили из палат в специальную часовню, где они лежали по 3-4 дня. Когда набиралось 20-25 покойников, их укладывали на машину и в два рейса вывозили на кладбище; там укладывали в штабеля и держали до весны. Весной всех хоронили в больших братских могилах. Семья раненого, даже если она находилась в Ленинграде, не извещалась ни о болезни раненого, ни о его смерти; раз в 10 дней строевая часть госпиталя направляла списки умерших в военкомат, а он уже сообщал родным, что их сын или отец «пал героем в боях с врагом за независимость нашей родины». О том, что родственник умер в госпитале, никогда не сообщали.

Большинство раненых, выписываемых из госпиталя, отправлялись в «БВ» — батальон выздоравливающих. При госпитале содержалась специальная команда в 10 человек, которая ежедневно сопровождала 100-150 человек в «БВ». Каждое утро к 11 часам в коридоре госпиталя появлялась охрана и ей передавали всех людей

(вместе с их документами) для отправки в «БВ». Строем по-четверо, сопровождаемые вооруженной охраной, бывшие раненые шагали по мостовым города. Бывали случаи, когда несколько человек исчезало в пути. Но охрана не беспокоилась; знали, что люди забежали домой и явятся в «БВ». Но когда охрана сдавала, скажем, списки на 100 человек, а в наличии оказывалось 98 человек, начальство «БВ», выполняя инструкцию, звонило в госпиталь о случившемся и оба учреждения т. е. «БВ» и госпиталь, объявляли «ЧП» — «чрезвычайное происшествие о дезертирстве». «Дезертиры» через 2-3 часа являлись, но в «БВ» их немедленно уже брали под стражу и в течение 24 часов их судили и отправляли в штрафную роту. Осужденные-штрафники знали, что их ждет, но они решались на этот шаг, чтобы перед смертью посмотреть на своих детей, жену, родителей.

3. Шестое отделение госпиталя № 268

Выше я упомянул о шестом отделении госпиталя, официально предназначенном якобы для желтушных больных. Вход мне туда был запрещен, но отделение это меня чрезвычайно интересовало и кое-что я узнал о нем от одной женщины-врача нашего госпиталя.

Больных в этом отделении было очень мало — всего 5-10 человек; все они были какие-то «важные чины». Врачей и профессоров в нем было гораздо больше, чем больных, при чем всё это были не наши врачи, а какие-то большие специалисты. Не менее двух врачей дежурили круглые сутки в этом отделении, в то время как в других на 200-250 больных дежурил один врач и при нем была лишь одна сестра. Лечили «важных» больных не обыкновенными лекарствами, а какой-то специальной сывороткой. Сначала сыворотка эта испытывалась на собаках — при госпитале было 10 собак, когда я начал там работать, мне было приказано выдавать им двойные порции (по сравнению с порциями для раненых). Один из врачей лично занимался приготовлением пищи для собак и кормлением их. Вскоре собаки сдохли, найти новых собак в Ленинграде в голодные годы не представлялось возможным, и тогда опыты стали делаться над бойцами. В отделение номер 6 поместили столько же бойцов, сколько в нем было «важных» больных, их там так же хорошо кормили, как и «важных» и на них испытывали ту сыворотку, которую в случае ее пригодности, потом можно впрыснуть «важным чинам». А в случае ее непригодности? Так на одних, менее важных с точки зрения государства, людях производились опыты с неиспытанными еще средствами, для лечения других — более «важных».

Подполк. Советской армии В. Ершов

БИБЛИОГРАФИЯ

ЧЕХОВ В СОВЕТСКОЙ ЦЕНЗУРЕ

По поводу «Полного собрания сочинений и писем»

А. П. Чехова (Москва, 1944-1951)

До сих пор никто еще как будто не рассказал, как в точности работает советская партийная цензура. Мы знаем, однако, что она умудряется достигать, особенно начиная с 30-х годов и еще больше в последние годы, в эпоху т. н. «ждановщины», весьма успешных результатов в смысле подчинения литературы и прессы очередной партийной линии. Особенно ярко это проявилось в кампании против «низкопоклонства перед Западом», против «безродных космополитов». Конечно, и на этом советском «фронте» бывали и бывают «прорывы» — на всякую старуху бывает проруха. Хорошо известны факты замалчивания или даже изъятия из литературы отдельных советских писателей или их произведений. Но до сих пор даже русская эмиграция исходила из того, что при издании русских классиков советские редакторы их не позволяли себе недобросовестно обращаться с текстами, ограничиваясь внесением нужного им подхода в комментарии и истолкование. Вероятно, до эпохи ждановщины это так и было — по крайней мере мне неизвестно, чтобы кто-нибудь когда-нибудь уличил советских редакторов в прямом литературном мошенничестве. Не так давно Л. Домгер рассказал за рубежом о работе над академическим изданием Пушкина, о трудностях, которые пришлось преодолевать редакционной комиссии, но и тут не было речи о *цензуре* пушкинских текстов. Надо сказать, что это академическое издание Пушкина редактировалось компетентными пушкиноведами, заслуженными и добросовестными учеными. И то же самое относится к большинству изданий классиков в 20-х и 30-х годах: среди их редакторов мы встречаем имена Б. В. Томашевского, Б. М. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова, А. С. Долинина, М. А. Цявловского, К. И. Чуковского и др. Но вот теперь перед нами новое, «самое полное» издание сочинений и писем Чехова в двадцати томах, и внимательное ознакомление с этим изданием показывает, что оно останется памятником советскому литературному мошенничеству и вплетет еще один листок в позорный венок одного из редакторов, поэта Николая Тихонова, ставшего кремлевским прихлебателем.

Издание это начало выходить в результате специального постановления Совета Народных Комиссаров от 29 апреля 1944 г. Оно должно было явиться *первым* полным собранием не только сочинений, но и писем скончавшегося 50 лет тому назад писателя. Прежние собрания сочинений — и дореволюционные и советские — не включали писем, а выпущенное еще до революции сестрой Чехова, Марией Павловной, трехтомное собрание писем отнюдь не притязало на полноту. С тех пор многие письма были напечатаны в различных сборниках, но осталось еще много неразысканных или никогда не появлявшихся в печати.

Новое издание должно было состоять из двадцати томов: 12 томов сочинений (включая один том дневников и записных книжек) и 8 томов писем. В сочинения должны были войти не только все рассказы и пьесы, но и книга о Сахалине, а также журнальные и газетные очерки и статьи. Общая редакция была возложена на трех человек. Из них только один — покойный С. Д. Балухатый — был специалистом по Чехову, автором хороших, полу-формалистических работ о Чехове-драматурге. Два другие были поэт Николай Тихонов и экс-дипломат В. П. Потемкин. Кроме того каждый том редактировался одним или двумя специалистами по Чехову, но среди них мы почти не находим сколько-нибудь известных литературоведов, хотя и попадаются имена авторов журнальных статей о Чехове (Л. М. Фридкиса, И. С. Ежова, Н. Е. Коншиной, Н. И. Гитович). Балухатый и Потемкин умерли после выхода первого тома и до выхода второго в 1946 г. Со второго тома в число редакторов был включен «профессор» А. М. Еголин, тот самый Еголин, которому в 1946 г., после ждановского разгрома литературы, была поручена реорганизация опального журнала «Звезда». На томах II, III и IV были еще обозначены имена Балухатого и Потемкина (очевидно, они были еще живы, когда эти тома составлялись), но с обозначением, что их уже нет в живых, а с V-го тома и до конца издание выходило под редакцией только Тихонова и Еголина.

Издание было благополучно закончено в 1951 г. выпуском XX-го тома. На первый взгляд оно производит довольно благоприятное впечатление. Хорошая бумага. Простой, но довольно благородный переплет. Включены не только все напечатанные произведения Чехова, но и не появлявшиеся в печати рассказы и очерки, рукописи которых удалось разыскать. Каждый том сопровождается обширными комментариями. Для сочинений эти комментарии включают многочисленные варианты печатных текстов, указания на цензурные искажения, иногда генезис данного рассказа и современные критические отзывы. В комментариях к письмам указывается источник,

по которому они печатаются, а также даются пояснения насчет упоминаемых в них фактов и лиц. Кроме того, под заголовком «Адресаты Чехова» сообщаются биографические данные о лицах, с которыми Чехов был в переписке. К каждому тому писем приложены тщательно составленные указатели имен и названий, а в последнем томе даны сводные указатели для всех восьми томов писем. В предисловии указывается, что все тексты сочинений и писем даются в тщательно сверенном виде. Там же мы читаем, что основное отличие настоящего издания от всех предыдущих — именно в публикации «обширного эпистолярного наследия» писателя. По сравнению с дореволюционным изданием М. П. Чеховой количество напечатанных теперь писем увеличено почти вдвое. Свыше тысячи писем печатается впервые. Словом, налицо как будто издание, удовлетворяющее всем требованиям научности. О письмах Чехова редакторы издания говорят, что они дают сложную картину идейной и общественной жизни конца XIX — начала XX века и обрисовывают Чехова со всех сторон — как человека, писателя, критика, общественного деятеля и блестящего стилиста. Всё это, конечно, верно. В русской эпистолярной литературе Чехову давно принадлежит одно из первых мест. Но хвастаясь полнотой своего издания и его научным аппаратом и лицемерно возмущаясь искажениями, которым дореволюционная цензура подвергала произведения Чехова¹, сами редакторы нового издания подвергли своей партийной цензуре письма Чехова. Вот несколько обнаруженных мною примеров весьма бесцеремонного обращения советских редакторов с драгоценным, по их собственным словам, эпистолярным наследием писателя.

9 декабря 1890 г., возвратившись с Сахалина, Чехов пишет длинное письмо А. С. Суворину. Описывает в нем свое обратное путешествие в Россию морем. Говорит об остановке в Гонконге. В новом советском издании (т. XV, под редакцией Е. Н. Коншиной, письмо № 827) после слов: «Бухта чудная, движение на море такое, какого я никогда не видал даже на картинках» идут три точки в прямых скобках. Из предисловия к т. XIII (первый том писем) мы знаем, что так обозначаются опущенные места. Таких опущенных мест довольно много: Чехов довольно свободно в переписке с братьями и прия-

¹ Интересно, однако, что в одном случае в редакторских комментариях пропуск в одном из рассказов Чехова приписывается, в полном противоречии со свидетельством самого Чехова, «царской» цензуре, тогда как из относящегося к этому делу письма Чехова видно, что цензура в данном случае исходила от либеральной редакции «Русских Ведомостей». Чехов был этой «цензурой» очень возмущен.

телями употреблял непечатные или грубые слова, которые приходилось заменять точками. Но в данном случае речь идет о чем-то нецензурном в совершенно другом смысле слова. Если мы заглянем в дореволюционное издание писем, то увидим, что тут из письма Чехова выброшены фразы, в которых он расписывает благосостояние Гонконга и подчеркивает заслуги британской колониальной администрации. После слов об оживленной бухте в подлиннике идет: «прекрасные дороги, конки, железная дорога на гору, ботанические сады; куда ни взглянешь, всюду видишь самую нежную заботливость англичан о своих служащих, есть даже клуб для матросов. Ездил я на дженерикше, т. е. на людях, покупал у китайцев всякую дребедень и возмущался, слушая, как мои спутники-россияне бранят англичан за эксплуатацию инородцев. Я думал: да, англичанин эксплуатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, вы тоже эксплуатируете, но что вы даете?» Всё это место исключено в советском издании. Любопытно, что еще в 1939 г. в Москве вышла книжка под названием «Антон Павлович Чехов. Критико-биографический очерк», автор которой, А. Б. Дерман, известный своими статьями по литературе еще до революции, не только цитировал вышеприведенное место о Гонконге, но и ссылаясь на него, утверждая, что Чехов всегда был «западником» и «культурником». Но то было в 1939 г. Десять лет спустя, в разгар ждановщины, подобные восторги перед достижениями британской колониальной администрации показались неуместными редакторам чеховских писем (или стоящей над ними партийной цензуре) и были стыдливо заменены тремя точками.

Такие же три точки в прямых скобках находим мы в письме № 887 в том же XV-м томе. Письмо это было написано Чеховым вскоре после возвращения с Сахалина и перед отъездом в Европу с Сувориным и его сыном. Оно датировано 16 марта 1891 г. из Петербурга, где Чехов пошел посмотреть гастролировавшую тогда в России знаменитую итальянскую актрису Элеонору Дузе. Чехов видел ее в пьесе Шекспира «Антоний и Клеопатра». В восторге от игры Дузе, он в ту ночь, по возвращении из театра, написал письмо своей сестре (письмо помечено «Полночь»). Он писал: «Сейчас я видел итальянскую актрису Дузе в шекспировской Клеопатре. Я по-итальянски не понимаю, но она так хорошо играла, что мне казалось, что я понимаю каждое слово. Замечательная актриса. Никогда ранее не видал ничего подобного». До этого места письмо добросовестно воспроизведено в издании под редакцией Еголина и Тихонова. Но дальше опять идут точки в прямых скобках. Рядовой советский читатель будет, вероятно, ломать голову над тем, что же

такого неприличного, нецензурного мог Чехов написать сестре в письме о Дузе. Те немногие, кому доступно дореволюционное издание писем Чехова, могут полюбопытствовать и заглянуть в него. Что же они увидят? В припадке псевдопатриотического усердия коммунистическая цензура зачеркнула следующее место в письме Чехова: «Я смотрел на эту Дузе и меня разбирала тоска от мысли, что свой темперамент и вкусы мы должны воспитывать на таких деревянных актрисах как Х. и ей подобные, которых мы оттого, что не видали лучших, называем великими. Глядя на Дузе, я понимал, отчего в русском театре скучно²». Иными словами, коммунистическая цензура ничего не имеет против того, чтобы Чехов восторгался итальянской актрисой, но советский читатель не должен знать, что он при этом критикует русский театр и бранит русских актрис. Впрочем, надо сказать, что этот принцип в советском издании Чехова: отнюдь не проводится последовательно и многие его нелестные отзывы о русском театре оставлены в неприкосновенности. Очевидно, в данном случае сыграло роль наличие невыгодного противоположения русского западному т. е. опять-таки мы видим оглядку на Жданова и его директивы насчет «низкопоклонства». Интересно, что вышеприведенный критический отзыв о русском театре был полностью процитирован покойным С. Д. Балухатым в его книге «Чехов драматург» (Ленинград 1936).

Так же ясно это проступает и в третьем обнаруженном мной случае цензурного пропуска. Он находится в т. XVII (в той части, которая редактирована И. С. Ежовым) в письме Суворину из Ниццы от 14 декабря 1897 г. В этом письме говорится о недавней смерти известного французского писателя Альфонса Додэ. Чехов с удовольствием отмечает, что всё, что писалось по этому поводу во французской печати, было «умно и изящно». Даже Рошфор, говорит он, написал хорошо. И затем Чехов продолжает иронически (причем тут нетрудно заметить камешек в огород Достоевского, которого Чехов не любил): «Да, великие мы таланты, мы всечеловеки и из нас «прет», но умри Лев Толстой, и написать статью некому. Напишут публицисты, а беллетристы, с Григоровичем и Боборыкиным во главе, только почешутся». Ни выпад против Достоевского и его мысли о всечеловечестве русского народа, ни пренебрежительный отзыв о тогдашних беллетристах не навлекли на себя гнева

² По всей вероятности, в подлиннике у Чехова вместо Х. стояла полная фамилия, но, поскольку это лицо было еще в живых, фамилия в издании М. П. Чеховой была заменена буквой: так М. П. поступала и в других аналогичных случаях.

коммунистической цензуры. Но вслед за этим идет у Чехова фраза, которая очевидно показалась слишком соблазнительной в условиях сегодняшней советской действительности. Свое письмо Суворину Чехов заканчивает пожеланием или рецептом: «Надо бы молодых литераторов командировать за границу, ей-ей надо бы». Очевидно, такого рода рецепты негоже читать молодым советским литераторам, которые еще, того и гляди, вообразят, что и их не худо было бы командировать за границу поучиться у западных коллег. Поэтому эта фраза просто-напросто выброшена в новом советском издании. Даже стыдливими точками не заменена. И только счастливый случай помог мне отыскать ее в издании М. П. Чеховой.

При более внимательном изучении нового издания и сверке его с более ранними публикациями писем могут выплыть наружу и другие такого же рода пропуски. Когда эти пропуски обозначены многоточием, может по крайней мере зародиться подозрение. Но, как видим, не всегда такая «добросовестность» соблюдается советскими редакторами. Во всяком случае для рядового советского читателя сверка с более ранними изданиями едва ли возможна. Он должен удовлетворяться Чеховым, прошедшим через партийную цензуру, подчищенным. А в отношении многочисленных впервые публикуемых писем такая сверка возможна только для тех, кто имел или имеет доступ к подлинникам.

Повторяем: редакторы нового и якобы полного издания сочинений и писем Чехова говорят о том, что все тексты Чехова освобождены от цензурных искажений, а в письмах восстановлены многочисленные пропуски. Это не мешает им самим препарировать тексты чеховских писем в согласии с очередной партийной линией. Иными словами — совершать прямое литературное мошенничество. Незачем говорить, как отнесся бы сам Чехов к такому приему. Достаточно напомнить его знаменитое письмо Плещееву от 4 октября 1888 г., в котором он писал, что ненавидит «ложь и насилие во всех видах» и откуда бы они ни исходили, справа или слева.

Возникает также вопрос: если советские редакторы так бесцеремонно поступили с эпистолярным наследием Чехова, можно ли доверять и другим их изданиям классиков?

Глеб Струве

Р. S. Настоящая статья была уже в печати, когда мне удалось обнаружить еще несколько примеров редакторского самоуправства в якобы полном собрании сочинений и писем Чехова. Речь идет также о пропусках в письмах, но продиктованных несколько иными соображениями. Так, в т. XVIII полностью выброшено по край-

ней мере одно письмо Чехова к Мейерхольду (от конца 1899 г.) Письмо это, впервые напечатанное еще в 1909 г., но не вошедшее потом в издание М. П. Чеховой, несколько раз воспроизводилось полностью или частично в разных изданиях в советское время и было признано советскими комментаторами «чрезвычайно интересным». Но, как известно, в конце 30-х годов Мейерхольд был объявлен вредным «формалистом» и «врагом народа» и сошел со сцены. Есть все основания думать, что он погиб в советских застенках. Имя его во всяком случае стало табу, и проникнутое симпатией и дружественным интересом письмо к нему Чехова исключено поэтому из собрания писем Чехова, хотя по существу оно не содержит ничего предосудительного даже с советской точки зрения — предосудителен лишь его адресат. Исключены также в т. XIX из писем к О. Л. Книппер два сочувственных упоминания о Мейерхольде. Имя самого Мейерхольда совершенно изгнано из подробных именных указателей к восьми томам писем, хотя отдельные малозначащие упоминания его в самих письмах и сохранены.

COURTS, LAWYERS AND TRIALS UNDER THE LAST THREE TZARS by S. KUCHEROV, Foreword by MICHAEL KARPOVICH. Frederick A. Praeger, New York. 1953.

Законодательные реформы 19-го столетия — освобождение крестьян, введение земств и городского положения, привлечение широкие слои населения к самоуправлению, — были бы немислимы без учреждения новых судов (Судебные Уставы 1864 г.) и создания свободной и независимой адвокатуры и без громадной кодификационной работы, тесно связанной с именем Сперанского (создание Собрания и затем Свода законов). Сделано было громадное усилие к превращению России, насколько это было возможно при самодержавном режиме, в правовое государство.

Судебной реформе, созданию впервые в России свободной и независимой адвокатуры и ее роли в общей системе обновленной России посвящен вышедший на английском языке труд русского адвоката С. Л. Кучерова: «Суды, адвокаты и судебные процессы при последних трех императорах». Книга содержит историю учреждения Судебных Уставов и адвокатуры от 1864 г. по день окончательной их отмены декретом народных комиссаров от 24 ноября 1917 г. Книга Кучерова очень ценна по богатству материала, который оказался в распоряжении автора в Вашингтонской и Нью-Йоркской библиотеках и по умелому и полному его использованию.

Кучеров дает яркую картину до-реформенных судов, в которых

не было гласного производства; где дела решались на основании письменного материала, представленного сторонами; проверка доказательств (допрос свидетелей и т. п.) производилась полицией и дела готовились к решению в тайниках судебных канцелярий секретарями, доступными влиянию и подкупу со стороны тяжущихся.

Введение новых судов, с гласным и публичным производством при участии сторон, с проверкой доказательств самими судами, с полным отсутствием всякого влияния канцелярий судов, с образованными и безукоризненными судьями, не зависящими в своем свободном решении ни от министерства юстиции ни от административных властей, с представительством сторон прис. поверенными, с адвокатурой свободной и независимой, — было в России радикальным изменением всего ее быта.

Реформа, дарованная Александром II под давлением окружавших его государственных деятелей, завоевала признание русского общества и через короткое время трудно было себе представить, что еще недавно существовали другие суды «недоброй памяти». Новые учреждения прочно вошли в быт русской жизни.

Этому процессу создания и развития новых судов посвящены полные интереса страницы книги Кучерова. Особенно подробно автор останавливается на суде присяжных, привлекая все слои населения, не исключая недавно освобожденных от крепостной зависимости крестьян. Автор правильно указывает, что составители судебных уставов умело избегли слепого подражания иностранным законодательствам и создали суды с участием активным и самостоятельным самого населения. «Подданные» почувствовали себя *гражданами*. Кучеров показывает, как русский народ блестяще оправдал доверие, оказанное ему Александром II и его сотрудниками.

Особенное внимание автор посвящает и мировой юстиции, близкой к населению, и русским судьям вообще, которые, несмотря на недостаточное вознаграждение, устремились в новые суды и с примерным усердием, подчас с личною жертвенностью, в полной независимости и беспристрастии творили нелицеприятный суд. Автор не умалчивает и о роли судов (без прис. заседателей) по делам политическим, где нередко сказывалось влияние администрации, но это было незначительным.

Большая часть книги Кучерова, посвященная русской адвокатуре и сравнению ее с германской и французской адвокатурой, читается с захватывающим интересом. Автор прав, когда в темных «ходатаях» или «ябедниках», как их именовали и цари и обыватели,

он не видит предшественников русской присяжной адвокатуры, созданной суд. уставами 1864 г. Но Кучеров напрасно не придает значения тому, что еще в 1832 году с созданием коммерческих судов, в которых участвовали в качестве равноправных членов суда выборные представители купечества, был создан институт «присяжных стряпчих». Прис. стряпчие несомненно являются предтечами прис. поверенных.

Как правильно указывает Кучеров, напуганные ролью франц. адвокатов во французской революции, русские цари долго противились созданию организованной адвокатуры. Александр II примирился с неизбежностью создания адвокатуры, но слово «адвокат» было изгнано из законодательных актов и вновь созданные представители сторон были названы «присяжными поверенными». Вся история создания русской адвокатуры изложена Кучеровым с исключительной полнотой и с на редкость объективным подходом ко всем вопросам, возникавшим в течении 53-летнего существования этого института. Автор хорошо знаком с адвокатурой и в Германии и во Франции, но не без основания предпочитает организацию русской адвокатуры.

Много внимания автор уделяет адвокатскому стажу, организованному в России на начале личного патроната.

С большою осведомленностью автор излагает вызвавший в свое время большие разногласия вопрос о ведении адвокатами в суде (особенно в гражд. делах) т. н. «mauvaises causes», безнадежных или сомнительных в нравственном отношении дел. Нападки Достоевского, Салтыкова-Щедрина и Л. Н. Толстого на адвокатуру и в частности на Спасовича — вызвали оживленную полемику, в которую был вовлечен и В. А. Маклаков, высказавшийся в одном публичном докладе о неизбежной «беспринципности» адвокатов. Кучеров сумел ориентироваться в этом споре и нападках на Маклакова. Он понял, что Маклаков имел в виду, что в уголовных делах и особенно по назначению суда адвокат должен отстаивать точку зрения подзащитного, хотя бы она противоречила его личным убеждениям (стр. 196).

В гражданских делах, каковы бы ни были газетные и журнальные споры, русская адвокатура — в своем большинстве — была разборчива в выборе дел и, как отмечает Кучеров, сами суды относились с осуждением и недоверием к адвокатам «сомнительных и неправых» дел. В интересах адвокатов, помимо чисто нравственных соображений, было важно сохранить уважение и доверие судей.

По этим вопросам автор дает большой материал, перечисление которого заняло бы слишком много места. Читатель найдет в книге

изложение ряда известных, привлечших общественное внимание, процессов: Веры Засулич, убийц Александра II, дела Бейлиса, Долбенских крестьян и др. Подробно излагаются автором попытки реакции, особенно в царствование Александра III, подчас отражавшиеся в законодательстве, — ограничить функции присяжных заседателей (в отношении политических процессов), уничтожить мировую юстицию (введением земских начальников) и др.

К сожалению, автор почти не уделил места роли гражданских адвокатов, составлявших значительное большинство русской адвокатуры, и правотворческой роли в области гражданского и уголовного права судов и самих адвокатов, подготовлявших весь материал для судов от низших инстанций до Сената включительно (Гражданских Кассационных и Судебного Департаментов). Этот труд ждет еще своего историка.

В целом книга Кучерова является крупным вкладом в историю русского суда и адвокатуры. Она явится для многих даже осведомленных американских и английских юристов ценным и полезным осведомлением. Мы хотим надеяться, что книга будет переведена на другие языки и в особенности на русский. В России книга Кучерова стала бы в один ряд с лучшими трудами русских юристов до-революционного периода, посвященными судам и адвокатуре.

Б. Л. Гершун

THE SECRET HISTORY OF STALIN'S CRIMES by Alexander Orlov. "Random House." N. Y. 1953, 366 p.p. \$4.50.

За плечами автора «Тайной истории преступлений Сталина» — долгий путь службы в органах ЧК-ОГПУ-НКВД. «До июля 1938 г. — говорит Орлов — я был членом русской коммунистической партии и был облечен доверием советского правительства на многих ответственных постах». Посты эти следующие: начальник контр-разведки Юго-Западного фронта во время гражданской войны; помощник верховного прокурора СССР; заместитель начальника Экономического Управления ОГПУ; командующий погранвойсками НКВД в Закавказье; начальник Экономического Сектора Иностранного Отдела НКВД и наконец, во время гражданской войны в Испании, — особоуполномоченный Политбюро по организации контр-разведки (читай — НКВД) при республиканском правительстве.

Послужной список — достаточно импозантный.

Почему же Орлов порвал со Сталиным? «Прибыв в Канаду (после бегства), — рассказывает Орлов, — я написал письмо Сталину, которого лично знал с 1924 года. В этом письме я сказал ему всё то, что я и всякий честный человек думали о его режиме». Стало

быть Орлов прозрел, раскаялся, что помогал Сталину вершить его злодеяния в течении 23 лет? Это не совсем так. «Я был в Испании, — говорит Орлов, — когда узнал об аресте главы НКВД Ягоды и всех моих бывших друзей и сослуживцев. Мне стало ясно, что и мой час близок». Вот тогда Орлов и подумал о сталинском режиме всё то, что полагается думать «всякому честному человеку»...

Источники информации у автора книги надежные. Всю закулисную историю преступлений в Кремле и на Лубянке автор либо видел собственными глазами, либо узнал из первых рук. «Я записал — пишет Орлов, — директивы, которые Сталин лично давал начальникам отделов НКВД на совещании в Кремле. Я записал его инструкции следователям, как вынудить ложные признания и сломить упорство друзей Ленина. Я записал личные переговоры Сталина с некоторыми его жертвами и слова этих жертв, сказанные за стенами Лубянки. Я узнал эти строго охраняемые секреты от самих следователей НКВД, из которых некоторые, в прошлом, были моими подчиненными». В числе этих подчиненных автора были и такие видные чекисты, как Миронов и Берман.

Материал сообщаемый Орловым представляет несомненный интерес, хотя о закулисной стороне «великих чисток» 1936-1938 г.г., которым фактически посвящена книга, мир знал многое и до книги Орлова. Никаких особых «тайн», автор, собственно, не раскрывает. Какими методами и средствами добиваются фантастических поклепов от заключенных в следовательских кабинетах Лубянки и в тюрьмах НКВД — достаточно хорошо известно. Об этом рассказали многие жертвы большевистской инквизиции. Но, конечно, рассказ Орлова блещет многими профессиональными деталями и знанием дела. Так, например, автор приводит еще одно объяснение удивительной покорности жертв знаменитых процессов и готовности их свидетельствовать против себя. По рассказу Орлова многих сильных людей из старых большевиков удалось сломить только при помощи угрозы расправиться с их детьми и внуками. Орлов рассказывает, что Сталин велел передать Каменеву, что «если он откажется предстать перед судом, мы найдем ему подходящего заместителя, — его собственный сын будет показывать на суде, что по инструкциям своего отца он подготавливал террористические акты против вождей партии».

Интересный свет проливают показания Орлова и на убийство Кирова. Он положительно утверждает, что оно было совершено по прямому приказу Сталина с целью: — во-первых, устранить Кирова, чья растущая популярность и некоторая самостоятельность беспокоили диктатора, а, во-вторых, возложить ответственность за это политическое убийство на других своих соперников и тем самым иметь возможность расправиться и с ними.

Книга Орлова безусловно является ценным источником информации для изучения истории коммунистической диктатуры, несмотря на то, что автор явно не понимает органической неразрывности преступлений Сталина с преступлениями режима. Для Орлова Сталин — преступник и злодей, но Ленин и Троцкий — чистые идеалисты, «вожди величайшей социальной революции, создатели государства нового, неизвестного в истории типа». Орлов пишет, например, что коллективизация сельского хозяйства «была политически здоровым и необходимым» мероприятием. Учитывая все эти особенности психологии автора, надо всё же сказать, что в целом книга Орлова заслуживает серьезного внимания.

В. Р.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ. Плач о Есенине. Предисловие Романа Гуля. Издательство «Мост». Нью-Йорк. 1954, стр.

32. Цена 1 долл. Printed by Rausen Bros.

В начале 1926 г. Ленинградским Союзом Поэтов был устроен вечер памяти Есенина. На вечере выступил Николай Клюев. В документальном романе Ольги Форш «Сумасшедший корабль», где Клюев выведен под именем Микулы, очень колоритен рассказ об этом выступлении. Истово поклонившись переполненному залу, поклонившись земно, как дьяк кланяется Годунову в опере, Клюев начал поминки по своему «совёнку». Начал с давних стихов, посвященных Есенину, а потом, после нежных и уветливых, с материнской лаской сказанных слов, вдруг «шагнул ближе к рампе, подобрался, как тигр для прыжка, и зашипел язвительно, с таким древним, накопленным ядом, что сделалось жутко. Уже не было любящей, покрывающей слабости матери, отец-колдун пытал жестоко, как тот в «Страшной мести» Катерину душу, за то, что не послушала его слова. Не послушала и вот —

... На том ли дворе, на большом рундуке,

Под заклатою черной матицей

Молодой детинушка себя сразил...»

И никто из потрясенных слушателей не уловил перехода, когда Клюев от «Плача о Есенине» перешел прямо и без оговорок к стихам Есенина: «И я сам, опустясь головою, заливаю глаза вином, чтоб не видеть в лицо роковое...» Говорил, почти пел он стихи покойного есенинским же голосом. Было жутко и — вместе с тем — захватывало... «Помянуть захотелось» — с бабьей растяжкой говорил он после выступления своего. «— Я ведь плачу о нем. Почто не слушал меня? Жил бы! И ведь знал я, что так-то он кончит. В последний раз виделся, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила...

— Зачем же вы оставили его одного? Тут-то вам и не отходить.

— Много раньше увещал, — неохотно пояснил он. — Да разве он слушался? Ругался. А уже если весь черный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком совершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь, — плакал».

Просим прощения у читателей за длинные цитаты и подробное изложение этого эпизода. Но других откликов на поэму «Плач о Есенине», поэму примечательную и далеко выходящую за пределы плача *только* о Есенине, — других отзывов не было и быть не могло. Поэма увидела свет в номере ленинградской Вечерней Красной Газеты от 28 декабря 1926 г. Затем, при включении ее в книжку: «Н. Клюев и П. Н. Медведев. Сергей Есенин, изд. «Прибой», Ленинград, 1927», — к поэме были присоединены два стихотворения: «Мой край, мое поморье» и «Успокоение», не принадлежащие отнюдь к лучшим клюевским стихам и сильно ослабляющие общее впечатление от поэмы, заканчивавшейся раньше замечательной колыбельной. Но включение этих стихов, выпадающих и по стилю, и по ритму из «Плача», стихов, кстати сказать, где Есенин даже и не упоминается, отнюдь, полагаем, не случайно: Клюев как бы подчеркивает этим включением инородных стихов, что покойный скорее только *повод*, а не основное содержание поэмы. И недаром эпитафией к поэме взяты слова безнадежности:

Мы свое отбаяли до срока —
Журавли, застигнутые бурей...

Наряду с вышедшей в том же 1927 г. (в первой книге ленинградского журнала «Звезда») поэмой «Деревня», — «Плач» был объявлен сразу же произведением кулацким и явно контрреволюционным. Книжка была почти немедленно изъята из оборота, большая часть тиража просто уничтожена. Найти эту поэму в СССР, тем более за рубежом — почти невозможно. Может-быть с единственного экземпляра книжки, нашедшегося за границей, была перепечатана издательством «Мост» эта поэма. Из этой же книжки 1927 года извлечен редкий фотографический снимок 1916 г.: Клюев в своем кафтане и «гречневике», со старинным наперсным крестом и Есенин в форме санитаря-солдата. Издана книжка со вкусом и тщательно.

С. Петров

ЭДУАРД БОК. Как Эдуард Бок стал американцем. Перев. с англ. В. Петрова. Изд. им. Чехова. Нью-Йорк. 1954.

Американский публицист Эдуард Бок получил известность как долголетний редактор «Журнала для женщин», в котором он работал тридцать лет. Когда к 1920 году тираж журнала «превысил всё

известное в истории периодических изданий» и таким образом «приобрел национальное значение, какого никогда не имел ни один журнал», Бок пожелал «сказать обществу «до свидания» раньше, чем общество сказало бы это ему». Удалившись на покой Бок написал автобиографию, вышедшую в свет в 1920 году. Автобиография Э. Бока — это история жизни эмигранта-голландца, «перенесенного» в 1870 году семилетним ребенком «на американскую почву, где его никто не мог понять и где он не понимал речи других». Но в течение пятидесяти лет Бок настолько американизировался, что счел себя вправе заявить в конце своей автобиографии многим природным американцам, что они сами «нуждаются в американизации столь же, сколь и родившиеся за границей».

Мысли Э. Бока об американизации и обо всем связанном с нею не лишены интереса и в наши дни. Но жизненный путь его, рассказанный в автобиографии, едва ли можно преподносить новым иммигрантам как образец для подражания. За несколько десятилетий, точнее за три четверти столетия, протекших с того времени как Эдуард Бок начал свою блестящую карьеру, американская действительность сильно изменилась. Многие русские читатели этой автобиографии скорее будут склонны отождествлять себя с родителями Бока: с его отцом, который «не смог применить своих профессиональных познаний и опыта в условиях новой страны с достаточным успехом», или с его матерью, которая «стала физически сдавать под навалившейся на нее нагрузкой», а не с семилетним мальчуганом не знавшим на своей родине ничего кроме детской комнаты в доме своих родителей.

Конечно, автобиография этого голландца — история жизни замечательного иммигранта. Талантливый журналист, он оказался вместе с тем и талантливым общественным деятелем. Бок рассказывает очень подробно о своей блестящей профессиональной работе, которой он отдавал всё свое время и силы, и о том новом, что он внес в американскую журналистику. Может быть он недостаточно объективен и невольно идеализирует предмет своего изложения, но это нисколько не обесценивает этой части воспоминаний. Э. Бок рассказывает также о своих дружеских и деловых отношениях с многими выдающимися американскими и европейскими общественными деятелями. Хотя эта часть воспоминаний местами грешит некой сентиментальностью, но и она вызывает в читателе несомненный интерес. В особенности же интересными для многих окажутся те страницы, которые Бок посвятил рядовому американскому обывателю. Они дают любопытные психологические черты американского характера.

Русский перевод книги не представляется нам удачным.

М. Г.

Издательство имени Чехова, носящее имя этого писателя, отмечает 50-летие со дня смерти Антона Павловича изданием 30 июля новой биографии его, написанной известным писателем Борисом Зайцевым. Эта биография является сотой книгой, публикуемой нашим Издательством.

Книга выйдет под заглавием

ЧЕХОВ — ЛИТЕРАТУРНАЯ БИОГРАФИЯ

Автор этой книги, Борис Зайцев — один из немногих оставшихся в живых современников Чехова, смог, на основе своих личных воспоминаний и встреч, написать действительно увлекательную книгу. Начиная с мало известной истории происхождения семьи Чехова, Борис Зайцев рассказывает в этой книге биографию писателя, влияние которого на мировую литературу заметно и поныне.



Также имеются на складе:

Д. Аминадо — Поезд на третьем пути

В. Ходасевич — Литературные статьи

Кн. Владимир Одоевский — Девять повестей

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА
SNEKHOV PUBLISHING HOUSE**

of the East European Fund, Inc.

387 Fourth Avenue

New York 16, N. Y. U.S.A.

Все книги Издательства имени Чехова можно получить
в русских книжных магазинах

Книготорговцам обычная скидка

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1954-м году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 30 крузейро



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, Inc., 223 West 105th Street,
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме
праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня
